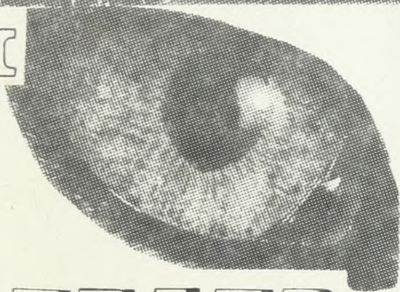


ГРИГОРИЙ ЧЕЛАК



ЬШОЙ ТЕАТР

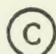
ГРИГОРИЙ
ЧЕЛАК

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Роман

„Хокен"
Тель-Авив

Редактор Х. Резников
Корректор Ж. Хершкович



Для связи с автором: Г. Челак, шикун Эзорим, дом 33, кв. 25,
Натания, Израиль.

13 октября, первая половина дня

С великим наслаждением, вот уже три года, он смаковал горяченькие, пышненькие — только-только с пылу, с жару — метафоры, зеркально отражавшие его отношения с женой. Он выпекал их каждодневно, но едва ли раз в неделю находил нечто свежее, достойное детализации, а, может, и занесения в заветный писательский блокнот.

Сегодня, стоя в ванной, выложенной девятью рядами облицовочной плитки цвета слоновой кости, он брился, витая в горних высях дипломатического протокола. Из комнаты отчетливо доносился ржавый голос супруги. Отнюдь не вникая в смысл ее речи, — в последние два года монологи Тамары отличались формой, но не содержанием, — Давид прислушивался лишь к тональности родного голоса и находил в нем полную гамму нот, начиная от благожелательности и авторитетности и кончая страдальчеством и занудливостью. И с легкой ухмылкой на губах он мысленно строил макет реляций между обыкновенной нищей страной, каких на свете с десяток десятков, и великой державой, каких — раз, два — и обчелся. Он заставил державу и сверхдержаву заключить между собой договор о дружбе и взаимной помощи, что находилось в полном соответствии с международной практикой, а затем принялся скрупулезно анализировать все плюсы и минусы такого пакта. Для развивающейся страны договор вроде бы выгоден вдвойне, она получает покровителя в виде чудовищного гермафродита — бугая-коровы: бугай своими устрашающими рогами забодает любого ее обидчика, корова же с готовностью подставит неистощимое вымя, даст бедному государству досыта насосаться сладкого, жирного молочка. При этом малая держава формально сохраняет право в любое время денонсировать договор, то есть отказаться от военной и экономической помощи дер-

жавы великой. Экая у нее умилительная свобода! Так и подмывает выписать из газет весь тот трогательный набор формулировок, что зафиксированы в параграфах договора применительно к обеим Высоким Договаривающимся Сторонам и призваны перед лицом всего цивилизованного и не очень цивилизованного человечества явить пример равноправного партнерства, основанного на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела друг друга, взаимовыгодной торговле и бесчисленных других обоюдно полезных делах.

На самом же деле, предоставляя свои острые рога и свое пышное вымя малому государству, сверхдержава преследует своекорыстные цели — закабалить его, превратить дефакто в свою вотчину, в рынок сбыта своих товаров, в военную базу, а его население — в пушечное мясо. Оплата за амортизацию и эксплуатацию рогов, за потребляемое молочко ведется звонкой монетой, а так как у нищей державы золотого запаса — кот наплакал, она и попадает в полную кабалу к сверхдержаве. Тогда-то и приходит конец сентиментальной идиллии. Былая взаимная любовь постепенно перерастает в ненависть; сверхдержава, отбросив прочь хлам условностей, грубо навязывает младшему партнеру свою волю, а в сердце последнего начинают бурно прорастать семена бунта. Увы, не больно-то разбушуешься, зная, что тебя отлучат от теплого, надежного вымени да лишат защиты всемогущих рогов! Можно, конечно, переметнуться в стан конкурирующей сверхдержавы, да ведь, как справедливо говорят в народе, — хрен редьки не слаще, во-первых, а во-вторых, интервенция со стороны „старшего брата" в ответ на измену из глухой угрозы превратится в свершившийся факт.

Вот и приходится терпеливо сносить не прекращающееся ни на день вмешательство во внутренние дела, чванство, спесь чужаков, навязываемые ими чуждые обычаи, образ жизни, язык и постоянно жить в ожидании чуда — полного и окончательного освобождения из медвежьих объятий милого дружка.

Выстроив, наконец-то, свой макет, придав ему какой-то лоск, Давид удовлетворенно хмыкнул. И тотчас заработали его локаторы, и ржавый голос начал оттискивать слова и предложения на магнитной ленте сознания.

— И зачем переться в Москву? Чего ты там не видал? Зазноба завелась, что ли?.. То-то я замечаю, магнитом тебя туда тянет. Все побасенки рассказываешь про литературные дела, голову мне дуришь... Будто сам не знаешь, что ничего не напечатают. Вот если б ты писал, как вначале, тогда...

Давид преспокойно вытер гладкие щеки полотенцем и достал с полочки ножницы. Прежде чем приняться за стриж-

ку ногтей, он прибег к крайней мере самоизоляции: резким движением захлопнул люк личного звездолета и без колебаний нажал на кнопку с хлестким словом „Взлет". В наступившей могильной тишине крохотный космический аппарат оторвался от цементного пола ванной, пробил ее потолок, не причинив ему ни малейшего вреда, и сквозь черепичную крышу, которая также осталась невредимой, вырвался на волю. В течение нескольких секунд он взмыл в космос, обогнул невидимую сторону Луны и пошел на снижение — прямо над столицей Советского Союза Москвой. Тем же непостижимым образом преодолев крышу и два потолочных перекрытия небольшого здания близ Пушкинской площади, звездолет совершил мягкую посадку в редакции популярнейшего в стране толстого журнала. Здесь Давид откинул люк и робко огляделся.

Его более чем странное появление никого не поразило. Три женщины и один мужчина, пыхтевшие за письменными столами в просторной, неуютной комнате, не без удовольствия оторвались от бумаг и, как один, бросились встречать гостя. Пожилая дама в очках протянула ему сморщенную ладонь.

— О, Давид Семенович! Рады вас видеть. Что ж это вы о нас позабыли? Мы два месяца все ждем да ждем, чтоб согласовать с вами кое-какие мелочи... Вы что, не получали наших писем?

— Н-нет, ничего не получал! Почта! — с угрозой в мужественном голосе произнес Давид.

Дама помоложе, с двумя ямочками на полных щеках, со светлыми, коротко остриженными волосами и аппетитными губками, стремительно обняла его:

— Ой, Давид Семенович, я так рада с вами познакомиться, вы просто представить себе не можете. Читала ваш роман — как нектар пила! Мы все в диком восторге, а я... я прямо-таки... Можно мне вас поцеловать?

Не дожидаясь разрешения, она впилась в его губы. И поскольку ее губки на вкус оказались восхитительными, а язычок, который она контрабандой успела протолкнуть ему в рот, — возбуждающе подвижным, Давид не стал протестовать против того, что поцелуй затянулся на добрых полминуты. Отметив про себя, что эту приятную дамочку стоит пригласить на часок в свою творческую лабораторию, он, получив наконец возможность открыть рот, с достоинством гения молвил:

— Спасибо, большое вам спасибо, товарищи. Но сейчас я ужасно занят. Даю слово, не далее чем через день-два снова буду у вас, тогда-то и решим все проблемы.

— Может, вы стеснены в средствах? Мы могли бы вам выписать авансик, — любезно осклабился лысоватый мужчина с нарукавниками поверх рукавов потертого серого пиджака.

— М-м-м, пожалуй, — с достоинством сытого гения кивнул Давид. — Но, опять же, отложим этот вопрос до следующей встречи, ладно? Не горит. Еще раз спасибо и — до скорого!

Он обольстительно улыбнулся блондинке, горячо пожал сухую ладонь пожилой дамы, другие протянутые руки и вошел в звездолет. Через несколько секунд он выбрался из него в своей ванной. Заботливым оком хозяина оглядев потолок и убедившись, что в нем не осталось ни трещинки, он с победоносной миной полюбовался своими ногтями. И тут до него снова донесся ржавый голос супруги, убежденно продолжавшей монолог о бесполезности его поездки в Москву.

„Ах, милая моя Сверхдержава, — благодушно подумал Давид, — в твоей вечной правоте — извечная неправота трезвости и здравого смысла, не оставляющая людям ни малейших надежд на успех. Выпила б двести граммов спиртика, замутила б свои мозги, наболтала б глупостей... Все лучше, чем это нескончаемое брюзжание с упреками, которые невозможно отмести, перед которыми бессмысленно оправдываться".

Проверив, не осталось ли заусениц на ногтях, Давид вышел из ванной. Его взгляд уперся в плотную спину жены, скользнул ниже, задержался на ягодицах...

О, великолепное творение природы, настраивающее на патетико-героический лад, навевающее песни типа:

Броня крепка, и танки наши быстры...

О, достойное подлинной Сверхдержавы седалище — живое олицетворение безбрежности ее просторов, богатства недр, мощи вооруженных сил, несокрушимого духа народа, короче, неоспоримого ее права одновременно восседать как на собственной территории, так и на землях ближних и дальних государств.

Перед глазами Давида красовались два идеальных полушария, очень смахивавших на земные, запечатленные на карте мира или на глобусе в масштабе 1:20.000.000. Полушария четко разделяла отнюдь не воображаемая линия экватора, прямая, ясно обозначенная, как линия родной коммунистической партии. Полушария были твердокаменными, как характер первого чекиста — железного Феликса, и гладкие, как лысина первого большевика — великого Ленина.

Одиннадцать лет назад, незадолго до реабилитации, Андрей, в ком гений стихотворца счастливо сочетался с талантом ваятеля, кантовался в лагерном лазарете под крылышком у доктора Скворцова. В порыве благодарности он подарил

доброму айболиту свою „Лагерную Венеру". Две недели вырезал Андрей из толстой сосновой чурки полуметровую фигурку, которой постарался придать все стати, составлявшие идеал женщины в понятии вечно голодного зэка. Статуэтка удалась на славу, хотя ее натуралистичность, несомненно, вызвала бы яростный огонь критики от соцреализма, попадись она ей на глаза. Такая опасность, конечно, исключалась по той простой причине, что храбрые поборники конформистского искусства находились по ту сторону колючей проволоки и в зону, где грубый натурализм господствовал в мельчайших деталях быта, а, стало быть, не мог не отразиться и в местной этике и эстетике, даже краешком глаза не заглядывали.

„Лагерная Венера" оказалась великолепной иллюстрацией к сочиненной Андреем же десятью годами ранее частушке, молниеносно распространившейся по всем лагерям Союза, а оттуда и по всей необъятной стране:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет:
Молочко он попивает
И молочницу е...

В гениальном четверостишьи ничего не сказано о красоте героини, о ее волосах, о величине и цвете ее глаз, размере талии, характере. Какую, в самом деле, цену имели для лагерника подобные несущественные детали, которым на воле придавали столь преувеличенное значение? Вдохновенной, страстной, возвышенной мечтой заключенного могла быть только вот такая молочница — белотелая и дебелая, задастая и грудастая, горячая, как африканское солнце, и, понятно, мастерица по части приготовления грубых, но сытных блюд: щей, украинского борща, блинов, вареников со сметаной для славян, плова, шашлыка, чебуреков для кавказцев или среднеазиатов. Все эти качества воплощала в себе только молочница, и Андрей с прозорливостью гения выполнил „социальный заказ".

„Лагерная Венера" — стилизованное изваяние без головы, но с широченным задом, объемистыми, точнее, необъятными грудями, колоннообразными ляжками, мощными, добрыми, работящими руками, любовно отшлифованное, выкрашенное розоватыми белилами, снабженное пунцовыми сосками, серым пупком и черным, как ночь, треугольником, — была благоговейно вознесена счастливым доктором Скворцовым на высокий пьедестал — на шкафчик с нехитрым медицинским снаряжением, висевший в его убогой приемной. В течение месяца, по авторитетному свидетельству доктора, она

получила наивысшую оценку со стороны многих экспертов, четверо из которых разразились рецензиями в виде оргазмов прямо в кабинете — трое урок и один дистрофик.

* * *

Давид был просто-напросто ошарашен, когда познакомился с Тамарой, — до того она походила на „Лагерную Венеру" всеми выпуклостями своими, буквально разрывавшими ее юбку и блузку. Случилось это недели две спустя после возвращения в родной город — поздней осенью пятьдесят четвертого. Он прибыл с почетной справкой о реабилитации во внутреннем, собственноручно пришитом кармане ватника, в доброй сотне мест простреленного искрами лесных костров, в которых немилосердно сжигали ветви поваленных сосен и у которых одновременно отогревали коченевшие на лютом морозе руки. Он наивно полагал, что эта справка откроет перед ним все двери, и, конечно, ошибся, а посему пришлось прибегнуть к милосердию родича, согласившегося на первых порах его приютить. В обносках родича он и принялся за осаду крепости, взятие которой сулило ему неисчислимые блага — от спокойной, сытой житухи до горячей, страстной любви.

Позднее, когда он слегка очнулся и понял, как мало общего у него с ней, Давид не раз с горечью думал: „Если хоть один бывший лагерник бросит в меня камень за опрометчивую женитьбу, я безоговорочно признаю себя подлецом". Он знал, что с этой стороны ничем не рискует, что его избранница составила бы счастье любого, самого привередливого зэка. Он не лгал ни себе, ни другим, когда утверждал, что любил ее, он и в самом деле воспылал жаркой страстью к ней, диким желанием утонуть в ее мягких, горячих телесах, суливших долгожданное отдохновение истощенному изнурительной каторгой, холодом и голодом советскому арестанту.

В отличие от „Лагерной Венеры" у Тамары была голова, пожалуй, чуть меньше размером, чем полагалось ее импозантной фигуре, но совсем не уродливая, даже хорошенькая головка, к тому же еще и не глупая. Свидетельство тому — практичность молодой женщины (в ту пору ей было двадцать пять), ее деловитость и трудоспособность. Она не пошла в молочницы, но избрала не менее доходную специальность косметички. В те годы, самые сытые во всей истории государства, резко подскочила вверх кривая интереса советской женщины к своей эмансипированной личности, и нужда в мастерах красоты ощущалась остро, даже болезненно. Так что заработку Тамары — зарплата плюс левые доходы — мог

бы позавидовать любой министр маленькой банановой республики. Прежде она уже побывала замужем, и вместе с мужем-шофером выстроила домик о трех комнатах с кухней, ванной и верандой. Разойдясь с ним, сумела отсудить для себя и трехлетней дочурки эту недвижимость. Заработанные деньги она не прятала в чулок, а обменивала на ценные вещи — импортные ковры, хрусталь, фарфоровую посуду, сомнительный антиквариат — с дальним прицелом на их выгодную перепродажу в случае наступления времен „дефицита", что в условиях социализма — явление неизбежное.

В ее „Днепре" всегда было полным-полно самых изысканных яств и напитков: балыка, икрицы, карбоната, пастрамы, маслин, лимонов, коньяков, — она любила вкусно поесть сама, побаловать лакомыми блюдами дочку, блеснуть достатком перед гостями.

Вот какую цитадель штурмовал Давид. И, странное дело, крепость, не испытывавшая недостатка ни в воде, ни в еде, способная выдержать хоть десятилетнюю осаду, в считанные дни капитулировала, сдалась на милость оборванца без гроша за душой. В тот момент, когда, с саблей наголо, он ворвался в покорно распахнувшиеся заветные ворота, Давид, потрясенный неслыханной удачей, дивился и надивиться не мог, почему ему, именно ему, так крупно повезло. Постепенно он начал все постигать, благо это не требовало особых затрат фосфора.

Первое и главное: Тамаре нужен был муж. Чутьем, свойственным любой женщине, она уловила, что лагерник, постившийся пять с половиной лет, в постели будет куда проворнее, ненасытнее, чем пресытившийся на вольных хлебах мужик, избалованный жадными до ласки послевоенными женскими легионами. Она не просчиталась: целых два года, ночь за ночью, без единого срыва графика, недопоставок или вынужденных простоев, Давид мял ее упругое, бархатистое тело, что, надо полагать, доставляло ей не меньшее наслаждение, чем ему. Но ведь лагерников в те годы выпускали десятками, сотнями тысяч. Почему же она выбрала именно его?

Загнув второй палец, Давид верно определил вторую причину: не просто муж нужен был Тамаре, а муж интеллигентный. Хорошая косметичка непременно обладает кое-каким художественным вкусом. Конечно, он, этот вкус, не превалирует над ее практицизмом, но властно требует удовлетворения. Поскольку в деньгах она, что называется, купалась, ей ничего не стоило позволить себе такую экстравагантность, как белорукий, ни к чему на свете не приспособленный, но интеллигентный муж. Давид отлично помнил: она уступила,

отдалась ему именно в тот вечер, когда в местной газете был опубликован его первый рассказ. Муж-писатель — разве это не щекотало ее самолюбие, не возвышало ее над подружками, не приобщало к таинственным сферам высочайшего творчества, куда простым смертным, даже косметичкам, доступа нет? Странное дело: в стране, где истинное, свободное творчество преследуется как государственное преступление, само звание творца — писателя, художника, скульптора, композитора — окружено сияющим нимбом святости... И здесь не ошиблась в нем Тамара. За три первых года на воле он написал и издал две книжонки. Она закупила в магазине по сотне экземпляров каждой и беспрерывно заставляла его сочинять дарственные надписи друзьям и знакомым.

Такой своей удачей он целиком был обязан ей. Дело в том, что, однажды прослезившись над каким-то его слезоточивым рассказиком, Тамара решительно заявила, что он истинный писатель, что посему незачем ему гнуть спину на какой бы то ни было работе, что его дело — сидеть дома да писать, а обо всем остальном она позаботится сама, слава Богу, ей не составляет труда прокормить семью. Конечно, ее мнение о нем ему польстило, хотя радость от похвалы сильно омрачало сознание, что точно так же Тамара могла развести сырость и над „Кавалером Золотой Звезды" или „Журбиными".

Что ж, достаточно было и одной возможности творить, которую в полном объеме, не требуя от него даже несложных хлопот по хозяйству, предоставила ему женушка. Он оставил за собой шесть часов географии в школе, в остальном из предоставленной возможности творить выжал все возможное, то есть писал, писал, писал, все более отходя от тем конъюнктурных, дозволенных к областям, граничащим с зонами запретными, порой даже вторгаясь в те мрачные, закрытые зоны. Результат: за семь последних лет, родив четыре романа, не опубликовал ни одного.

Его заработок составлял ничтожную часть того, что грабастала Тамара, он о том был информирован и мучился своим положением нахлебника. Но благодаря этому еще один Тамаркин расчет оправдался: ее Светка, которая сейчас гостила у бабушки, получила нового отца: за отличное содержание Давид счел себя обязанным сделать хотя бы символический жест доброй воли, благо это ничего ему не стоило.

Было у Тамары немало и других достоинств. Дом она содержала в образцовом порядке, не жалела денег, когда речь шла о покупке нового костюма или пальто для Давида, щедро финансировала его „творческие" поездки в Москву, прекрасно зная, что он без зазрения совести пропивает ее кровные денежки со старыми дружками-лагерниками. На

этом, пожалуй, кончались ее положительные качества и начинались мелкие, так сказать, отдельные, но весьма досадные недостатки, устранение которых представлялось Давиду невозможным в силу особых черт характера, присущих ей как женщине, во-первых, и как представительнице своей благородной профессии, во-вторых. Первая размолвка вышла у них вскоре после благополучного окончания первого периода его творчества (1954—1957), смысл которого целиком укладывается в формулу: „Печататься любой ценой". Имея скверное обыкновение прочитывать все его рукописи (несмотря на ужасающий почерк), Тамара однажды догадалась, что ее муженек, гордость ее благородная, слава блистательная и надежда высокая, понесся, как конь норовистый, к пропасти, вступил во второй период (1957—1964), символом которого стала формула: „Писать по возможности правду, даже с риском не быть опубликованным". Какое-то время она выжидала — что из этого выйдет, годы-то отличались неслыханным либерализмом, но очень скоро, учуяв чувствительным носиком гнилостный душок наступавшей реакции, сочла своим супружеским долгом высказаться нелицеприятно.

Вот тут-то и дошло до Давида, сколь несовместимы их взгляды на литературу, а, стало быть, и на другие явления жизни. В понимании Тамары творческий процесс литератора ничем не отличался от манипуляций мастера салона красоты: клиент хочет выглядеть эффектно, клиент щедро платит за наведение марафета, почему же не ублажить клиента? Спрятать под слоем крема и пудры прыщик, электрокоагулятором удалить несколько волосинок с подбородка, с помощью питательной маски омолодить дряблую кожу, выщипать брови, подкрасить реснички... Пжалте, и гоните монету!

Нечего и говорить, что с таким подходом к искусству Давид согласиться не мог. Он честно пытался доказать жене, что методы косметологии не только не приемлемы, но просто-таки противопоказаны истинному художественному творчеству, но все его доводы разбивались о незыблемый гранит ее уверенности в своей правоте. То, что не публикуется, упрямо твердила она, что, к тому же, не приносит никакой прибыли, — просто-напросто бесполезно, ненужно, даже вредно, и уж конечно не оправдывает затраченного времени.

С упорством идиота Давид продолжал предлагать свои произведения местным издательствам и журналам, проявлявшим не менее идиотское упорство в их вежливом отклонении. Постепенно изменялся его характер. Он был убежден в правильности избранного пути и не собирался с него сворачивать. Постоянные неудачи только подзадоривали его, и

если влияли на умонастроение, то, по его мнению, только в положительном смысле, закаляя волю к противостоянию, оттачивая, заостряя ироническое отношение к происходящему. Он начал испытывать почти садистское наслаждение от неуклюжих, жалких мотивировок отказов работников издательств — добрых знакомых — печатать его творения. Он вступал в споры с несчастными редакторами, едко высмеивал их доводы, хотя отлично понимал бессмысленность любых диспутов с этими подневольными людьми, не имевшими права на собственное мнение, вынужденными за жалкие гроши не столько выпускать книги, отвечающие запросам миллионов читателей, сколько предотвращать появление на книжном рынке любых произведений, подобных тем, что в последние годы выходили из-под его собственного пера. В глубине души он отдавал себе отчет: его поведение — не что иное, как одна из форм доброй ожесточенности, неудержимо, как горный поток, несущее его вперед, к третьему периоду творчества (1964—19...). Какой гордый девиз венчает этот период? Черт его знает! Что-то такое смелое и непримиримое...

Контуры наступавшего периода виделись ему сначала смутно, потом, со временем, все ясней, и чем отчетливей они высвечивались в сознании, тем поспешней, лихорадочней, в безотчетном страхе перед могильным покоем будущего, вновь и вновь атаковал он местные издательства, а затем и московские твердыни: в душе все еще гнездилась безумная надежда, что где-то там, „наверху", найдется хоть один умный человечек, он все поймет, оценит и распорядится.

Удивительное дело, приближение третьего периода предугадывала и Тамара, может даже, задолго до того как сам Давид догадался о нем. Упаси Бог, она не насиловала Давида, ничего от него не требовала. Как любящая жена и человек, стоящий на твердой почве, она „просто высказывала свое мнение" — в среднем раз в десятидневку, а этого было более чем достаточно, чтобы постепенно выработать в нем защитный рефлекс. Мало того: она — не из скупости, не со зла, а исключительно из добрых побуждений, преследуя лишь цель образумить его, отрезвить, — стала постепенно урезать ассигнования на его поездки и прочие „непроизводительные" расходы. Гордый Давид немедленно интерпретировал эти лисьи шажки как нежелание супруги инвестировать капитал в безнадежное, с ее точки зрения, предприятие, и с тех пор его защитный рефлекс все отчетливей начал принимать формы усиливающейся неприязни, порой даже ненависти к жене. Именно в те далекие уже времена он однажды с удивлением заметил, что с момента выхода на свободу его идеал женской

красоты претерпел головокружительную метаморфозу, что не то что „Лагерная Венера" — Венеры Милосская и Медицейская отныне начали казаться ему грубыми, жирными, тупыми девками. Сделав такое открытие, он принялся полегоньку изливать свою желчь не только на редакторов, но и на неповинную ни в чем, руководствовавшуюся лишь добрыми побуждениями жену. При этом в его нечастых, но едких, саркастических наскоках образ богини красоты (в различных интерпретациях знаменитых ваятелей и художников) занимал центральное место.

* * *

Тамара гладила. Сильная, ловкая рука утюжила широкое платье, распластанное на одеяле, покрывавшем столешницу обеденного стола. Время от времени Тамара прикладывалась к стакану с водой, стоявшему под рукой, и усилием мощных легких, как из пульверизатора, окатывала черную ткань снопом мельчайших брызг. Активно двигалась лишь ее правая рука. Заметное участие в работе принимала верхняя часть туловища, ритмично покачивавшегося туда-сюда в такт движениям руки, вооруженной утюгом. А вот зад, прочно покоившийся на беломраморных колоннах ног, оставался практически неподвижным.

Давид снова подивился его объему, подумал, что за десять лет этот зад увеличился чуть ли не вдвое, словно в нем одном оседало неимоверное количество провизии, поглощенной гурманкой Тамарой. В считанные секунды он даже произвел подсчет ее десятилетнего рациона и получилось: около трех тонн печеного хлеба, полторы тонны мяса и колбас, тонна картофеля, тонна макарон и круп различных, тонны две овощей и фруктов, сотни килограммов молока, сахара, меда, икры, десятки — чая, кофе, какао, красного и черного перца. Он вознес горячее благодарение природе за функцию обмена веществ, которой мудро наделен человек, но при этом не преминул скорбно отметить ужасающее различие между тем, что мы от нее берем, и что ей возвращаем.

А Тамара, по-прежнему стоя к нему спиной, продолжала развивать свои мысли:

— Конечно, дело твое, поступай как знаешь (типичная демагогия сверхдержавы, при каждом удобном случае подчеркивающей мнимую независимость малого государства, хорошо зная при этом, что без ее финансовой поддержки оно и шагу ступить не может). Но я бы на твоем месте крепко подумала, стоит ли зря тратить время и деньги. До тех пор, пока ты не поймешь...

В этот самый момент на Давида словно затмение нашло. Он увидел, что стоит на мягком ковре в комнате, почти сплошь увешанной коврами, с еще одним свернутым ковром, поставленным на-попа в углу, что в руке у него маленькие ножнички, которыми несколько минут назад он обрезал ногти в ванной. Холодное любопытство естествоиспытателя завладело всем его существом: „А что если шагнуть вперед — раз, другой, третий — и с ходу вонзить ножницы в этот феноменальный зад? Пробьют ли они эту твердь, отскочат ли, или сломаются, как при ударе стали о чугун?''

Искушение было так велико, что он ощутил нестерпимый зуд в пальцах, а лоб покрылся легкой испариной. Испуганно отвернувшись, Давид — подальше от греха — поспешно бросил ножницы на туалетный столик. Затем, прикоснувшись ладонью ко лбу и тем как бы снимая, отгоняя наваждение, он решительно прервал затянувшийся монолог жены:

— А знаешь, дорогая, у меня появилась неплохая мысль.

Выключив электроутюг и наматывая шнур на рукоятку, Тамара с полуоборота вопросительно на него поглядела.

— Вон тот ковер, — продолжал Давид, — чего ему стоймя стоять в углу, как наказанному школьнику? Давай повесим его.

Ее черные брови слегка взметнулись на белоснежный ясный лоб. Она неуверенно произнесла:

— Да ведь некуда...

— Как это некуда! — искренне удивился Давид. — На потолок повесим! Чего ему пустовать? (Типичный комариный укус униженной державы в отместку сверхдержаве за ее беспардонное давление.)

Тамара поджала губы, не ответила. Торопясь на работу, она принялась накрывать на стол. Как все, за что она бралась, и это нехитрое дело продвигалось у нее споро. И все же Всевышнему было угодно предоставить Давиду еще одну возможность подкузьмить супругу, и он из этой возможности выжал максимум. Подавая глазунью, Тамара в спешке выронила одну тарелку, та грохнулась о край стола и в виде десятков осколков, в смеси с растекшейся яичницей, упала на дорогой бельгийский ковер.

— Ой! — воскликнула она и, опустившись на колени, принялась подбирать остатки глазуньи вместе с фарфоровыми черепками.

Давид быстренько подтащил к себе уцелевшую тарелку и, незаметно ухмыльнувшись, подбросил ей неожиданный комплимент:

— А знаешь, ты похожа на Венеру Милосскую.

Тамара поднялась с черепками в перепачканных яичным

желтком пальцах и злыми, настороженными карими глазами, в ожидании подвоха, уставилась на него. Он невозмутимо довел свою мысль до логического конца:

— Красивая, но безрукая.

Этот выпад оказался чувствительней первого. В темных глазах жены сверкнула и тотчас погасла молния, и Давид насторожился в ожидании грома. Тамара, однако, и на сей раз отмолчалась. Лишь минут десять спустя, когда она, набросив на плечи пыльник и закинув на локоть ремень сумочки, направилась к двери, Давид спохватился, что против него применены санкции, какие неизменно применяются сверхдержавами против пошаливающих малых государств, чересчур о себе возомнивших. Он метнулся вслед за Тамарой и безотчетно, точь в точь как в анекдоте о польском офицере, обратился к ней с тем самым пакостным вопросом, который проститутка бросила вслед доблестному шляхтичу, не расплатившемуся с ней за сладостную ночь:

— А деньги?

Сказав это, сообразил, какую великолепную возможность для реванша ей предоставил, и прикусил губу в ожидании ответа, идентичного реплике ясновельможного пана: „Польские офицеры денег не берут''. Но Тамара оказалась выше мелочных обид, и уж во всяком случае куда выше самого Давида, что он и вынужден был со стыдом признать в глубине души. С очаровательной искренностью она хлопнула себя по белому лбу.

— Ах, прости, дорогой. Что-то зашилась я сегодня.

Порылась в сумочке, вытащила из нее конверт и сунула его Давиду в руку.

— Вот, держи. И смотри мне, не шали там. Если что узнаю... Ну ладно, счастливо.

Поднявшись на цыпочки, она чмокнула его в подбородок и убежала. В приступе внезапной злобы Давид скрипнул зубами. Тут же чуткими пальцами ощупал конверт и скрипнул вторично. Возвращаясь в комнату, он мысленно занес в реестр будущего сведения счетов со сверхдержавой еще два ее преступления против человечности: унижение, коему она его подвергла, принудив — в отместку за невинные шутки — клянчить деньги, и почти абсолютную невесомость конверта, годного разве что на подаяние нищему.

Вскрыв конверт, Давид пересчитал деньги. Так и есть: как рачительный бухгалтер, свято оберегающий государственные интересы, Тамара расщедрилась примерно на столько, сколько, работай он в захудалом учрежденьице, ему причиталось бы за командировку по авансовому отчету, то есть на проезд в оба конца, ночлег в средней руки гостинице из рас-

чета на неделю в размере, не превышающем трешницы в день. Ну, Тамарка! Видать, всерьез решила сломить его упрямство. Что ж, будущее покажет, кто сломается...

В прихожую ввалился Мойсей, его двоюродный брат — почти такой же длинный и тощий тип, как он сам, только на пяток лет старше. В левой руке он держал посылочный фанерный ящик, крест-накрест перехваченный шпагатом.

— Явился-таки? — вместо приветствия бросил Давид.

— Согласно уговору, — последовал ответ.

— А я лелеял надежду, что не придешь, забудешь. Ну, что у тебя там?

Он взял из рук кузена ящик и присвистнул:

— Ого, да тут никак не меньше шести кирпичей. Ты с ума сошел? Нет, нет, не стану я тащить на горбу этакую гирю.

Мойсей рассердился:

— Балда! Ты ж вчера согласился, черт тебя побери!

— Так я ж не знал, что у тебя там. А ты, видать, за ишака меня принимаешь.

— Ну ладно, так и быть. Отвезу тебя, паршивца, в аэропорт.

Мойсей работал директором Дома кино, в его распоряжении имелся „РАФик'', который он, подобно всем большим и малым начальникам, нещадно использовал в личных интересах. Услышав его предложение, Давид несколько смягчился.

— Что ж, это меняет дело. Но ты обязан также оплатить мне транспорт в Москве. Такси, разумеется.

У него и в мыслях не было разъезжать в столице на такси, но он сообразил, что представляется неповторимый случай пополнить свой бюджет, и решил идти напролом.

— Грабитель, — пробормотал Мойсей, неосторожно вытаскивая из внутреннего кармана пиджака три десятирублевки.

Ловким движением афериста Давид выхватил у него бумажки.

— Этого, пожалуй, хватит, — великодушно заявил он.

Мойсей умоляюще протянул руку.

— Да ты мне хоть трешницу на обед оставь, — взмолился он.

— Не крохоборствуй. Перехватишь у кого-нибудь в долг, — безжалостно отрезал Давид, поспешно заталкивая червонцы в тощий Тамаркин конверт.

— Изверг, — мрачно изрек Мойсей.

— Родич изверга...

— А еще брат...

— Такое родство делает тебе честь.

В их перебранке не было ни злобы, ни раздражения, скорее — некая теплота, свидетельствовавшая о приязни и дружбе. Они постоянно так пикировались — двое из четырех, остав-

шихся в живых после страшной войны. Оба свято хранили в душе память о некогда многочисленной дружной родне, сгинувшей в нацистских концлагерях. Только четверо чудом уцелели, четверка двоюродных, не имевших права повздорить, обязанных любить, оберегать друг друга во имя прошлого, настоящего и будущего. У всех были семьи, заботы, и не столь уж часто им приходилось видеться, но при встречах жалость друг к другу так и светилась в глазах, и слова, даже крепкие, подавались в бархатной обертке особых голосовых модуляций. По негласному уговору, ужасное прошлое считалось табу, о нем почти никогда не говорили, но каждый видел его пульсацию в печальных глазах другого и каждый в своем творчестве так или иначе тоскливо оплакивал это прошлое, моля мертвых простить их всех за то, что они остались в живых. Да, по странному стечению обстоятельств, все четверо стали служителями искусства: Мойсей писал сценарии, Яков был композитором, Алефтина — пианисткой, а Давид... Никто из четверки на вершины не поднялся, лавров не стяжал, но сам факт такого единодушного порыва к творчеству давал пищу для размышлений, и Давид находил ему объяснение как раз в неискупимом чувстве вины, неоплатного долга перед погибшими, сконцентрировавшемся в подсознательном, болезненно мучительном желании воздвигнуть им памятник более прекрасный, величественный, долговечный, чем все, что можно создать из мрамора, гранита, бетона или металла.

— Адрес и телефон — на крышке ящика, — сказал Мойсей. — Вот увидишь, тебе у нее будет интересно, она наверняка кое-что порасскажет о муже. Ну, поторапливайся, я опаздываю на работу.

— Можно подумать, что ты работаешь от и до, — проворчал в ответ Давид.

В три минуты он сложил в чемоданчик запасную рубашку, полотенце, туалетные принадлежности, нахлобучил на голову ядовито зеленую широкополую шляпу, подхватил с вешалки пальто, сунул в его боковой карман заветный блокнот — объемом с добрую книгу небольшого формата.

— Я готов, поехали.

Двор был устлан жестяной листвой, опавшей с двух кленов, стороживших вход. Нежаркое октябрьское солнце взмывало к зениту. Воздух был почти неподвижен и вкусно пахнул молодым вином — тулбурелом — и горелым мясом: где-то кто-то жарил шашлыки.

„РАФик" терпеливо ждал у ворот.

* * *

Самолет мчался по взлетной полосе, стремясь вырваться из цепких лап земного притяжения. Из уважения к его тяжкому труду, а скорее — в животном страхе перед турбовинтовой мощью, способной в любой момент разнести самолет в щепы, пассажиры подавленно молчали. Но вот металлическое чудище взмыло к солнцу и, набрав положенную высоту, уверенно, солидно легло на курс. И в салоне мигом наступила разрядка. Люди облегченно задвигались в креслах, стали отстегивать ремни, переговариваться. Давид оглянулся на соседей. Один, справа, в кресле у прохода, невзрачный, прилизанный человечек в очках, в поношенном темнокоричневом костюме и светлосерых туфлях, наверняка был мелким служащим, забитым, как гоголевский Акакий Акакиевич, пресным и скучным, как его гиблая работа в каком-либо загсовском архиве или конторе общества глухонемых. Слева восседали два краснолицых, жизнерадостных, вполне довольных собой и окружающим миром типа. Об их благополучии на родной земле с стопроцентной вероятностью позволял догадываться источаемый ими легкий аромат дорогого коньяка, кажется, „Юбилейного", причудливо переплетавшийся с рафинированным запахом духов „Москва". Ясно, что оба были снабженцами, откомандированными в столицу для решения не терпящих отлагательства производственных проблем. Как принято в подобных случаях во всей Руси великой, они везли с собой какие-то „молдавские сувениры", рассчитанные на стимуляцию интереса московских заправил к их нуждам. Вдвойне понятно, что добрую половину выделенных начальством даров они присваивали.

Давид свернул пальто, пристроил его на коленях, вытащил из его кармана заветный блокнот, достал из нагрудного карманчика пиджака авторучку и приготовился работать. Прежде чем он успел открыть блокнот, произошло два знаменательных события.

Один из соседей слева рассказывал другому анекдоты.

— В армянское радио поступил вопрос: „Какая разница между бедой и катастрофой?" Армянское радио отвечает: „Когда на улице Еревана переворачивается арба, — это беда, но не катастрофа. Когда же с высоты восемь тысяч метров грохается самолет и гибнет все наше родное советское правительство, — это катастрофа, но не беда".

Второй прыснул в кулак, но тут же скорчил преуморительную серьезную рожу, оглянулся кругом и прошипел товарищу на ухо:

— Ты с ума сошел! За ж...у ж могут взять за такие хохмы.

На что последовала беспечная реплика, сопровождавшаяся все на свете отметавшей отмашкой руки:

— Да брось, не мандражируй. Времена нынче не те...

В этот момент справа, сверху, прозвучал ангельский голосок:

— Я вас слушаю, товарищ, что вам угодно?

Давид оглянулся. Рядом, в проходе между креслами, стояла очаровательная тонконогая блондинка в униформе, будто сошедшая с цветной рекламы „Аэрофлота". Ее вопрос был обращен к невзрачному человечку, соседу справа. Тот непонимающе хлопал красными веками без ресниц.

— Мне? Ради Бога, ничего...

— Но вы меня вызывали, — мягко настаивала стюардесса.

— Я? Что вы! Даже не думал.

— Вы нажали кнопку вызова.

— Какую кнопку?

— Вот здесь, — девушка указала на подлокотник кресла.

— Неужели? Вроде я и не прикасался к ней. Может, нечаянно?.. Извините, ради Бога.

Девушка пожала плечами и удалилась, вихляя бедрами. Давид проводил ее оценивающим взглядом. Фигурка бортпроводницы почти соответствовала его новому идеалу женской красоты. Он глубоко вздохнул, тут же задраил люк личного звездолета: мертвая тишина воцарилась вокруг — перестали реветь тысячи медведей, бесившихся в двигателях, стихло пчелиное жужжание голосов. Яркий солнечный луч сочился сквозь иллюминатор, освещая первую страничку блокнота, исписанного мельчайшим, уродливейшим почерком, и Давид погрузился в работу, читая написанное, вычеркивая или исправляя на ходу слова и предложения. Первый рассказ с древним, но вечно свежим, благоухающим заголовком:

ХЛЕБ

Железнодорожная колея петляла меж кара-кумских песков. Поезд то медленно тащился вперед, оглашая девственные дали тоскливыми гудками, то подолгу простаивал на пустынных полустанках, чтобы затем снова поползти вдоль волнистых барханов, напоминавших бесконечный морской пляж.

В битком набитых теплушках было жарко и смрадно. Переругивались женщины. Плакали, визжали грудные младенцы. Угрюмо молчали обросшие щетиной мужчины. И все, как один, с остервенением чесали завшивевшие тела.

По ночам плохо спалось. От нестерпимого зуда люди му-

чительно ворочались во сне, часто просыпались и, стаскивая с себя белье, трясли его что было мочи, просунув руку в щель приоткрытой двери теплушки, словно таким манером можно было избавиться от цепких отвратительных насекомых.

Однажды ночью я услышал жалобный шепот матери:

— Надо где-нибудь остановиться. Она не выдержит.

Отец промолчал.

— Ты слышишь меня? — настойчивее сказала мать. — Она не выдержит. Надо что-то делать.

Отец приподнялся на локте.

— Где? Где остановиться? — раздраженно бросил он.

— Я не знаю. Но так она долго не выдержит. Ой-ой-ой, эта проклятущая война.

— Замолчи. Я и сам все понимаю. Но не оставаться же в этой Богом забытой пустыне...

Речь шла о сестре. Еще там, дома, она была серьезно больна. А это изнурительное многонедельное путешествие из Одессы до Кубани, а потом с Кубани сюда, в Среднюю Азию, через Махачкалу, Красноводск, Ашхабад, окончательно подорвало ее здоровье. С каждым днем она все заметнее таяла, и в последнее время лежала не в силах подняться, устремив огромные печальные глаза в закопченный потолок теплушки, — безучастная, равнодушная ко всему на свете.

А поезд все шел и шел, и пескам не видно было конца-края. На станциях покрупнее беженцы выскакивали из вагонов, мчались за кипятком, предлагали местным жителям барахлишко в обмен на продукты. И с мольбой и надеждой в голосе выспрашивали:

— Далеко еще до Ташкента?

— До Ташкента далеко?

Ташкент представлялся нам землей обетованной. Мы знали, что это „город хлебный", что там растет „виноград без косточек", а больше ничего не знали. Но почему-то все слепо верили, что в Ташкенте придет конец их бедам и страданиям, и рвались в Ташкент, как грешники в рай, как правоверные в Мекку. И когда ранним весенним утром наш поезд, злобно скрежеща тормозами, остановился в Самарканде и местным начальством всем было велено выгружаться, мы восприняли это так, будто нас вознамерились высадить в мертвой пустыне.

— Мы едем в Ташкент!

— Мы хотим в Ташкент!

— Мы здесь не останемся! Только в Ташкент!

Нас успокаивали, нас заверяли, что Самарканд ничуть не хуже Ташкента, но мы и слушать не хотели, — капризные ребятишки, вбившие себе в голову вздорную мысль и ни за

что не желавшие с ней расставаться. Кое-кто сумел-таки пробраться в ташкентские поезда, но большинство было обременено детьми и барахлом и осталось на месте. Отец взял шерстяной коврик и отправился на базар. Вернулся он без коврика, но с полной торбой диковинных яств: были тут румяные узбекские лепешки, кишмиш (только там мы узнали, что кишмиш — это и есть сушеный виноград без косточек) , мацони — вкуснейшее кислое молоко — и другие лакомства.

— Надо остаться здесь, — сказал отец. — Начальники не лгали. Тут наверняка не хуже, чем в Ташкенте.

Мы ночевали на привокзальной площади среди сотен других беженцев, а наутро отец ушел и вернулся на пролетке, запряженной претощей клячей, не делавшей чести такому благодатному краю, как солнечный Узбекистан. Санитарка в белом халате помогла усадить сестру в пролетку, мама села рядом с сестрой, кутая ее плечи одеялом. Ездовой-узбек в полосатом ватном халате хлопнул бичом, и пролетка, подпрыгивая, покатила по булыжнику. Сестра печально смотрела на меня, а я смотрел на нее и видел смертельно-бледную, почти прозрачную кожу ее лица, ввалившиеся щеки и огромные серые глаза и не понимал, что она обречена, и ничто уже не может ее спасти. Мама вернулась часа через три. Она сказала неуверенно, что в больнице сестру хорошо приняли, что ей там будет лучше и, даст Бог, она скоро поправится. Отец угрюмо молчал, сидя на тюке с барахлом, и я тоже молчал, потому что не знал, что принято говорить в подобных случаях. Мать кинула взгляд на сгорбленного отца, потом на меня, длинного, сутулого, худющего подростка, и вдруг громко разрыдалась — прямо там, посреди привокзальной площади, кишевшей людьми, как нащи тела — паразитирующими на них вшами. Отец встрепенулся, бросился к ней и, грубовато обняв, стал утешать. Она плакала совсем по-ребячьи, всхлипывая и утирая нос платочком, и мне ее было ужасно жалко, но я стеснялся высказать это и стоял, переминаясь с ноги на ногу, с щемящим чувством тоски разглядывая морщины на ее лбу и густые сеточки склеротических жилок на щеках.

Ту ночь мы также провели под открытым небом. Спали на тюках с вещами, тесно прижавшись друг к другу, потому что стояла глубокая осень и было холодно даже под стеганым шерстяным одеялом. Посреди ночи одеяло вдруг рванулось куда-то в сторону, и когда я, заспанный, растерянный, поднялся на ноги, отец уже молотил какого-то дюжего, непонятно откуда взявшегося молодца. Он бил его кулаками и головой, и парень, с мордой, разбитой в кровь, истошно орал:

— Ой, дяденька, больше не буду! Отпустите... Убьете же...

Потом отец поволок парня в милицию и вернулся оттуда злой, как тысяча чертей.

— Доказательства им подавай! — ругался он. — Я им, гадам, вора привел, а они еще и доказательств требуют.

И внезапно решил сорвать зло на мне:

— А ты чего стоял, как истукан? Почему отцу не помогал?

— Ты и сам неплохо справлялся, — пролепетал я, отлично сознавая скудость такого оправдания.

— Трус ты, вот кто. Драться не умеешь. Ничего не умеешь, — не унимался мой родитель.

Мама немедленно бросилась меня выручать:

— Ну что ты к мальчику пристал? Он же еще ребенок...

— Ха, ребенок, — рычал отец. — Я в его годы...

Мы недосчитались одного мешка с вещами, и это была невосполнимая потеря, если учесть, что деньги у отца все вышли, работы пока не было, а сестра лежала в больнице и нуждалась в усиленном питании.

К обеду следующего дня отцу удалось найти жилье. То была убогая темная комнатушка с глиняным полом, низким потолком, пустая, как Кара-Кумы, но с плитой и чем-то наподобие ниши в одной из стен. В нише мать устроила гардероб, сложила туда носильные вещи, постельное бельишко. Пол подмела и застелила ковром, поверх ковра распластала две перины, подушки, все это покрыла одеялами. После всех перенесенных лишений и комната и постель показались нам не только вполне сносными, но даже необыкновенно комфортабельными. Из ящика отец смастерил столик, полочку, табуретку, и вся эта „обстановка" многие месяцы служила нам добрую службу.

Не помню, что было потом. Меня скосил тиф, и много дней я лежал в беспамятстве. Те дни будто выпали из жизни. Я не видел, не знал, когда уехал отец, — его мобилизовали в трудармию. Я узнал об этом, когда однажды утром очнулся и попробовал встать. Матери в комнате не было. Чувствуя страшную слабость во всем теле, но не понимая, откуда она, проклятущая, взялась, я с трудом приподнялся на локтях и перевернулся на живот, чтобы встать на колени. И опять провалился в бездонную пропасть — сознание покинуло меня. Но кризис миновал. Через час у моей постели сидела мать и поила меня чем-то горячим и безвкусным. Тут-то и спросил я об отце, и она заплакала и сказала, что он в армии и что она не знает, что делать с нами, с двумя больными детьми. Я пообещал ей, что скоро встану, и действительно, уже через неделю я разгуливал по комнате, но был так слаб, что больше чем на десяток минут сил у меня не хватало, и я вынужден

был вновь ложиться в постель. В довершение всех бед у меня разыгрался волчий аппетит. Сперва это обрадовало маму. Она мчалась на базар, продавала какую-нибудь кофту или сорочку и возвращалась с сумкой, набитой снедью. Я живо расправлялся со всем, что она приносила. Я жрал, как Гаргантюа, и никак не мог наесться досыта. Мать охала, ахала, всплескивала руками при виде моей прожорливости, восторженно восклицала: „Невроку!'" Но вскоре на ее лице появились признаки озабоченности, очень быстро сменившиеся выражением явной растерянности, даже страха. Не продавать же все до нитки, что-то и носить надо, да и на сколько их хватит, наших вещичек, прихваченных из той, сказочной довоенной жизни? И когда я окреп настолько, что мог выходить во двор, она пошла работать на консервный завод.

Прежде моя мать никогда не работала. Отец считал, что она должна воспитывать детей, в этом ее главное назначение на земле. Может, он был прав, но вот ведь какие времена наступили: сам отец на Урале, а мы трое здесь, причем двое — нетрудоспособные. Выбора не было. Я не знаю, как матери удалось чему-то научиться на том заводе. Наверно, это было совсем не просто. Наверно, это было даже дьявольски трудно — начинать все сызнова на сорок втором году жизни. Но это я понимаю сейчас. А тогда не понимал. Ничего не понимал. Не понимал, откуда у нас стали появляться рисовые консервы, почему мы вдруг зажили немного лучше, чем прежде, нет, далеко еще не хорошо, но все же без распродажи немногих оставшихся у нас вещей. Не понимал, откуда у нас те черствые краюхи хлеба, которые мать по воскресным дням вытаскивала из своей засаленной сумки. Они были почти одинаковыми, некоторые целехонькие, другие надкушенные, но все без исключения вызывали смутное беспокойство, разбираться в котором не хватало — чего? — сил? смелости?

В феврале я тоже пошел работать. Ел я много, но еда не шибко шла мне впрок, и силенок все еще было маловато. Потому-то мать и подыскала мне легкую работенку — ночного сторожа в паровозном депо. О, будь она проклята, та ночная работа! Раньше я был голоден только днем, по ночам спал, а спать — это все равно что есть. Теперь же к дневным мукам прибавились ночные. Длинный, тощий, унылый, я, словно призрак, бродил по депо, осматривал свои владения. Там было сколько угодно железяк, и если б можно было жрать железо, я проглотил бы все паровозы и все запасные части к ним и был бы самым сытым человеком на земле.

Ох, как нестерпимо медленно тянулись ночные часы! Я снова и снова кружил по территории депо, и когда станови-

лось невмоготу, прислонялся к какой-нибудь стенке и стоя подремывал. Через десять-двадцать минут, озябший, скрюченный холодом, мчался греться в кузнечный, к адскому пламени горна.

После дежурства я бежал домой. Мать к этому времени уходила на свой завод, но на столике, когда-то сколоченном отцом, меня ждала тарелка с пловом, а рядом с ней лежал кусок хлеба — из тех самых черствых краюх, которые она регулярно приносила. Я мигом съедал все это, после чего отправлялся в Старый город, на базар.

Старый город — сплошная экзотика. В Старом городе — великолепный Эль-Регистан, обсерватория Улуг-бека, минареты древних мечетей и причудливые строения медресе. В Старом городе — глинобитные дувалы и глухие стены глинобитных домов. По узким улочкам семенили ишаки, подгоняемые седобородыми бабаями в пестрых полосатых халатах и белых чалмах, и, словно тени далекого прошлого, проплывали мимо женщины в черных чадрах, навевая сладостные думы о благословенных временах гаремов, одалисок и евнухов. Впрочем, все это ничто в сравнении с базаром Старого города. Прямо на земле сидели торговцы-узбеки — молодые, пожилые, старые — в расшитых золотом, серебром или бисером тюбетейках, в халатах или военных галифе и наглухо застегнутых командирских кителях. А перед ними стоймя стояли мешки, мешочки, корзины с кишмишом, урюком, виноградом, яблоками, грушами — все золото этой богатой, щедрой земли. А там — молочный ряд: сыры, брынза, мацони, молоко, масло... Дальше — восточные сласти: халва, шербет, рахат-лукум, иншаалда...

Там можно было купить корову или коня и швейцарские часики, пару галош и золингеновскую бритву, зингеровскую швейную машину и американскую тушенку. Торг шел с утра до ночи, барышники весь день сидели на корточках или на ковриках, поджав под себя ноги, и пили кок-чай, который, в фарфоровых пиалах, подносили им мальчишки-чайханщики.. Тут можно было все купить, но цены не укладывались в сознание бедного паренька, каким я тогда был. И все же я ежедневно ходил на базар, меня туда тянуло, как мотылька к свету. Я толкался в пестрой толпе, голодными глазами мысленно пожирал все лакомства, какие там были, и рисовал себе картины — одну другой ярче, фантастичней: что вот, каким-то чудом, вдруг испаряются все барыги, а их товары остаются на месте, и в течение нескольких дней я единолично хозяйничаю на базаре; что внезапно смягчаются сердца спекулянтов, и они наперебой задаром суют желающим все, что только тем угодно; что я станов-

люсь человеком-невидимкой и безнаказанно хапаю все, что попадается под руку...

Эх, какой непоправимый урон нанес бы я самаркандскому базару, если б хоть одна из моих грез осуществилась!

К обеду, продрогший, разбитый, озлобленный, я возвращался домой. Дома было холодно и сыро, и сквозь прохудившийся потолок просачивались капли дождя. В тех местах, где протекало, я подставлял пустые консервные банки, потом съедал неизменную порцию плова, с риском для жизни пронесенного мамой через заводскую проходную, и очередной кусок черствого хлеба и, раздевшись, нырял под стеганое одеяло — последний осколок доброго старого времени. Водяные капли выбивали нелепое сольфеджио на дне жестянок, а я лежал, укрывшись с головой, и вспоминал, как в прежние дни мать тщетно упрашивала меня съесть кусочек хлеба с маслом или выпить стакан какао, как однажды, разозлившись из-за ее настойчивых уговоров, я швырнул ломоть хлеба с маслом в стенку и как отец жестоко вздул меня за это, а я, бедняжка, обиделся и три дня с ним не разговаривал... И с такими мыслями засыпал. А вечером снова шел на работу, на свою голодную ночную вахту.

Наступила теплая среднеазиатская весна. В арыках живее, веселее заструились мутные вешние потоки, зацвели черешни, вишни, яблони.

Как-то в апреле мать, как не раз прежде, вывалила из своей сумки на стол несколько черствых кусков хлеба. Огрызков среди них теперь не было, как раньше, — только целехонькие четырехсотграммовые пайки. Да, четырехсотграммовые, к тому времени я насобачился на глазок безошибочно определять вес любой хлебной порции. Мне вдруг показалось, что я понял, откуда они, а раз так показалось, — я, как честный мальчик, каким я себя всегда считал, не мог уже молчать. Пересилив себя, я робко спросил:

— Мама, откуда это?

Она как-то странно взглянула на меня, и я вновь приметил, сколь дряблые у нее щеки, как густа сетка морщинок у глаз и сплетение синих жилок на скулах.

— Ешь, не спрашивай, — сказала она и отвернулась.

Но я уже не мог остановиться.

— Это твое? Это ты собираешь, чтобы отдать мне?

— Да нет же, — сердито ответила она. — С чего ты взял?

— Так откуда же ты это берешь?

— Боже мой, как ты не понимаешь! На базаре покупаю.

Я больше не настаивал. Но с тех пор еще тревожней становилось на душе всякий раз, когда я брал в руки кусок этого хлеба. Мать вновь и вновь приносила его, и это уже

всегда были похожие, как близнята, четырехсотграммовые пайки, и я рвал молодыми зубами твердые горбушки, но теперь они почему-то казались мне не такими вкусными, да и в горло пролезали со скрипом. А мама глядела на меня и тихо так, будто про себя, причитала:

— Боже мой, какой ты еще маленький... Какой ты ребенок...

Я обижался, я возражал, впрочем, без особой убежденности:

— Я не маленький. Мне уже шестнадцать.

— Шестнадцать тебе будет осенью, а пока только пятнадцать.

— Все равно я не ребенок. Я уже работаю, — твердил я упрямо.

И она умолкала и печально покачивала головой, а я смотрел на ее руки, такие белые, нежные прежде, а теперь темные, жилистые, сплошь покрытые ссадинами и мозолями, и думал, что хлеб этот не с базара, что она обманывает меня и, наверное, свой паек все-таки не съедает, а приберегает для меня. И утешал себя тем, что у нее там, на заводе, миллионы банок с пловом и овощи всякие, и фрукты, и она, конечно, не голодает среди этого изобилия, но то было слабое утешение, потому что чужой хлеб — не твой хлеб, особенно в такое время, когда он дороже золота и бриллиантов...

Мать не брала меня с собой, когда ездила навещать сестру, она говорила, что боится, чтоб и я, не дай Бог, не подхватил чахотку, и такое объяснение меня вполне удовлетворяло. Но в последнее воскресенье мая я решил проявить максимум настойчивости. Я сказал, что если она не возьмет меня, я пойду один, и на ее обычные доводы ответил, что соскучился и что если она, мать, не заразилась, то и мне это не грозит. Я и в самом деле соскучился по сестре. Я не виделся с ней с тех пор, как ее увезли в больницу. Я солгал бы, если б стал утверждать, что очень ее любил. Никого я тогда не любил, кроме самого себя, — в семье я был младшим и, конечно, баловнем родных, и с малых лет привык к тому, что все обязаны любить меня, не требуя взаимности. Отца я побаивался, он был скор на расправу, и рука у него точно свинцом была налита, зато матери нередко демонстрировал свой скверный упрямый характерец, а над сестрой просто-напросто издевался — придумывал ей обидные клички, дразнил, а порой и кулаками ее дубасил. Так было там, но здесь я стал тихим и робким, и что-то похожее на человеческие чувства начало пробуждаться во мне. Я постепенно начал осознавать простую, как амеба, истину, что эти трое — отец, мать и сестра — единственные, кто не изменит, не обманет, и что без них

я буду беспомощным, как слепой щенок. Вот так я начинал ценить их — благодаря инстинкту самосохранения, но это эгоистическое чувство впоследствии, наверное, должно было исчезнуть, уступив место чему-то более высокому, благородному.

Больница находилась на окраинной улице Нового города. За каменной оградой шумел листвой роскошный парк с тенистыми аллеями, по которым прогуливались больные. Они показались мне совсем не болезненными, те румяные парни и девушки, что попадались на пути, и я даже с обидой и завистью подумал о том, как хорошо им здесь, — не работают, получают паек да еще из дому передачи им носят. Я ж понятия не имел о том, что такое чахоточный румянец...

Мы вошли в парадную большого трехэтажного здания, у дежурной взяли белые халаты и по длинному коридору направились в палату, в которой лежала сестра. Я испугался, когда увидел ее. Она была одна в палате и лежала на спине с закрытыми глазами и сложенными на груди руками, совсем как покойница. Лицо у нее было до того изможденное, до того белое, обескровленное, что на нее страшно было смотреть, и я невольно отвел глаза, а сердце мое болезненно сжалось. Она услышала, что мы вошли, открыла глаза и слабо улыбнулась. Мама захлопотала: поправила ей подушку, вытащила из сумки банку домашнего компота, лимон, немного кишмиша, поджаристую лепешку. Проделывая все это, она без умолку говорила — об отце, о погоде, обо мне, о своих заводских делах. Сестра вроде слушала, но мыслями была далеко, и я это понял, когда внезапно она спросила:

— А яблони уже отцвели?

Мама в замешательстве умолкла, потом кивнула:

— Отцвели, доченька. Но цветов сейчас много, очень много... В следующий раз принесу тебе букет.

— Ему надо учиться, — опять без всякой связи с предыдущим заметила сестра, кивнув в мою сторону.

И мама послушно согласилась:

— Он еще будет учиться. И ты тоже. Вот окончится война...

Мне показалось, что при этих словах сестра слабо усмехнулась. Я понял: она не верила, что будет учиться, не верила, что будет жить, и знала, что все, сказанное матерью, — обман и самообман. А мама говорила не умолкая и то поила сестру компотом, то поправляла под ней измятую простынь. Я молчал, украдкой поглядывал на сестру и ясно видел, что она знает о близком своем конце...

Когда мы собрались в обратный путь, она движением руки указала на свою тумбочку:

— Возьми там, мама...

Мать метнула на меня испуганный взгляд, нерешительно потопталась на месте и, внезапно покраснев, открыла дверцу тумбочки. На верхней полке лежали те самые четырехсотграммовые горбушки — семь порций, недельный хлебный паек сестры.

По дороге домой я не проронил ни слова. Мать, напротив, была чрезмерно разговорчива. Она тараторила:

— Что делать, Боже мой, что делать! Соня все равно ничего не ест, так пусть хоть тебе достанется. Не выбрасывать же добро... А у нас с отцом одна теперь надежда — ты... Если б только она могла кушать! Но ты же сам видел, какая она. О Боже, Боже... Чтоб они огнем горели, эти проклятые фашисты!

Воротя от нее лицо, я тихо плакал. Горючие слезы лились по щекам, я украдкой смахивал их и думал о том, что видел и слышал там, в больнице, и уже чувствовал, что отныне всегда, до последнего издыхания, жить будет во мне это ужасное ощущение неискупимой вины...

Сестра умерла осенью того года. Ее похоронили на зеленом, тихом самаркандском кладбище.

А я жив...

* * *

Несколько секунд Давид молча сидел в звездолете. Потом вздохнул, поднял голову и откинул люк. Мутными, но победоносными глазами он оглядел салон, будто прочитал рассказ вслух и теперь ожидал восторженную реакцию публики.

Ревели двигатели „Ту". Двое слева, разморенные коньяком, спали, словно бывалые солдаты в строю — в умилительном братском единении, прильнув друг к другу плечами и головами на смежных краях кресельных спинок. Из их глоток, на одних и тех же нотах, вырывался мажорный, удалой храп — дуэт билабиальных, взрывных и фрикативных звуков. Давид дернул плечом и скосил глаза на соседа слева. Тот вел себя странно: пальцами правой руки выбивал неслышную дробь на подлокотнике кресла; время от времени он прекращал это занятие, протягивал руку вперед и ласково поглаживал белую кнопку вызова; тут же отдергивал руку и опять барабанил. Похоже было, что его подмывало нажать на эту кнопку, да решимости не хватало. Так продолжалось две-три минуты, пока демон-искуситель не поборол в нем врожденную робость: указательным пальцем замухрышка вызвал-таки тонконогую блондинку, и она возникла перед ним, словно пробившись в салон из-под брюха самолета. Солнечно улыбаясь, девушка пропела:

— Я вас слушаю, товарищ?

На замухрышку глядеть было тошно — до того униженное, угодливое выражение приняло его изможденное личико. Он бормотал:

— Извините, пожалуйста, за беспокойство, но нет ли у вас свежей газетки? Если вам не трудно... будьте любезны...

Через несколько секунд ему была доставлена „Правда".

— Спасибо, большое спасибо, — бормотал заморыш.

Давид опять проводил взглядом удалявшуюся стюардессу и на сей раз решил, что голени у нее чересчур уж тонкие, костлявые, а потому, наверное, и бедра не самого высокого класса. Придя к такому заключению, он перевернул страничку блокнота и уставился в заголовок следующего рассказа. Его название выглядело посвежее первого, хотя, если покопаться в мировой библиографии, конечно же нашлось бы десятка два или три идентичных, ибо трудно быть первооткрывателем на ниве, вспаханной доброй сотней тысяч литераторов только за последние несколько десятков лет.

Вновь забравшись в звездолет, он отключился от внешнего мира и умчался в прошлое, на девятнадцать лет назад:

НАПЕРЕГОНКИ

Вот уже четыре дня мы били баклуши. Ни тебе строевой, ни матчасти, ни политзанятий. Отдых, полный отдых, который, считало начальство, мы вполне заслужили после столь долгой войны. Наше мнение с мнением начальства не расходилось, и мы отдыхали кто как умел. А лучше всего умели мы спать, есть и трепаться. Спали, понятно, по ночам, но и днем, после завтрака, после обеда, ложились на боковую и мощным храпом сотрясали стены особняка рядом с „Ноллендорфпалласом". Ну а когда от сна опухали глаза, принимались болтать о том, о чем, наверное, толкуют между собой солдаты всех армий мира: о девушках и женах, о родных городах и селах, о демобилизации и планах жизни на гражданке.

Парни в нашем взводе подобрались на редкость колоритные. Кроме помкомвзвода-сибиряка, славившегося своей смелостью и силой, был у нас, к примеру, Васька-одессит — отчаянная голова, нахал и грубиян, но вместе с тем отличный товарищ, на которого можно было положиться, как на пару добрых волов, — так у нас в Бессарабии говорили о надежных друзьях. Был также целомудренный и застенчивый, как девушка, Толик Дубаненко, он краснел, бледнел и быстро удалялся всякий раз, когда кто-либо рассказывал

соленый анекдот или, по-солдатски откровенно, с пикантными подробностями, делился своими подвигами на поприще любовном. И был еще Диди Шварц, румынский еврей из города Галаца, в сороковом году, когда Советы вошли в Бессарабию, покинувший родных ради свободной, вольготной и идейной жизни под властью большевиков. Пять лет провел он среди русских на Кавказе, на Урале, на Волге, — но язык усвоил лишь постольку-поскольку и немилосердно, но вместе с тем очень мило и смешно коверкал простейшие русские слова и особенно пословицы и поговорки, что вызывало гомерический хохот среди солдат.

Он был из пополнения, пришедшего к нам всего за несколько дней до капитуляции немцев в Берлине. Хорошо помню его явление взводу. Двадцать восьмого апреля, часа в два пополудни, к нам в подвал ввалился ротный старшина. С ним был среднего роста субчик с длинным лошадиным лицом, сутулый и тощий, как Дон-Кихот. Пилотка, гимнастерка, галифе, которые ему выдали, видать, еще в запасном полку, выглядели как трижды „бэу" — бывшие в употреблении. С левой ноги свисал конец обмотки, на правой обмотка вилась не до колена, как положено, а кончалась значительно ниже, отчего заплатанная штанина галифе при каждом шаге то вздувалась, то опадала, как кузнечный мех. Все это, конечно, нас не удивило бы — видали мы и не такие виды. Но при таком обмундировании, при такой далеко не военной выправке на мясистом, крючковатом носу новичка красовались очки в золотой оправе. Между этими сверкающими очками и внешним видом солдата была такая вопиющая дисгармония, что все мы, едва только старшина сдал его с рук на руки командиру взвода, окружили его плотным кольцом и стали разглядывать с головы до пят, как некое чудо заморское. Я бы не сказал, что это его смутило. Он, в свой черед, рассматривал нас и дружелюбно нам улыбался, всем своим видом давая понять, что готов с нами подружиться.

Первым подал голос самый шустрый из нас, Васька-одессит. Презрительно скривив тонкие губы, он изрек:

— Ну и фраер!! Ну и штымп!.. Послушай, откуда ты такой взялся?

— Я волунтар, — с гордостью объявил новичок.

— Чего-чего? Волунтар? — на Васькином лице отразилось недоумение. — Это что же, фамилия твоя такая?

— Нет, это...

Он умолк, подыскивая соответствующее русское слово.

— Доброволец, — подсказал я.

— Да, да, доброволец, — радостно закивал новенький, кинув мне благодарный взгляд.

От такого ответа Ваську даже передернуло. Вывернутым большим пальцем указывая на новичка, он с издевкой в голосе обратился к нам:

— Видали, братва? Доброволец. Выходит, мы все здесь по принуждению, один он — нет. Штымп! — Васька снова повернулся к новичку. — Ну а имя-то у тебя имеется?

— Имя — Диди Шварц, — последовал ответ.

Тут Васька ухмыльнулся во всю широкую свою физиономию.

— Ну, Шварц — это еще куда ни шло. Знавал я в Одессе одного Шварца. Но Диди — это ж собачья кличка.

И тогда злобно сверкнули золотые очки, и новенький запальчиво ответил:

— Сам ты собачья клячка!

И тут покатился со смеху наш взвод, не исключая и самого Васьки, который, будучи вспыльчивым и самолюбивым малым, по идее должен был бы рассвирепеть и пойти на оскорбителя с кулаками.

С того дня Диди стал популярнейшим человеком в нашем взводе и непременным участником всех наших солдатских бесед. Его в них вовлекали, даже если он не был настроен на веселый лад, его просто-напросто провоцировали на остроты, которыми он невольно, из-за незнания языка, сыпал как из рога изобилия. А ему, полиглоту, владевшему немецким, французским и английским, казалось, что и русский он знает отлично, и он недоумевал, а иногда даже и обижался, когда мы гоготали над его изречениями.

Да, весело и праздно мы проводили первые мирные дни в Берлине, и нам уже начинало казаться, что так будет продолжаться и дальше, до самой демобилизации из армии и долгожданного возвращения к родным очагам.

— Эх, братцы, — говорил Васька, лежа на матрасе, — как подумаю о родной Пересыпи — дух захватывает...

— О, у меня тоже когти скребут по сердцу, — подхватывал Диди.

Однажды помкомвзвода вслух читал статью в газете, в которой говорилось о каком-то нелояльном по отношению к нам поступке англичан. Диди внимательно все выслушал и мрачно изрек:

— Эти хытрые англичане ставят нам палцы в колеса.

— Не пальцы, а палки, Диди, — поправил его я.

Он, дурак, обиделся почему-то, метнул на меня молнию очков:

— Молчи. Ты и Васка! — два собака пара.

Вот таким был волонтер Диди Шварц — краса и гордость нашего взвода, слава о котором очень скоро разошлась по всему полку.

Утром девятого мая мы позавтракали и собирались было вновь завалиться на боковую, как вдруг с улицы донеслась страшная пальба. Тарахтели десятки, сотни автоматов, разрывая в клочья ставшую уже привычной тишину. Думаю, у каждого из моих товарищей, как и у меня, дрогнуло тогда сердце. Каждый, наверное, подумал: в город ворвалась недобитая немецкая часть, и вот сейчас придется вступить с нею в бой, и, быть может, расстаться с жизнью...

— Тревога! — заорал помкомвзвода. — В ружье!

Всего минута прошла — а мы уже были одеты и обуты. С карабинами наготове выстроились перед старшим сержантом — слегка испуганные, бледные, но полные решимости драться до конца. Помкомвзвода строго оглядел нас, для куражу выдал короткий мат в адрес фашистов и скомандовал:

— За мной бегом марш!

Топоча ботинками и сапогами, мы выбежали во двор. Треск автоматов продолжался сильнее прежнего. Слышались непонятные крики, сливавшиеся в могучий рев.

— Быстрее, черт возьми! — заорал наш командир.

Через гулкую подворотню мы вылетели на площадь. И тут, ошарашенные, застыли, как истуканы.

Вся огромная площадь перед „Ноллендорфом" была запружена нашими солдатами. Иные стояли на асфальте, иные — в кузовах грузовиков, иные на развалинах или крышах уцелевших домов. И все, у кого только было оружие, а было оно у всех, — автоматы, винтовки, карабины, ручные пулеметы, пистолеты, — с разинутыми в ликующем крике ртами, сверкая пьяными от счастья глазами, палили в небо, безжалостно расходуя боеприпасы.

На мгновение показалось — они с ума сошли, все эти солдаты, сержанты, офицеры в гимнастерках, увешанных орденами и медалями, с мужественными, обветренными лицами людей, прошедших сквозь огонь и воду. Но тут до нас дошел смысл тех двух слов, что вырывались из сотен, тысяч глоток здесь, на площади, и, наверное, во всем огромном Берлине, и тогда будто гора с наших плеч свалилась. Сами собой растянулись рты в радостных улыбках, от полнящего торжества сильнее заколотились сердца. Мы тоже взметнули вверх свои карабины и, посылая в майское небо пулю за пулей, вместе со всеми заорали:

— Уррра-а!

— Победа!

— Уррра-а!

— Победа!

И каждый старался перекричать другого и выпустить в

воздух все патроны до единого, ибо всей душой, всем нутром своим чувствовали: эти минуты неповторимы, они останутся в памяти на всю жизнь, в которой наверняка никогда больше не будет такого великого, такого полного и светлого торжества.

Когда у всех, бывших на площади, вышли боеприпасы, наступило секундное затишье, но потом вновь раздались торжествующие крики, и люди — солдаты и офицеры, знакомые и незнакомые — бросились обниматься и целоваться друг с другом. И я перецеловался с доброй сотней парней, в том числе и с нашим Диди.

Обед в этот день был торжественный. Приехал кашевар, но кроме супа, каши и мяса помкомвзвода выдал несколько бутылок мозельского и рейнского вина, а также бутылку водки — подарок взводу от командира полка. Двое бойцов накрыли скатертью большой стол, служивший до того ложем для помкомвзвода. На столе мгновенно появились тарелки, вилки, ложки, фужеры и рюмки из серванта бывшего хозяина занятого нами дома. Вскоре пришел наш лейтенант, он весь искрился весельем и с каждым из нас разговаривал ласково, как родной брат, шутил, смеялся и хлопал всех по плечу.

Мы чинно уселись за праздничный стол — двадцать семь солдат и младших командиров и один офицер. Помкомвзвода разлил вино по фужерам. Лейтенант поднялся:

— Первый тост — за победу, братцы!

Поднялись и мы и стоя выпили до капли кисленькое, слабое и теплое вино. Закусили слегка, потом, также стоя, выпили за павших и почтили минутой молчания память погибших братьев — Степана Михерева, Ивана Грачева, Шалвы Ментенанашвили и других ребят. После минуты молчания сели невеселые и молча стали дохлебывать суп и, наверное, не удался бы совсем праздник, если бы не наш неподражаемый Диди. В наступившей скорбной тишине вдруг раздался его жизнерадостный голос:

— Братцы, а почему стаканы голые?

От взрыва хохота зазвенели хрустальные фужеры, и лейтенант, вскочив со стула, с несколько наигранной бодростью, подражая Диди, подхватил его клич:

— А в самом деле, братцы, почему стаканы голые? Немедленно их наполнить!

Он лично принялся разливать вино и водку, и мы снова, в третий раз, выпили за мир, за наших родных и близких, которые ждут — не дождутся нас дома — в России, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Татарии.

После этого пить стало нечего. Лейтенант удалился в пол-

ной уверенности, что праздник удался на славу и что, поскольку все до капли выпито, во вверенном ему подразделении будет царить образцовый порядок. Он оказался прав, но только наполовину. Порядок был соблюден: меня и Диди помкомвзвода назначил караульными — с незаряженными карабинами мы заняли посты под окнами дома. А остальные ребята продолжали пить и веселиться: у многих во флягах, в бутылках было припасено спиртное, и они только ждали подходящего случая, чтоб пустить свои запасы в ход, а лучшего случая, чем этот, трудно было придумать. Вот они и пили, и песни горланили, и плясали под совсем не строгим оком помкомвзвода, который и сам был выпить не дурак.

Скоро наступил вечер, а потом и ночь. О нас с Диди, похоже, совсем забыли. И бедный Диди все никак успокоиться не мог, что вот уже четыре часа там, внутри, пир идет горой, а он торчит здесь и стережет чужое веселье. Сначала он что-то нечленораздельно бормотал себе под нос. Потом притащил откуда-то фанерный ящик, поставил под ярко освещенным окном и, взобравшись на него, прилип лицом к заклеенному крест-накрест стеклу. Оттуда он стал комментировать происходящее.

— Драсьте, я ваш дядя... Боже мой, как лакает Васка спирт... Ха-ха-ха! Смотри, а Федка ходит уже на четверках...

Конечно, я залез к нему на ящик. Но что-либо разглядеть так и не успел. Ящик вдруг затрещал у нас под ногами и развалился, мы оба оказались на земле.

— Хорошо трахнулись! — хохоча, подытожил результаты нашей вахты неугомонный Диди.

А на другой день нашему вольному житью пришел конец. Рано утром, еще затемно, нас подняли по тревоге, и через час наш взвод в составе роты, батальона, полка, дивизии чеканил шаг по пустынным улицам Берлина, мимо печальных черных руин, которым, казалось, конца-края нет. Но еще часа через два немецкая столица осталась позади. Мы вышли на широкую бетонную автостраду и бодро потопали навстречу восходящему солнцу.

По обе стороны шоссе простирались ухоженные поля. Попадались рощи, лесочки, а дальше и леса пошли, но странные какие-то, без единого кустика, без птичьего гомона. Темные, мрачные леса, навевавшие воспоминания о сказочных чащобах, населенных чудищами, от которых в страхе великом разбегалось все живое. Как объяснил нам лейтенант, это немецкие чиновники, одержимые манией порядка, хватили через край: по ним — поле должно быть полем, кустарник — кустарником, а лес — лесом; вот почему, мол, они приказали повырубать в лесах все, что не являлось деревом, а птицы

в таких „чистых" лесах не желают вить гнезда.

Дробно звучали наши шаги на бетоне. Бодро звенели строевые песни. Одна рота горланила „Катюшу", другая — „Дальневосточную", третья — „Дан приказ ему на запад"... И, должно быть, со стороны это разнопенье выглядело забавно, только забавляться, глядя на нас, было некому по двум причинам: поля и леса были пустынны, а шоссе — военная дорога, специально построенная гитлеровцами для быстрого и незаметного передвижения войск, не пересекала ни один город, ни одно селение.

Солнце поднималось все выше, начинало припекать. Но мы все шли и шли строем, будто на параде, и то пели песни, то, в перерывах между песнями, перекидывались веселыми шутками. К полудню, когда пылающий огнем шар оказался над нами, мы отшагали уже не менее тридцати километров и, не чувствуя усталости, продолжали идти вперед и вперед — при полной выкладке: скатки и карабины через плечо, противогазы и фляги на боках, вещмешки за спиной.

Справа от меня топал Васька, слева — Толя Дубаненко. Диди бодро отбивал шаг чуть впереди. Он еще больше сутулился под тяжестью армейской выкладки, конец обмотки, теперь нижний, волочился по бетону. Иногда шедший сзади солдат, случайно или не случайно, наступал на этот конец, Диди спотыкался и, оборачиваясь, злобно бросал одну из своих неповторимых реплик:

— Ну ты, я сейчас так сделаю, что весь пыль уйдет из тебя!

Солдат бормотал какое-то извинение, на что Диди, остывая, отвечал:

— Заткни язык. Кому бы говорить, а твоя бы корова мычала.

И взвод, покатываясь со смеху, на две-три минуты сбивался с шагу, теряя равнение в рядах. Наш одессит немедленно, едва затихал хохот, принимался подначивать Диди.

— Эй, фраер, а ведь мы, поговаривают, идем усмирять какую-то фашистскую сволочь, которая не желает сдаться. Тебе еще придется повоевать, Диди, мать твою... Не дрейфишь?

Диди поворачивал голову. Весело блестели на солнце золотые ободки и стекла его очков.

— Не так страшно малюют, как черт, — беззлобно огрызался он, скаля лошадиные зубы.

И снова горячий воздух взрывался от громкого хохота.

К часу дня мы свернули с бетонки на более узкое, асфальтовое шоссе, и вскоре был объявлен привал на обед. Примчались полевые кухни, рьяно взялись за дело кашевары. Каждый из нас получил по миске густого борща и по ломтю

хлеба. Разбившись на группки, мы уселись в тени придорожных деревьев и начали есть.

И вот, когда, поев борщ, мы лениво, один за другим, потянулись к кухне за „шрапнелью", на пустынном шоссе вдруг показалась машина. Это был хорошо нам знакомый открытый „виллис", из тех, что американцы нам во время войны поставляли, но только не наш, а американский, с надписью "US army" на зеленом борту и с тремя самыми что ни на есть настоящими американцами на сидениях. Один, негр, вел машину, двое других, белые, развалясь сзади, с любопытством разглядывали наших солдат, занявших двухкилометровую полосу левой обочины дороги, и все трое широко улыбались и энергично размахивали руками, приветствуя нас. Ребята отвечали им тем же — улыбками и взмахами рук, ведь мы с ними были добрыми союзниками и вместе сражались против гитлеровцев.

Не доезжая метров двадцать до того места, где мы стояли в очереди за кашей, машина остановилась. Американцы, все трое, выскочили из нее и направились прямо к нам. Один, долговязый, здоровенный, светловолосый, с голубыми глазами, был, вероятно, офицером. Другой, крепыш-коротышка с добродушной скуластой физиономией, возможно, унтерофицер, что-то кричал на английском, обращаясь к нам, но из всего, что он говорил, я лично разобрал одно лишь слово — „рашен", что означает „русские", а мои товарищи и того не раскумекали. Негр шел сзажи — черный, как демон, курчавый, как каракулевая овца, высоченный, широкогрудый, мускулистый, как знаменитый боксер Джо Луис.

Навстречу им тотчас двинулись наш комбат, командиры рот. Мы, солдаты, отказавшись от каши, тоже решили поглазеть на союзничков. Через несколько секунд американцы очутились в плотном окружении. Начались рукопожатия, похлопывания по плечам. Мы с любопытством разглядывали их нашивки, значки, ордена, они с таким же интересом — наши знаки отличия и награды. Объяснялись с помощью жестов и мимики, и сначала все было понятно: они выражали свою радость от встречи с нами, мы — свою. Но чем дальше — тем труднее становилось. Долговязый стал что-то говорить, прикладывая руку к сердцу. Говорил он долго и с пафосом, а мы ни черта не понимали, и только ухмылялись да кивали в знак безусловного согласия, поскольку ясно было одно: он высказывает какие-то добрые чувства, свою симпатию к нам. Потом, смеясь, заговорил добродушный крепыш. Пальцем он то в нас тыкал, то в стоявший на дороге „виллис". Наш комбат беспомощно оглянулся.

— Черт возьми, какие мы остолопы! Неужто, славяне,

никто из вас ни слова по-английски не кумекает?

И тут наступил звездный час нашего Диди. Я вытолкнул его вперед и объявил:

— Вот он знает, товарищ гвардии майор.

И Диди предстал перед очами командира во всей своей красе: в обмундировании „бэу'', обмотках и золотых очках. Глядя на него, американцы заулыбались. Майор тоже усмехнулся, но как-то криво, должно быть, ему стало неловко перед союзниками за такого непрезентабельного солдата.

— Ну, так что же сказал этот парень? — слегка нахмурясь, спросил он.

Прежде чем ответить, Диди тихо рубанул что-то американцам по-английски. Лишь после этого, держа руки по швам, объяснил:

— Он сказаль, товарищ гвардии майор, что пехом мы и за неделку до Аннаберга не доходим.

— Гм... А что вы такое наплели им? — грозно нахмурился майор.

С невинным видом Диди пояснил:

— Я сказаль, товарищ гвардии майор, что мы пехом раньше в Аннаберге приблудим, чем они на этой „виллис''.

Комбат в лице изменился, вылупил на Диди гневные глаза:

— Да вы что! Кто вас об этом просил?

— Никто не просиль, товарищ гвардии майор. Я сам сказаль. Цыплят считают по восемь, товарищ гвардии майор!

Теперь уже рассмеялся наш комбат, и все мы вслед за ним разинули рты до ушей. Заразившись всеобщим весельем, хохотали до слез „ами'', хоть и не понимали, чему смеемся мы.

Потом мы снова пожимали друг другу руки, хлопали друг дружку по спине. И укатили после этого союзники на своей быстрой машине и через несколько минут скрылись за горизонтом.

Вскоре двинулись в путь и мы. В строю и с песнями. Но пели уже реже и не так голосисто. Давала себя знать усталость. Впрочем, шаг не замедляли, шли так же быстро, как утром. При каждом удобном случае Васька принимался подтрунивать над Диди по поводу его беседы с американцами.

— Ну, что, фраер, — кричал он ему из своего ряда, — мотор у тебя в порядке? Так взвейся, сокол, орлом и догоняй союзничков!

Диди в долгу не оставался.

— У меня в Бухарест тетка ест. Она вот такая корова! — он обеими руками показал, какая это толстая тетка. — Так ты, Васка, еще коровее. Тебе бы только спат да забить пузу шрапнелей. Я бы без эта скатка и мешок залетел бы. А то что, ельки-пальки, солдат, как вьющееся животное... А ты солдат,

Васка? Так — вперед, черт бы тебя скушал без потрохов! Догоним ами!

Мы смеялись, но усталость постепенно одолевала нас. Шли без привалов, километр за километром, шли уже без песен, то и дело прикладываясь к флягам, в которых булькала теплая, противная на вкус вода. Мы уповали на спасительный ночной отдых. Но каково же было наше разочарование, когда после ужина, уже в темноте, нам вновь приказали построиться и повели дальше по шоссе, стиснутом с обеих сторон черным лесом!

Все объяснялось просто: был приказ по возможности быстрее перебросить нашу дивизию к чехословацкой границе, в область близ территории Германии, которая была занята американцами, но по договору должна была быть передана нам. Это мы узнали позднее. Но тогда мы думали, что идем добивать немецкую армию, которая не желала сдаваться, а хотела пробиться на запад к союзникам.

Вот почему вместо спасительного сна мы в одиннадцать ночи все еще брели на юго-восток по гладкому асфальту под яркими майскими звездами, таинственно мерцавшими в вышине. Свинцом налитые ноги механически, будто совсем без нашего участия, отхватывали метры дороги, метры складывались в километры, в десятки километров. Говорить, а тем более петь, ни у кого уже не хватало сил. Стиснув зубы, мрачные, сонные, мы, словно тени, молча неслись вперед, и только дробный звук тысяч шагов нарушал ночную тишину.

Около полуночи вошли в какой-то городок. Зашагали по пустынным, плохо освещенным улицам. И вдруг впереди послышалось приглушенное восклицание:

— Вот она!

— Кто „она''? — так же приглушенно поинтересовался сонный голос.

— „Виллис'', — последовал ответ.

Только тогда мы увидели у слабо освещенного подъезда трехэтажного „гастхауза'' — гостиницы знакомую машину с надписью ''US army'' на борту. Это событие внесло явное оживление в наши ряды.

— Ишь ты, догнали! — удивленно протянул Толик Дубаненко.

Сзади раздался ворчливый голос:

— Ну да, союзнички дрыхнут без задних ног, а мы топаем, как обормоты.

— Но мы догнали и перегоняем их!

— Догнали, ельки-пальки! — торжествующе вскрикнул Диди. — Ну что же, мы немало приленились, и нам надо идти подальше...

— Тише, ребята, — вмешался наш лейтенант. — Напугаете мирных жителей.

Умолкли. Но когда городок остался позади, все — и в нашем взводе, и в других — словно ожили. В темноте зазвучали веселые голоса, смех. Идти как будто стало легче. Наш одессит, приободрившись, начал рассказывать скабрезные анекдоты — такие соленые, что целомудренный Дубаненко, не выдержав, убежал вперед. Его место между мной и Васькой занял Диди. Он, в свою очередь, принял городить были и небылицы из своей жизни в городе на Дунае Галаце. Сначала рассказал о какой-то проститутке, которая якобы обобрала его до нитки, и тут же сделал глубокомысленный вывод: „Единственный честный подруг — это мужчина". За этой байкой — другую: о том, как один товарищ по лицею пообещал дать ему списать письменную работу по латыни, но свое обещание не сдержал, побоявшись строгого учителя, потому что „без рубашки ближе к телу".

Лишь во втором часу ночи был, наконец, объявлен привал на ночлег. Сняв с себя обувь и раскатав шинели, мы улеглись спать. Нечего и говорить о том, что в ту ночь никто не мог пожаловаться на бессонницу.

А часа через четыре мы снова, сонные, молчаливые, топали по шоссе. Ноги у меня стали деревянными, спина ныла, веки слипались. Наверное, другие бойцы чувствовали себя не лучше. Но мы знали, что „виллис" с тремя американцами далеко позади, и изо всех сил старались еще больше от него оторваться.

Лейтенанты, командиры взводов, подбадривали нас:

— Подтянись, ребята!

— Не отставать!

— Шире шаг!

И, сами едва на ногах держась, упрямо шли вперед, увлекая за собой подразделения.

Наш Диди, казалось, легче всех переносил трудный поход. Время от времени он выдавал очередное свое изречение:

— Держись, братцы! Сейчас появится второе сдыхание!

Но мы уже не смеялись. Не было сил...

В десятом часу утра впереди показались окраины города Коттбуса. Не ожидая приказаний, не сговариваясь, мы тесней сплотили ряды и в город вошли стройными колоннами рот, батальонов, полков, со звонкими армейскими песнями. Наверное, никто из жителей города не подумал, глядя на нас, что нами пройдено более ста километров, — так четко отбивали мы шаг на булыжной мостовой, так звонко горланили знаменитую „Катюшу". А они, жители, во множестве собрались на улицах и без приветствий, но и без тени враждеб-

ности, а скорее с любопытством разглядывали нас. Ясно, мы перед ними в грязь лицом не ударили.

И вот мы уже за Коттбусом и сворачиваем на другое шоссе, на юго-запад. Солнце, как и вчера, начало припекать. Песни сами собой оборвались, строй распался. Пошли вразброд — кто по шоссе, кто по обочинам, пошли быстро, ни на секунду не останавливаясь.

По приказу командиров полков подъехали телеги из обоза. Нам разрешили свалить в них скатки и вещмешки. Нескольких слабосильных бойцов также посадили в телеги. Кто-то робко высказал предположение, что „виллис" не догонит нас, что мы, стало быть, победили, но тут вдруг он появился вдали и быстро проехал вдоль строя дивизии, растянувшейся на несколько верст.

— Легок на поминках, — со злостью прошипел Диди.

Трое американцев, как и вчера, улыбались нам, и Джо Луис, сверкнув зубами, что-то крикнул нашему Диди, а Диди, обнажив лошадиные зубы, огрызнулся вслед удалявшейся машине.

— Ну? — только и нашел в себе силы спросить лейтенант.

— Он сказаль: машина сильнее человека, — пояснил Диди.

— Ну? — опять выдавил из себя лейтенант.

— А я ответиль: это еще бабушка на десятое сказала.

„Виллис" исчез вдали.

Перевалило за полдень. Мы шли и шли. Так упрямо, так упорно, будто от этого зависела наша жизнь. Едва только впереди показывался городок или село, мы, как и перед Коттбусом, немедленно становились в строй и с песнями, бодрые, подтянутые, проходили перед толпами жителей. А вновь очутившись на пустынном шоссе, ломали строй и брели как попало под палящими лучами солнца.

Под вечер вошли в Дрезден. Еще совсем недавно цветущий, прекраснейший в мире город лежал в развалинах. Бомбы союзников в одну ночь испепелили его. И через этот город прошагали сомкнутым строем. Но песен не пели. Здесь нельзя было петь. Под черными руинами, по слухам, нашли себе могилу сто пятьдесят тысяч жителей.

За городом строй снова распался. Мы шагали до десяти вечера, потом, поужинав, — до часу ночи.

И, как вчера, проспав мертвецким сном до пяти утра, снова пустились в путь. Теперь двигались на запад. Еще десятка два бойцов, выбившись из сил, взобрались на телеги. Кое-кто примостился на лафетах орудий, следовавших в арьергарде дивизии. Но подавляющее большинство упрямо шагало на своих двоих.

Около десяти утра вступили в какую-то деревушку. И

тут, около „бирштубе" — пивной вновь заметили знакомый „виллис". Это было почти невероятно, но мы вновь нагнали американцев. Наши знакомые баловались пивком. Услыхав топот наших ног, они вразвалочку вышли из пивной с кружками в руках и, уже без тени улыбки, уставились на нас. В их глазах билась растерянность, они явно не ожидали такого оборота дела. Я увидел, как долговязый вдруг что-то крикнул своим товарищам, как все трое мгновенно скрылись в пивной, а через несколько секунд выскочили оттуда, будто ошпаренные, уже без кружек, и, даже не помахав нам на прощание, влезли в машину и рванулись вперед.

— Не было ни гроша, да вдруг аршин! — с чрезмерной радостью вскрикнул Диди.

Но Толик не разделял его восторга.

— Ну вот. И где теперь твой „виллис"? — протянул он, глядя вслед исчезнувшему за поворотом автомобилю.

— Она нет, — согласно кивнул Диди.

— Через часок-другой, — продолжал Толя, — они доберутся до места, будут тянуть свое дерьмовое виски да посмеиваться над нами, дураками...

Неожиданно Диди взвился на дыбы:

— Над тобой, дуракой! Вперед, братцы! Даже если дело стоит керосина!

Лейтенант, слабо усмехнувшись, поддержал его:

— Вперед! Не отставать!

За деревней дорога пошла в гору. Идти стало еще тяжелей. Сгорбившись, по-бычьи наклонив голову вперед, мы, тяжело дыша, одолевали километры крутого подъема. Их было немало, этих километров. Не один, не два, а никак не меньше двадцати. И снова ездовые подобрали пару десятков отставших, вконец вымотавшихся солдат, а некоторые, ухватившись за борта телег руками, брели, будто в беспамятстве, рядом, каждую секунду рискуя свалиться под колеса.

У меня временами мутился разум, в такие мгновения я терял способность воспринимать окружающее. Но сознание тут же возвращалось, и тогда я видел своих товарищей — Ваську-одессита с серым, осунувшимся лицом, Толю Дубаненко, шедшего вслепую, с закрытыми глазами, Диди — с полуметровым шлейфом обмотки, волочившимся по шоссе...

От обеда мы отказались. Двадцать минут пролежали на земле, будто неживые, — не глядя друг на друга, не перекинувшись даже словом, и опять побрели вперед — все выше и выше по крутым подъемам Рудных гор...

Американцев мы в третий раз нагнали километрах в пяти от конечного пункта нашего похода. Их „виллис" стоял на середине дороги с задранным капотом. Негр-шофер лихора-

дочно возился с мотором, а рядом нервно вышагивал долговязый и за что-то — ясно, за что — ему выговаривал.

Молчаливыми тенями мы проходили мимо машины. Никто не злорадствовал по поводу неудачи союзников, не подшучивал над ними. Один только Васька — не им, а скорее себе самому — прохрипел:

— Человек сильнее машины, в рот меня... горячим пирожком!

В Аннаберг мы, как положено, вошли строем, со звонкими песнями. Казалось, пришло, наконец, то „второе сдыхание", о котором возвещал наш Диди. Мы промаршировали по тихим улочкам маленького городка, мимо старинной Анненкирхе, и вошли в широкие ворота бывших казарм вермахта. То были отличные трехэтажные каменные казармы, и над входом в каждую из них красовалась надпись по-немецки: „Верден", „Лейпциг", „Марна" — названия тех мест, где в былые времена добывалась слава германского оружия. Названий русских городов, сел или рек здесь не было.

В тот вечер мы были предоставлены самим себе. Мы могли отправиться в казармы и завалиться спать. Но странно, спать нам уже не хотелось. Мы бродили по огромному казарменному плацу, валялись на зеленой лужайке у штабного здания. Кажется, даже на сон у нас не хватало сил...

Американцы прибыли часа через полтора. „Виллис" тихо развернулся на плацу и, отчаянно скрипнув тормозами, застыл на месте. Трое парней выскочили из него, неся в руках бутылки и пачки сигарет. Они что-то кричали нам, подзывали к себе, и мы нехотя поднялись. Через несколько секунд у многих из нас в руках оказались пластмассовые стаканчики с виски. Диди, едва ворочая языком от смертельной усталости, переводил то, что лопотали союзники.

— Они хочут с нами почоковаться.

Все сдвинули стаканчики и выпили.

— Они говорят: вы дьяволы, а не луди. Пехом быстрее едете, чем мы на „виллис".

Американцы смеялись, согласно кивали и, по-мужски, с силой хлопали нас по натруженным плечам.

— Они говорят: теперь они хорошо понимают, почему мы набили попку фрицам.

Наши гости совали нам в руки сигареты, какие-то свои значки, фотографии, коробочки спичек, зажигалки. Взамен мы одаривали их красными звездочками, снятыми с пилоток, пачками махорки, нашими значками...

Утром следующего дня, едва мы продрали глаза, в нашу комнату ворвался ротный старшина с каким-то пакетом в руках.

— Рядовой Шварц! — рявкнул он.

Диди испуганно вскочил на ноги. В трусах и майке, с волосатой впалой грудью и волосатыми тощими ногами он выглядел еще нелепее, чем в своем „бэу" обмундировании. К тому же, с перепугу, он приложил руку к „пустой голове", отдавая честь старшине. Но тот почему-то не прореагировал на это вопиющее нарушение устава. Он протянул пакет солдату и сказал:

— Это вам подарок от командира дивизии. — И, совсем как штафирка, добавил: — Носите на здоровье!

В пакете оказались новенькие, с иголочки, галифе, новенькая гимнастерка с ефрейторскими погонами и пара новеньких кирзовых сапог.

А через неделю Диди ушел от нас. Его взяли переводчиком в штаб дивизии.

Больше я с ним не встречался.

Шли годы. Стирались в памяти образы старых боевых друзей. Но я часто вспоминал их. Особенно Диди — золотые очки на крупном носу попугая-какаду, тощие ноги, неуклюже обернутые обмотками, неповторимые изречения. И всегда, вспоминая о нем, я пытался понять, почему он, именно он, тогда, в мае сорок пятого, когда за двое с половиной суток мы „пехом" одолели около трехсот километров от Берлина до Аннаберга, оказался самым прытким, самым настырным и выносливым их всех нас. Сдается мне, я быстро разгадал секрет. Дело в том, что все мы, „старички", в той или иной мере были творцами великой Победы. Он же в боях не участвовал. Но, придя к нам, в армию победителей, он, как и любой другой, — будь то чех, поляк, румын или болгарин, — не мог не проникнуться ее могучим боевым духом. Ему очень, очень нужна была, пусть крохотная, но своя победа, и он думал одержать ее в схватке с той немецкой армией, что, по слухам, якобы пробивалась из Чехословакии на запад. Он рвался в бой и поэтому втянул всех нас в немыслимую гонку с американским „виллисом".

Увы, к счастью для нас, понюхать пороху нашему Диди не привелось. Но свою победу он все же, согласитесь, одержал.

Позднее еще одна мыслишка завихрилась в голове: а что, если бы тогда, в сорок пятом, или в сорок восьмом, или в пятьдесят первом схлестнулись бы в смертельной схватке армии двух великих держав? Одна — прекрасно вооруженная, снабжаемая по высшему разряду провиантом, спиртными напитками, обмундированием, деньгами, и другая — не хуже вооруженная, но вечно полуголодная, жаждущая спиртного, тушенки и трофеев в виде западного барахлишка, ко-

торое можно переправлять в родные, вечно нищие города и села? Что было бы, а? Кто вышел бы победителем?

Эту мысль почему-то никогда не хотелось додумывать до конца.

Страшно...

* * *

Звездолет мигом вернулся в день сегодняшний. Давид решил минуту передохнуть и откупорил люк. И снова невыносимый рев двигателей ударил по барабанным перепонкам. Что касается соседей, то они по-прежнему проявляли полное равнодушие к высшему акту творчества, совершавшемуся под их носом. Двое снабженцев продолжали спать, только теперь — друг от друга оттолкнувшись. Будто повздорившие мальчишки, они полулежали в креслах, откинув мужественные головы римских сенаторов на зачехленные спинки — подальше друг от дружки. Соответственно позе их рты были широко разинуты, благодаря чему тональность храпа неузнаваемо изменилась, сочетая в себе лишь задненебные, заднеязычные и гортанные звуки.

Ну а замухрышка?.. Ишь ты, сидит себе как ни в чем не бывало и указательный палец держит на кнопке звонка. Ни дать ни взять — дежурный штаба ПВО СССР в момент пика напряженности на международной арене. Любопытный субъект!

На сей раз сосед Давида колебался недолго. Когда фея „Аэрофлота" вновь появилась перед ним, ослепительное солнце ее улыбки омрачало заметное серое облачко.

— Я вас слушаю, товарищ.

Замухрышкин голос вроде бы тоже успел видоизмениться, да и выражение лица преобразилось. Теперь он не угодничал, не лебезил, хотя и сохранял безукоризненную вежливость.

— Будьте любезны, девушка, какой-нибудь журнальчик... „Крокодил", что ли, или „Огонек"...

Он получил „Работницу" с любезным, но холодным разъяснением:

— Все журналы на руках.

Хмыкнув про себя, Давид поспешил обратно в звездолет. В космическом безмолвии он углубился в чтение очередного своего произведения, также не блиставшего новизной заголовка, зато, по его глубокому тайному убеждению, превосходившего все, что когда-либо было написано на данную тему:

МЕСТЬ

Что вы на меня смотрите? Что вы на меня так смотрите? Вы, дядя Маркус и тетя Рива? Вы, дядя Оба и тетя Люба? Вы, дядя Гриша и тетя Ева? Вы, дядя Соломон, и вы, мои двоюродные сестры Мотя, Хона, Рузя, Нетта, Поля? И вы, друзья мои, Изик, Шурик, Эмка, Шмилик, Левка? Я перед вами виноват? Я что-то не так сделал?

Но зачем я спрашиваю? Я же знаю, что вы имеете в виду. О, если б вы видели эти затравленные глаза, в которых медленно угасала жизнь...

У нее было пять комнат, целых пять комнат, не считая кухни, коридора и ванной. В одной из комнат, той, которую она сдала мне, стоял на конических ножках рояль, и на его клавиатуре я часто одним пальчиком подбирал незамысловатые мелодии. В ее спальне были две роскошные кровати, застланные одеялами-пуховиками, и огромный, во всю стену, шкаф из полированного до зеркального блеска дерева. А к спальне примыкала детская с диваном и кроваткой, на которых спали ее дети — Петер и Зиги. И здесь тоже валялось много всякого добра. У меня никогда в жизни не было столько игрушек, столько плюшевых мишек, кукол и машинок, сколько было у них. И половины, и четверти, и полчетверти не было. И никогда в жизни я не жил в такой квартире — из пяти комнат, с мягкой мебелью и модерновым приемником, на шкале которого таинственно светились названия всех больших городов мира, с великолепными коврами и черным роялем, с картинами на стенах и тигровой шкурой на полу, у шкуры была и голова — прекрасная голова хищника с остекленевшими глазами и широко разинутой пастью, в которой угрожающе желтели острые клыки. А кухня какая у нее была! Вся выложенная белым кафелем, с четырехкомфорной газовой плитой, холодильником, с белоснежным кухонным шкафом, в котором имелось не менее полусотни полочек и выдвижных ящичков с надписями по-немецки: „Соль", „Чай", „Кофе", „Перец", „Сода" и черт знает еще какими. А ванная! Тоже кафельная, только голубая, с кранами для горячей и холодной воды, с множеством пестрых махровых полотенец и каких-то благоухающих флакончиков и пакетиков, с круглым зеркалом и душем...

В нашем городе никто так не жил, по крайней мере, никто из тех, кого я знал. А знал я многих. Пьянчугу-биндюжника Василька, например. В его хатенке нищета выглядывала из каждого уголка, там не то что ковра — стула путного не водилось. А у мануфактурщика Лазаря Шойхета, прозванного Холерой, были ковры и пианино, но не было холодильника и

кухонного шкафа с полусотней ящичков, и вместо газовой плиты на кухне шипел обыкновенный примус. И никакого кафеля, и никакой ванной тоже не имелось у Холеры, а ведь он считался одним из самых состоятельных людей в нашем городе.

И я думал: какая она богатая, эта Эрика, и как здорово ей жилось все эти годы, когда я в Дербенте, Самарканде, Магнитогорске пригоршнями хлебал горе-горькое. За все эти годы я, кажется, ни разу досыта не поел, ни разу не набил свое брюхо до отказа ничем, кроме спрессованной макухи, которую мать по дешевке покупала у соседа, воровавшего эту макуху на складе заготзерна. Она дробила ее в ступе, превращая в муку, затем, в виде котлеток, поджаривала на плите, отапливаемой смоченными в мазуте тряпками, в мазуте, который я воровал в депо. Котлеты выходили преотвратительные, но я заталкивал их в глотку одну за другой, а потом меня от них тошнило, и пучило живот, и есть хотелось еще больше.

Удивительно ли, что я с неприязнью смотрел на Эрику —какая она чистая и аккуратная, и на ее детей — какие они вылизанные и причесанные, и думал, что и теперь она живет лучше нас, и ей не приходится каждый день, по три раза на дню есть такой черный солдатский хлеб и такую дерьмовую, безвкусную, приевшуюся кашу из „шрапнели", от которой желудок тяжелеет, будто набит свинцовой дробью, а брюхо вздувается, как у ребенка, больного рахитом. Нет, она, конечно, не жрет и даже не ест, к ней эти грубые слова неприменимы. Она кушает, питается, вкушает, отведывает, и, наверное, пища ее подобна тому нектару, которым баловались небожители, поэтому в тридцать пять лет у нее такая тонкая девичья фигурка и такие маленькие холеные ручки. Где уж ей понять, что довелось пережить нам по милости ее любезных соотечественников!

Я презирал ее за чистоплюйство и ненавидел за сытость, и меня постоянно так и подмывало унизить ее, дать ей почувствовать, что есть что-то и сильнее и важнее вот этого ее нерушимого благополучия, над которым оказались невластными ни годы бесчисленных войн, ни страшное военное поражение, ни послевоенные неурядицы.

Но я был очень молод и мстить не умел. Вернувшись однажды вечером навеселе, я стал пиликать в своей комнате на рояле и пиликал до тех пор, пока она не уложила детей и сама не легла спать. Тогда я захлопнул крышку инструмента, разделся и, в армейских черных трусах до колен и трофейной шелковой майке, не очень заботясь о тишине, уверенный в успехе задуманного предприятия, протопал ми-

мо спавших детей и вошел в ее спальню. Ни слова не говоря, юркнул под шелковое одеяло-пуховик, костлявым телом прижался к ее костям и рукой облапил ее горячие плечи и грудь.

Она испуганно вскрикнула, проснувшись, в панике отодвинулась и, дрожа всем телом, прилипла, далеко от меня, к спинке кровати. И я мгновенно протрезвел, и моя затея вдруг показалась мне ужасно нелепой. Сначала я почему-то подумал, что уж больно у нее худые плечи и больно уж тощая грудь и что она явно переборщила, соблюдая диету ради фигуры, а я осел, что вот так грубо полез к ней, хотя мне этого и не хотелось и не нужно было...

Потом я лежал неподвижно в ее роскошной супружеской кровати, ни слова не говорил и слушал ее, и все понял, потому что знал идиш, а он схож с немецким. И слушал я еще свист ветра за окном, потому что стояла осень, первая послевоенная осень, и ветер будто с цепи сорвался, бросаясь в окна и завывая в проводах. Я про себя матерился и думал, что да, я ее не трону, но не потому, что я хороший, а потому, что у нее такая дряблая грудь, и потому, что она мне вообще не нравится, а, стало быть, незачем с ней и путаться. И думал я еще о том, как холодно и сиро должно быть сейчас там, на Урале, где отец с матерью живут в крохотном деревянном домишке, конечно, без газовой плиты и без холодильника и рояля. Эх ты, жалкая немочка, думал я, жди себе на здоровье своего горе-вояку из английского плена и целуйся-милуйся с ним, пока вас обоих не стошнит, потому что никому, кроме него, ты не нужна, а мне нужна еще меньше. Короче, думал я обо всем, но только не о том, что презираю себя за то, что не могу, решительно и бесповоротно не могу взять ее силой, как она заслуживает, унизить и оскорбить и заставить прекратить зряшную болтовню о верности своему горе-вояке, угодившему в комфортабельный английский плен.

Я понял, что подсознательно думал и об этом, утром, когда собирался уходить на работу, а она — тоненькая, бледная, почти прозрачная — подошла ко мне и, поднявшись на цыпочки, поцеловала в щеку: в благодарность, стало быть, за мое ночное великодушие. Я покраснел и легонько отстранил ее рукой, мгновенно вспомнив, как уходил ночью от нее — в черных армейских трусах до колен, длинный, худой, сутулый и смирный, не победитель, а побежденный. И я мысленно возблагодарил Бога за то, что была ночь и никто меня не видел, а, значит, никто никогда об этом знать не будет, а то ох и смеялись бы надо мной! И торопливо проходя по коридору мимо кухни к выходу, я повернул голову и увидел двух ее детей-погодков — девочку Зиги и мальчика

Петера — за кухонным столом: перед каждым стояла чашка с каким-то черным пойлом и ломтик хлеба с чем-то вроде масла поверх, и ломтики эти были такие тоненькие, что я, пораженный, остановился, чтоб подивиться мастерству той, которая сумела их так нарезать. Больше ничего на столе не стояло и не лежало, и дети ели быстро и жадно, не глядя друг на друга, и, откусив от ломтя по три-четыре разочка, могли уже кусать только свои пальцы. Тогда каждый из них сгреб со стола несколько невидимых хлебных крошек, и каждый отправил эти невидимые крошки в рот, и каждый затем вытер рот белоснежной салфеткой, своей салфеткой, лежавшей перед каждым на столе. Потом оба поднялись из-за стола — худенькие, чистые, будто котята, вылизанные кошкой-мамой, — звонко отчеканили ''Danke, Mutti'', и девочка начала прибирать со стола, а мальчик пошел в комнату.

Я оглянулся — Эрика стояла у стены, бледная, тонкая, как тот ломтик хлеба, и своими большими, темными, лихорадочно блестевшими глазами смотрела на меня; а я задумчиво разглядывал ее сморщенные худые руки, впалые щеки, тощую грудку, едва видимую под кофточкой, и понимал уже, что она соблюдала диету не ради фигуры, и не понимал, как это я, я, так долго голодавший, не сразу это понял.

Я думал об этом весь день, проворно набирая металлические буковки в стальную верстатку, и следующий день, и потом еще один день, и в эти дни ошибок в моих гранках было больше, чем обычно, и я получил взбучку. Думал, когда ел влажный черный солдатский хлеб и липкую „шрапнель'', и куски застревали в горле, но я не мог понести им этот хлеб и эту ,,шрапнель'', потому что тогда они увидели бы, чем питается „русиш зольдат'', а мне почему-то было стыдно перед ними, что „русиш зольдат'' питается так скудно, ведь распроклятый „дойчер зольдат'' жрал в сто раз лучше. А кроме того, они ведь могли еще и не поверить мне и подумать, будто все лучшее я съел сам, а им притащил отбросы, и мне страшно не хотелось, чтобы они так думали, а хотелось, чтоб все мы — я, мои товарищи и вся великая Россия — представлялись им сытыми, богатыми и щедрыми. Но, черт возьми, как одновременно и накормить их и пустить им пыль в глаза?

Я думал об этом и по ночам и, вспоминая самаркандский базар и макуху, пытался понять, почему она не распродает или не обменивает свое барахло на продукты, почему не ищет чего-либо хоть в какой-то мере съестного, вроде макухи. Запад! У каждого немца барахла — хоть отбавляй, никто на него там не охоч. И толкучек там по этой причине нет. А продукты, даже макуху, никто в тот трудный год не прода-

вал и не обемнивал — все это ценилось дороже золота. Вот так Запад! Я думал три дня и три ночи и на четвертый мог бы воскликнуть „Эврика'', если б знал тогда, что это такое.

Под вечер четвертого дня я надел свой черный трофейный резиновый плащ, а поверх плаща офицерский ремень с трофейным „парабеллумом'' в кобуре, нахлобучил на голову новенькую офицерскую фуражку нашего печатника и отправился в самоволку. На каждом шагу рискуя быть задержанным комендантским патрулем, выбрался в центр города. Там зашел в первую попавшуюся на глаза колбасную и вежливо объяснил слегка испуганному владельцу магазина, что мне очень, очень нужно три фунта „вуршта'' — колбасы. Колбасник стал лепетать что-то о том, что, мол, русский комендант запретил ему что-либо продавать господам русским офицерам и что, с моего позволения, он испросит у коменданта разрешение на то, чтобы обслужить меня.

Он и в самом деле пошел к телефону, но я остановил его и любезно сказал, что это ни к чему, потому что русский комендант — мой лучший друг и его ответ известен мне заранее. Колбасник покосился на мой пистолет, вздохнул и взвесил мне то, что я просил — имелись ведь у канальи излишки, иначе откуда же ему быть таким гладким, таким румяным. Я вежливо поблагодарил, уплатил ничего не значившие для меня марки, а он даже поклонился мне, проводил до дверей и просил заходить еще: вид, наверное, у меня был разбойничий, и он здорово перетрухал, бедняга.

Все его добро я разложил на столе в моей комнате. Тонкие и толстые внутренности, набитые мясным фаршем, ливером, кровью с салом, с сытой горделивостью отражались в черной боковине рояля, и казалось, что колбас вдвое больше, чем на самом деле. Комната и, надо думать, вся квартира, наполнилась немыслимо острым, будто тисками сводившим скулы, давно забытым колбасным ароматом. Тогда я пошел к двери и открыл ее настежь.

Они, конечно, уже стояли в коридоре, и в полумраке, царившем там, я увидел, как жадно сверкают их глазенки, какая звериная тоска по мясу таится в их хищных зрачках. Вот так, должно быть, выглядел и я там, в Самарканде и Магнитогорске, но только себя я тогда не видел, да и редко замечаешь что-то у себя, поэтому себя я никогда не жалел так, как их сейчас.

Они стояли у дверей — немецкие дети Петер и Зиги, пожирали глазами то, что лежало на столе, и глотали слюнки, и я тоже глотал слюни, потому что тоже истосковался по колбасе. Но я не смел и вида подать, я ведь был „русиш зольдат'', и у меня всего было вдоволь — и этих колбас, и хлеба, и

шоколада, и мармелада, и черт знает чего еще.

Я усадил их за стол, а они из вежливости еще упирались, паршивцы, и достал из шкафа полбуханки черного солдатского хлеба — другого добыть не удалось, — положил хлеб перед ними, а потом вышел и прикрыл за собой дверь. Чтоб их не стеснять? Или чтоб не поддаться искушению, которое было невыносимым?

В тиши коридора я вдруг услышал тихий плач, доносившийся из той спальни. Я постучался и вошел. Там было темно, как в ту ночь, но я все же разглядел Эрику. Она ничком лежала на кровати, одетая в черное, и плакала. Я не знаю, отчего она плакала — от горя ли, от голода или от уязвленной гордости арийки. Я говорил ей, что не надо реветь, что умнее будет, если она пойдет туда, к детям, и поест с ними, но она рыдала все сильнее, и тогда я наклонился и погладил ее сухую, горячую ладонь, а потом вышел и спустился вниз, к товарищам, где меня ждал мой солдатский ужин: суп из горохового концентрата, цветом напоминавший жидкую глину, и неизменная „шрапнель". Я ел и проклинал себя за то, что не прихватил с собой хотя бы ломтя той аппетитной кровяной колбасы...

Потом я еще не раз наведывался к моему колбаснику и никогда не уходил от него с пустыми руками — мы с ним даже подружились. И свел я еще знакомство с нашим полковым каптером, он тоже подкидывал мне то кусок масла, то булку хлеба, то банку консервов. Почти все я отдавал Эрике и ее детям. И когда у нее были именины, я подарил ей какой-то шелковый отрез, а когда она потеряла бумажку в пятьдесят марок — мою квартирную плату, — я сказал, что нашел эти деньги вон там, на ковре, и дал ей другую банкноту, но первая была помятая, а вторая — новенькая, и она, конечно, заметила это и снова плакала — черт ее знает — почему. Я ведь все это проделывал просто так, и мне ничего не надо было взамен — ни ее барахла, потому что я был молод и презирал барахло в принципе, ни ее тела, потому что, ей-Богу, она была совсем не в моем вкусе, а, кроме того, ей было далеко за тридцать, а мне только двадцать.

А через полгода нас перевели в другой город, и только одно-единственное известие о ней дошло до меня: что ее горе-вояка вернулся-таки из английского плена...

...Так что же вы смотрите на меня? Вы, дядя Маркус и тетя Рива, вы, дядя Оба и тетя Люба, сестры Поля, Рузя, Нетта, друзья Шмилик и Левка, вместе с тысячами других расстрелянные и захороненные в глубоком рву за бойней на окраине нашего славного городка? Вы, дядя Гриша и тетя Ева, дядя Соломон, сестры Мотя и Хона, друзья Изик, Эмка и

Шурик, вместе с миллионами других замученные в лагерях смерти? Я что-нибудь не так сделал? Я перед вами виноват? Но если б вы только видели те затравленные глаза, в которых медленно угасала жизнь...

* * *

Последние строки рассказа Давид пробежал галопом, потому что, возвращаясь на звездолете из далекого прошлого, краешком глаза увидел перед странным соседом слева тонконогую стюардессу. Из-за длительного отключения от окружающего мира он не мог бы поклясться в том, что за время его отсутствия замухрышка еще раз или два не вызывал бедную девчонку. Что-то такое было, потому что сияние солнца на ее мордашке едва угадывалось за черной грозовой тучей. Тем не менее аэрофлотовская выучка еще стойко боролась в ней с нарастающим гневом, и о победе первой свидетельствовало обычное: „Я вас слушаю", а об опасности продолжения игры — исключение из этой фразы всех роднящего и уравнивающего гордого слова „товарищ".

Едва ли замухрышка воспринимал происходящее с тем собачьим чутьем, что Давид. Скорее всего, он просто не обладал чувством реальности, опасное отсутствие которого отразилось в самом тоне новой просьбы. Давида на сей раз просто поразила почти металлическая директивность его жидкого тенорка:

— Стакан воды, пожалуйста.

Девушка, метнув в него две голубые молнии, отправилась выполнять приказ. И тогда Давид впервые в жизни заметил, что не только глаза и губы, но и бедра девичьи обладают способностью выражать возмущение, что, конечно, едва ли прибавляет им привлекательности, так как лишает грации, отличающей их, скажем, от бедер футболиста.

Прежде чем вновь отключиться, он мельком взглянул на спящих соседей слева. Они снова сомкнули плечи и головы в непоколебимой решимости доканать московских бюрократов, во что бы то ни стало выбить из них дополнительные фонды для своих министерств или заводов. Об этом говорили и плотно сжатые зубы. За неимением иных каналов храп двух богатырей теперь прорывался наружу исключительно через ноздри, отчего и звучал задненебно, редуцированно.

Давид поморщился и резким движением захлопнул люк звездолета. Заголовок четвертого рассказа, несомненно, был свежайшим. Впрочем, будучи в этом убежден, Давид все же голову на отрез не дал бы, отстаивая свою правоту. Ведь за последние полтора столетия литературное творчество

во всем мире переживало все возрастающий бум, почти не дававший новичку сказать свое новое, свежее слово в нем. А потому верно и другое: надо быть полным невеждой, чтобы без тени сомнения считать себя первооткрывателем на планете, где, кажется, открыто уже все, вплоть до персональных звездолетов. И все же это звучит, не правда ли, это пронизано розовыми духами романтики приключений, серным духом таинственности и чертовщины:

АГЕНТЫ ДЬЯВОЛА

На банальный вопрос: „Кем ты хочешь быть?" однажды в детстве я ответил: „Искателем приключений". Ответ ничуть не менее серьезный, чем вопрос, и чтобы в корне пресечь любую попытку улыбнуться его наивности, я демонстрирую питательную среду столь незаурядного устремления.

Маленький мальчик, мечтательный и честолюбивый, живет в царстве-государстве, где наряду с нудными, как зубная боль, длинными, как меч Александра Невского, заунывными, как бред сумасшедшего, книгами вроде „Отца Горио", „Мадам Бовари", „Анны Карениной" можно по дешевке приобрести безумно интересные, предельно понятные, сердце и разум захватывающие, еженедельно выпускаемые с продолжениями серии книжонок, о сути и в пользу которых говорят уже одни названия: „Приключения подводной лодки "DOX", „Приключения Билль Газона", „Король боксеров", „Король сорванцов", „Король футболистов", „Король детективов"...

Достаточно парочки примеров, чтобы неискушенный читатель отбросил всякие сомнения насчет их высочайших эстетических и этических, познавательных и воспитательных достоинств.

Вот „Приключения подводной лодки "DOX". После поражения в Первой мировой войне германский флот сдается на милость победителей. Один только доблестный экипаж упомянутой субмарины не признает себя побежденным и гордо отвергает саму мысль о сдаче. "DOX" уходит в море. Где-то далеко от родных берегов, в Тихом океане, герои-подводники открывают необитаемый остров и превращают его в свою базу, дав ему романтическое название: „Остров отдохновения". Отсюда они беспрерывно отправляются в смелые походы. Цель их существования на этой земле — одна-единственная: творить добро. Бороздя моря и океаны, они помогают угнетенным избавляться от угнетателей, убивают бессчетное количество злодеев, осчастливливают не меньшее число африканских, азиатских, австралийских туземцев, ловко уходя при

этом от вечных попыток глупых, жестоких англичан, французов, бельгийцев и прочих недругов нагнать их и уничтожить. Благородство натуры, смелость, мужество, доброта, честность, альтруизм — вот основные черты капитана Фарова, его сына Георга, офицеров Риндова и Плундова, рядового Карда и всех других членов экипажа "DOXa"

Что надо отметить: тогда, во второй половине тридцатых годов, гитлеровцы уже успели себя показать во всей красе. Это обстоятельство несколько охлаждало мое восхищение геройским немецким экипажем. Впрочем, я утешал себя, проводя резкую грань между двумя видами немцев: добрыми и злыми.

Подвиги „короля боксеров" Марселя Дюно — еще более впечатляющие. Два мощных кулака против всего мира зла, вооруженного пистолетами, ружьями, финками, кастетами... Марсель гоняется по всему земному шару за похитителями своей невесты Денизы Пордон, попутно очищая белый свет от всяческой скверны.

Словом, подвиги, подвиги на каждой странице очередного выпуска. Ну какой мальчуган, если он только не дурак, пройдет равнодушно мимо таких книг, с крокодильей жадностью не проглотит их все до единой, не поставит перед собою высокую цель: быть похожим на любимых героев и, подобно им, ежедневно, ежечасно жертвовать собой (разумеется, при этом оставаясь, как они, неуязвимым) ради счастья униженных и оскорбленных!

Если бы только этот несчастный мир знал, что я готов для него сделать! К сожалению, он этого даже не подозревал, а потому и не создавал мне условий для подвигов, заставляя меня прозябать в безвестности и бездеятельности. Более того, все в нем, в этом глупом мире, словно нарочно было устроено так, чтоб лучшие мои качества не могли проявиться, чтоб я постоянно находился не в блистательных рядах кумиров человечества, а в серой массе благодетельствуемых, что причиняло мне неисчислимое множество страданий. В тех редких случаях, когда мне, вопреки невысокому положению и позорной бедности, благодаря одной только неистребимой жажде добра и справедливости, удавалось сотворить нечто достойное, я, в полном соответствии с жестоким законом физики — „действие равно противодействию", получал от осчастливленного мною ближнего добрый щелчок по носу, заставлявший меня на время отречься от высоких принципов. Однако обида вскоре забывалась, и нестерпимый зуд гуманизма возобновлялся.

Вот так и получилось, что в двадцать лет я понятия не имел о горьком опыте человечества, отраженном в лаконичной

максиме: „Если не хочешь иметь врагов, — не делай добра", и прямо-таки сгорал в геенне огненной своей жертвенной натуры, не находившей алтаря для самозаклания ради общественного блага. Это было в Веймаре...

Да, это было в Веймаре!

Послевоенный Веймар мало чем отличался от гетевского. Город-сказка, пронесший сквозь века свой жизнеутверждающий облик, — готические шпили, башни, крыши, окна, возносящие к нему страстную мольбу о милосердии, справедливости, покое. Уличная тишина, не нарушаемая скрежетом и звоном трамваев, и — памятники, памятники, памятники: замок бывших курфюрстов и домик Гете в великолепном парке Бельведер, монумент Гете и Шиллеру перед зданием Национального театра, статуи Шекспира, Листа, Бетховена... Да весь он, Веймар, со своими узкими средневековыми улочками, кирхами, домами-теремами, фонтанами представлялся мне музейным экспонатом под надежным колпаком небесной тверди, ограждавшей, казалось, его от грехопадения, исключавшей любую мысль о коварстве, подлости, измене, убийстве.

Город науки.

Город искусства.

Город просвещения.

Впрочем...

Здесь появилась пьеса „Коварство и любовь".

Здесь создавался образ искуснейшего ловца человеческих душ — князя тьмы Мефистофеля.

Совсем рядом, с горы Эттерсберг, стоном и скрежетом зубовным оглашал мир филиал преисподней — Бухенвальд.

Значит, не стоял в стороне от столбовой дороги зла идиллический Веймар?

Это случилось в Веймаре, в конце сорок шестого.

На тихой улочке близ парка Бельведер, в той части города, где в последние два десятилетия, как грибы после дождя, выросли сотни коттеджей благоденствовавших немцев, в особняке, брошенном владельцами, бежавшими на запад в паническом страхе перед нашествием большевиков, расположились редакция и издательство нашей армейской газеты „На защиту Родины". В разрезе особняк выглядел так: в полуподвале была размещена типография — реалы с наборными кассами, походный печатный станок „американка", стол для верстки газетных полос, один трофейный линотип. С окончанием военных действий примитивным печатным станком уже не пользовались, весь тираж газетенки с грифом „Из части не выносить" отпечатывали в одной из прекрасно оснащенных городских типографий. Первый и второй этажи

занимали офицеры — сотрудники редакции и издательства, там были их рабочие кабинеты, жили-то они на частных квартирах. Мансарду отвели нам, солдатам и сержантам — четырем наборщикам, метранпажу, печатнику и корректору.

Молодцы, сволочи-немцы! И полуподвал, где мы трудились по восемь-десять часов в день, и мансарда, служившая нам казармой, превосходили все, чем мы когда-либо располагали, что видели у себя на родине, отставшей от проклятого Запада на добрую сотню лет. Ну вот мансарда. Из литературы я знал: это помещение под самой крышей, тесное, душное летом и тесное, стылое зимой, убогое, к тому же, обшарпанное и нищее. Не знаю, как там на Монпарнасе или Монмартре, — наша веймарская мансарда представляла собой вполне приличное гнездышко из небольшого холла, откуда четыре белые двери вели в четыре отдельные комнаты, а еще две белые двери — в уборную и ванную. Поскольку нас было всего семеро, мы, солдаты, и расположились в трех комнатах по двое, а сержант Леня Бурминский, как старший по званию, — один занял четвертую, самую крохотную. Как я уже сказал, имелся у нас там, на верхотуре, туалет. Поначалу вышел с ним конфуз. Поскольку пятеро из семи были деревенскими ребятами и понятия не имели о том, что это за штука — ватерклозет, фаянсовый унитаз в течение суток оказался переполненным. Мало того. На белой эмали ручки, свисавшей на цепочке со сливного бачка, кто-то, видимо, испугавшись клокочущего грохота, последовавшего за опрометчивым дерганием ручки, каллиграфически начертал предупредительную надпись: „Осторожно, кусается!"

Но тем они хороши, блага цивилизации, что к ним легко приспосабливаешься. Уже через несколько дней ребята в совершенстве овладели техникой обращения с механизмом ватерклозета, а вскоре — и с другими чудесами западной культуры.

Чудес оказалось много. Трофейный патефон, к примеру, с набором пластинок, в том числе с двумя записями песен запрещенного белоэмигранта Лещенко. Мы до одури крутили их на досуге, наслаждаясь не сильным, но мелодичным тенорком несчастного певца, выплескивавшего свою тоску по утерянной родине:

Ой, жизнь моя,
Ты унесла меня в далекие края...

Невдалеке располагалась „бирштубе", где подавали темное и светлое пиво, а иногда, по блату, и бутылочку шнапса. По старинному обычаю российских полиграфистов, мы частенько, после рабочего дня, вваливались туда гурьбой — „промыть

горло от свинцовой пыли". За столом, в блаженном подпитии, вели задушевные беседы о родных местах, о любимых девушках, о родных и знакомых, о грандиозных планах на будущее. Не обходились наши сборища без соленых и политических анекдотов. Там, в „бирштубе", мы были единой дружной семьей, спаянной общностью взглядов, интересов, устремлений.

Сугубо индивидуальным делом каждого стали встречи с необыкновенно сговорчивыми, милыми молодыми немочками, охотно смешивавшими свою голубую арийскую кровь с низкопробной славянской, презренной монголоидной и даже ненавистной — иудейской.

Жили мы припеваючи: ни тебе подъема, ни отбоя, ни строевой, ни караульной службы. Только работа и отдых. Работа, правда, нелегкая, однообразная, автоматическая, грязноватая, но все же не идущая ни в какое сравнение с идиотическими солдатскими буднями в воинских частях. Не знаю, как другим, но лично мне в той райской житухе не хватало лишь одного: подвига.

Выше я горько сетовал на то, что никто в мире не понимал меня, не замечал моих альтруистических порывов. Там, в Веймаре, я был вынужден признать свою неправоту: было на свете одно учреждение, знавшее о снедавшем меня пламени, имевшее возможность направить мои стопы в нужном направлении и в урочный час оказавшее мне высокую честь.

Его имя „Смерш".

Не правда ли, грозная аббревиатура?! Благодаря счастливому сочетанию букв (свистящей, фрикативной и шипящей), одним только звучанием своим она вызывает безотчетный ужас, в ней чудится и леденящий кровь львиный рык, и лютый свист Соловья-разбойника, и сковывающее волю шипение очковой змеи. Еще более устрашает она своим смыслом. „Смерть шпионам" — так расшифровывается это тарабарское словечко, и даже самый темный солдат, не имевший понятия о ватерклозете, знал, что носит это название всемогущая, всевидящая, всеслышащая военная контрразведка. Туда приводили или привозили многих, выпускали оттуда единицы. В редких случаях туда приглашали, и отказываться от приглашения считалось верхом неприличия.

Точно в назначенный мне срок я робко поскребся в дверь кабинета майора Сидорова. Хоть убей не могу вспомнить черты его лица. Должно быть, с перепугу забыл зарядить аппарат зрительной памяти, в общем-то добротный, а может, впоследствии пленку засветил. В результате вместо человеческого лица — бесформенное белое пятно между двумя золотыми погонами с крупной пятиконечной звездой на

каждом. Зато отлично запомнились слова (его и мои), жесты (его; перед высоким начальством солдату не положено жестикулировать), настроение (разумеется, мое). Думаю, все перечисленное позволит мне с достаточной точностью воспроизвести знаменательную беседу, сыгравшую роковую роль в моей дальнейшей судьбе.

Прежде всего, я, щелкнув каблуками, отдал честь и доложил по форме о своем прибытии. По-моему, белое пятно дружелюбно мне улыбнулось в ответ, если только пятно наделено способностью улыбаться, и предложило сесть. Если можно так выразиться, я сел по стойке „смирно" перед его солидным письменным столом.

— Курите, — сказал он затем, пододвигая мне пачку „Казбека".

Я взял папиросу, и офицер, щелкнув трофейной зажигалкой, поднес мне огонек. Тут у меня создалось не совсем обманчивое впечатление, что демократическим жестом он как бы подчеркивает, что оба мы человеки, оба солдаты, что звания при данных обстоятельствах не играют особой роли, хотя и не отменены насовсем. Я несколько воспрял духом, аршин, проглоченный мною при входе в кабинет, бесследно во мне растворился, и моя спина расслабилась, приняв свою всегдашнюю дугообразную форму.

А затем последовал совсем уже необычный разговор. Я отвечал на удивительные вопросы: как поживают мои родители, как мне живется-можется, не обижает ли меня начальство, нет ли у меня жалоб на качество или количество питания, нехватку курева... Жалобы имелись, но так я ему их и высказал! Нехватало еще прослыть привередой. В общем, отец родной — и тот никогда со мной так не беседовал.

Я был растроган до глубины души, слегка разоткровенничался, а он в ответ тоже распахнул передо мной душу, и я чуть не прослезился, услыхав его признание, что в самом конце войны у него погиб сын, мой ровесник. Меня даже подмывало сказать ему несколько слов утешения, предложить свою бескорыстную мужскую дружбу, что ли, даже навязаться в приемные сыновья, авось это утешило бы его в отцовском горе. От последнего шага удержало меня только то, что мой родной отец, хвала Господу, был жив и здоров, второй оказался бы непозволительной роскошью. В разгаре этой интимной беседы вдруг прозвучал такой вопрос:

— А не согласитесь ли вы оказать услугу Родине?

Я затрепетал. Всевозможные мысли и чувства взыграли во мне, как молодое винов в бочке, стянутой обручами. Первым чувством, хорошо помню, было торжество. „Вот он, мой час! — подумал я. — Мне дадут важное задание, я вы-

полню его, и это положит начало той жизни, о которой я всегда мечтал". Вторым ощущением, кажется, стала обуявшая меня гордость. „Вот так-то, дорогие мои друзья! — торжествовал я. — Из всех избрали все-таки одного меня — умнейшего и достойнейшего. Ребята из „Смерша" не лишены проницательности". При этой мысли я отверг прежнее предположение, что мой собеседник, чтоб стать мне ровней, разжаловал самого себя в солдаты, и пришел к прямо противоположному мнению, а именно, что он меня возвысил до своего уровня, то есть произвел в майоры.

— Ну конечно готов, товарищ майор! — пылко откликнулся я на его предложение, и только после этого восторженного возгласа червячок сомнения зашевелился в душе: мне показалась странной сама постановка такого вопроса в учреждении, где отрицательный ответ на него дорого обошелся бы даже новоиспеченному майору, не говоря уже о ветеране-рядовом. Но я постарался погасить вспыхнувшую во мне искорку разума и преданными глазами воззрился в белое пятно, ладно сидевшее на двух золотых погонах. Майор не спешил. Он снова, как майор майора, угостил меня „Казбеком", закурил сам. Лишь выпустив в потолок несколько сизых струек, продолжил:

— У нас есть сведения, что в вашу редакцию проник враг. Вы ничего такого не замечали?

Я молниеносно перебрал в уме всех товарищей, пришел к скороспелому выводу, что ни один из них, даже комсорг Козиков, подозрений не вызывает, и без обиняков, как майор майору, твердо заявил:

— Нет, товарищ майор. Убежден, что все они надежные парни. — Тут меня вдруг осенило, и я в порыве вдохновения высказал страшное предположение: — А, может, это кто-нибудь из наших офицеров, товарищ майор?

Белое пятно мгновенно порозовело, и в лицо мне ударила свинцовая дробь раздраженных слов:

— Не говорите глупостей. Офицеры — не ваша забота. Вы следите за своими товарищами, а уж за офицерами мы сами присмотрим.

Я прикусил губу, поняв, что допустил бестактность, нарушил субординацию. Но врожденное чувство демократизма восстало во мне, вопя: „Почему это солдат не имеет права выследить офицера, если тот вражеский шпион или диверсант?" Грубый окрик майора Сидорова задел меня за живое, заставил спуститься с эмпирей, в которых я только что витал, и вновь осознать себя бедным рядовым, стоящим ниже майора на добрый десяток ступенек крутой лестницы армейской иерархии. А поскольку я был до крайности самолюбив и по

уму и общему развитию считал себя ровней самому маршалу Жукову, грубость собеседника вызвала у меня подобие антипатии к нему, выросшей впоследствии в лютую ненависть.

Затем состоялась церемония моего приема в тайные агенты „Смерша". Она даже отдаленно не походила на торжественное посвящение в рыцарское звание. Шелковой мантии на меня не накинули, на колени для торжественной клятвы я не должен был встать, и магистр ордена или король не коснулся тяжелым мечом моих плеч. Процедура оказалась куда проще, обыденней. Майор Сидоров дал мне лист бумаги, ручку и продиктовал простенький текст обязательства честно служить Родине, выполнять задания работников „Смерша" и держать в строжайшей тайне факт своего сотрудничества с этой организацией. Ниже подписи я должен бы поставить также псевдоним, обязательно полагающийся всем секретным сотрудникам „Смерша". Именно псевдонимом, а не фамилией мне в дальнейшем полагалось подписывать все свои важные донесения.

„Донесение" и „донос" — слова одного корня, но по смыслу, значению, как заверяют все агенты мира, — это ярко выраженные антонимы. Донос — деяние позорное, доносами занимаются исключительно натуры корыстные, кляузные, двуличные, преследующие какие-то низменные личные цели. В противоположность доносу донесение окружено ореолом святого служения Отчизне. Никаких своекорыстных целей пишущий донесение не преследует, единственное его стремление — оказать услугу обществу, партии, стране, предотвратив некую опасность, грозящую им. Непонятно? Тогда обратимся к примерам. Советский разведчик Иванов, сообщающий из США в свой московский центр о явно коварных замыслах империалистов, разумеется, шлет не донос, а донесение, как, собственно, и американский шпион Смит, передающий из России в свой вашингтонский центр сведения о тайных благородных намерениях коммунистов. Тут, правда, возникает бесхитростный вопрос — почему советский агент, как конфетка, неизменно преподносится в сияющей благородной обертке „разведчика", в то время как американский, подобно какашке, — без всякой обертки, в давно скомпрометированном обличьи „шпиона". Но данный вопрос относится к области идеологического, пропагандистского этикета, а посему не стану останавливаться на нем, предоставив читателю полную свободу решать его сообразно со своими убеждениями. В сфере же различий между понятиями „донос" и „донесение" я ему такой воли не дам, а постараюсь повести за собой и убедить в точности и справедливости моих выводов, ибо, чего доброго, он еще придет к оскорбительным для меня заключениям.

Итак, мы рассмотрели выше один из аспектов поставленного вопроса. Есть у него, однако, и другие аспекты, и, смею думать, они волнуют умы и сердца советских людей не в меньшей степени, чем проблемы уборки урожая, перевыполнения плана производства кормов или повышения цен на спиртные напитки. Я сформулирую эти аспекты в виде нескольких простеньких тестов, сам на них дам ответы и, уверен, вы с моими выводами согласитесь. Итак: а) Иванов ненавидит своего соседа Петрова, и горя желанием насолить ему, а заодно и занять его жилплощадь, посылает куда следует письмо с вымышленными данными о враждебности Петрова советской власти; б) Иванов ненавидит Петрова и, горя желанием насолить ему, а заодно занять его жилплощадь, посылает куда следует письмо с правдивыми данными о враждебности Петрова советской власти; в) Иванов любит Петрова, на его жилплощадь видов не имеет, но родину он любит еще больше и с болью душевной посылает куда следует письмо с данными о враждебности Петрова советской власти; г) Иванов против Петрова ничего не имеет, на его жилплощадь не зарится, к родине любовью не пылает, но, панически боясь, что Петров опередит его, торопится отправить куда следует письмо с правдивыми или вымышленными данными о враждебности Петрова советской власти.

Можно было бы привести еще с десяток подобных комбинаций, но остановимся на этих четырех. Вот ответы лояльного гражданина страны Советов периода 1917—1953 годов: в тестах „а" и „г" — доносы, в тестах „б" и „в" — донесения. Если бы так рассуждало учреждение „Куда следует", миллионы людей остались бы в живых, миллионы других не познали бы прелестей исправительно-трудовых лагерей, хотя миллионы третьих непременно были бы расстреляны или загнаны за колючую проволоку. Каким либеральным кажется такой подход к делу в сравнении с подходом учреждения „Куда следует", приравнявшего доносы к донесениям, а потому каравшего всех несчастных Петровых без различия от занимаемой должности, партийной принадлежности, национальности, вероисповедания и прочего, включая выдающиеся заслуги перед революцией и личное знакомство с Владимиром Ильичем Лениным.

В противоположность лояльному гражданину и учреждению „Куда следует" я призываю всех дать, подобно мне, один решительный, твердый, бесстрашный ответ на все четыре теста: доносы! Кто со мной не согласен, тот достоин оказаться в одной из двух ипостасей бедного Петрова: расстрелянным или заключенным.

Совсем иное дело — донесение на злоумышленника, возна-

мерившегося, скажем, взорвать школу, переполненную ребятишками, цех с рабочими или даже армейский штаб. И тогда, и сейчас я считаю: в подобных случаях — доноси! В отношении штаба, правда, подумай прежде: чей он, кто в нем, что там замышляется. Может, лучше, чтоб он взлетел в воздух, прежде чем прикажет нажать некие кнопки?

Эта стройная концепция оформилась позднее, лет через десяток после описуемых событий — как результат опыта, накопленного благодаря еще трем настойчивым попыткам учреждения „Куда следует" превратить меня в лояльного гражданина, попыткам, наталкивавшимся на мое вежливое, но решительное сопротивление. Но в зачаточном состоянии, в подсознании, что ли, она, теория эта, бродила во мне и тогда, вот почему в своей недолгой, но яркой роли агента я не оправдал оказанного мне доверия.

Вернемся, однако, к событиям конца 1946, начала 1947 годов. Псевдоним я выбрал себе зловещий: „Орлов''. Почему? Все очень просто. Орел казался мне тогда олицетворением подлинного разведчика: паря высоко в небе, над мелочной суетой мира, хищная птица острым зрением все видит, что творится на земле, и, падая камнем вниз, вонзает острые когти свои в какого-нибудь гада ползучего, отравляющего людям жизнь. Мне тогда не приходила в голову мысль, что такое сравнение удачно вдвойне, если учесть неразборчивость орла, наряду с гадами хватающего и милых зайчишек, и кротких ягнят.

С таким-то псевдонимом я и приступил к исполнению своих новых тайных обязанностей. Для начала я перебрал в уме великое множество прочитанных мною детективов и приключенческих книг в поисках методов, способных мне помочь в работе. Мне пришлось с разочарованием констатировать, что в подавляющем большинстве из них никаких методов не содержалось. Знаменитые сыщики разоблачали злодеев по наитию, благодаря счастливому стечению обстоятельств, как-то: наличие свидетелей, неосторожность убийцы, роняющего на месте преступления сигарету, платок с монограммой, пуговицу и прочее. Ни на что подобное я рассчитывать не мог, так как находился в том исключительном положении, когда надо было найти преступника, не совершившего еще, а только намеревавшегося совершить злодеяние. Поэтому в течение первого месяца сыска мой острый ум был направлен в основном на решение чисто психологических проблем. Я присматривался к шести своим коллегам, сопоставлял их данные — моральные и физические — и на основе своих наблюдений пытался определить, кто из них способен на предательство. Я рассуждал: конечно же, враг должен быть самым образцовым

из нас — ему не положено много пить, жаловаться на жизнь, травить анекдоты, ходить в самоволку, спать с немками. По этим признакам все нити вели к нашему комсоргу, сержанту Константину Козикову. Было бы просто замечательно, если б шпионом оказался именно этот образцовый ферт, изводивший всех нас убогой комсомольской фантазией в рамках собраний по разбору наших персональных дел, в ходе воскресников по уборке территории или занятий о задачах нашей организации в свете решений очередного пленума ЦК партии или ЦК комсомола. Мы б тогда избавились от зануды. Но коль скоро сержант с физией кузнечика, трусливый и угодливый, педантичный и глуповатый, не импонировал нам, едва ли он мог рассчитывать на интерес со стороны коварной, умной империалистической разведки.

Нам импонировал младший сержант Леня Бурминский. Матерщинник, выпивоха, анекдотчик, бабник, он был, что называется, своим в доску, душой компании. Такой вполне мог привлечь к себе внимание одного из западных шпионских гнезд. Только ж надо было видеть его открытое, честное лицо, ясные голубые глаза россиянина из глубинки, не испорченного еще ни цивилизацией больших городов, ни „культурой" малых райцентров! Нет, всякое подозрение отскакивало от него, как резиновый мячик от каменной стенки.

Женоподобный Петя Дудник.... Угрюмый Коля Боровиков... Безответный, стеснительный Дауд Габибулин... Громила-печатник Ваня Денисенко, столь же устрашающий на вид, сколь добрый и покладистый характером...

Нет, мой первый опыт на стезе сыска никаких зрелых плодов не принес. О чем я и поведал на своей первой конспиративной встрече с майором Сидоровым, состоявшейся в конце декабря в одном из кабинетов невиннейшего воинского учреждения КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть). Начальник, конечно, остался недоволен моим донесением на одном листке, подписанным гордым псевдонимом „Орлов". Не того он от меня ждал, а о том, чего именно ему хотелось, я стал смутно догадываться после учиненного им допросика, в котором имена Лени Бурминского и Пети Дудника прозвучали по три раза, в то время как фамилии прочих ребят, в том числе и сержанта Козикова, упомянуты были лишь по разу. Впрочем, на первый раз тем дело и ограничилось.

Маленький урок майора, однако, пошел мне впрок. Я начал пристальнее присматриваться к Бурминскому и Дуднику. Надо же было так случиться, чтоб именно в те дни мне попался томик рассказов о необыкновенном сыщике Шерлоке Холмсе! Я проглотил книгу за одну ночь и к утру следующего дня оказался вооруженным единственно верным, безоши-

бочным и всемогущим методом расследования преступлений — научной дедукцией. Мне казалось, что уж теперь-то, коль скоро я в состоянии по мелким деталям определить характеры людей, их привычки, род занятий, даже намерения, будет очень несложно накрыть врага.

Увы, спустя три дня я был вынужден сознаться себе, что — одно из двух: либо метод дедукции ни к черту не годен, либо я безнадежный тупица. Поскольку второй вывод был для меня крайне неприятен, тем более что в корне противоречил истине, я с легким сердцем остановился на первом, начисто забраковав претенциозную галиматью Конан Дойля. Кто с моим заключением не согласен, пускай представит себя в моей шкуре, пускай вместо меня попробует определить по грязи на сапогах Бурминского — не топал ли он по лужам английской зоны оккупации, куда и откуда с помощью вертолета мог обернуться в течение ночи; пускай по характерным миазмам, оставленным в уборной Дудником, догадается, не объелся ли он знаменитой на весь мир тушенки в американской зоне, куда мог слетать на специальном спортивном самолете.

С меня же, решил я тогда, хватит слежки, ибо чем больше я присматриваюсь к коллегам, тем симпатичнее они мне, за исключением Козикова, и тем сильнее мое убеждение, что любезный майор Сидоров пустил меня по ложному следу.

Я, конечно же, ошибся и понял это на нашей с ним второй конспиративной встрече в незапятнанном здании другого армейского учреждения — АХЧ (административно-хозяйственная часть). Теперь, нисколько уже не стесняясь, майор Сидоров настойчиво, въедливо нацеливал меня на детальное освещение частной жизни моих коллег, а я, крепко зажатый в его тиски, конвульсивно дергался, яростно стремясь из них вырваться. Мысль работала на полных оборотах, открытым текстом отстукивая на невидимой ленте сознания слово за словом: „Я согласился быть разведчиком, но не стукачом. Черта с два я заложу кого-либо из товарищей, даже подлеца Козикова! Но мне надо отделаться от этого гада-майора, а он не отстанет, если не добьется донесения. Что же такое накатать ему, чтоб отвязался? Что-то правдоподобное и вместе с тем ни для кого не опасное... Что же? „Смершу" требуется материальчик на Бурминского и Дудника. „Смерш" материальчик получит, но не тот. Что интересует „Смерш" в первую голову? Крамольные мысли, мнения, анекдоты. На что „Смершу" наплевать? На пьянки, самоволки, амурные шурымуры..."

Неискушенный читатель, не знающий, что такое „Смерш", может подумать: „А почему уважаемый автор рассказа дол-

жен был ломать себе голову над подобными вопросами? „Почему он сразу же не отослал майора Сидорова к его родной маме?" Подобные вопросы могут родиться у кого угодно, но только не у нормального советского человека, от рождения и до смерти трясущегося в животном страхе перед „органами". Нормальный советский человек знает, что „органы" присвоили себе карательные функции отмененных ими Бога и Сатаны, вместе взятых, что, начиная с 1917 года, — в их руках и молнии небесные, и казни египетские, и преисподняя с ее геенной огненной, что вся эта гениально разработанная пенитенциарная система применяется к грешникам не после их смерти, а тут, на земле, при жизни людей, ибо коммунисты, не верящие в загробную жизнь, не могут положиться на каких-то лубочных ангелов и чертей в деле расправы со своими бесчисленными классовыми врагами.

Это я знал. Но руководил мною тогда не только страх, но и благородное стремление уберечь друзей. „Если взбрыкну копытами, — думал я тогда, упиваясь своим умом и благородством, — майор Сидоров завербует другого, а поди знай, не выложит ли тот, другой, нужную майору правду или ложь о Бурминском и Дуднике?"

Так родились еще два донесения секретного агента Орлова — два пустопорожних, никчемушных для „Смерша" документа. В них талантливо описывались две грандиозные попойки (с участием самого Орлова, конечно), в ходе которых сержанты и солдаты, и прежде всего Бурминский и Дудник, но младший сержант Козиков тоже, делились своей тоской по родине, по знакомым девчонкам, горланили русские и украинские песни, а под конец передрались, расквасив друг другу физии...

Сидоров морщился, читая эту беллетристику. Наверное, он угадывал в ней крепнущее перо крупного литератора, но эта сторона дела волновала его меньше всего, напротив, даже приводила в ярость, потому что, читая, он то и дело злобно на меня поглядывал и, как я понял, руки у него чесались от нестерпимого желания отрезвить будущего Толстого парой добрых оплеух. Кончив читать, он принялся задавать мне все те же отвратительные вопросы.

— Что, так-таки никто ничего не сказал?

Я долго пялил на него невинные глаза.

— Как ничего? Я ж в донесении писал, что говорили много...

— И ничего о власти, о товарище Сталине, о положении в стране?

— Ой, забыл, товарищ майор! Бурминский провозгласил тост за здоровье товарища Сталина. Дайте я допишу это.

— Идите вон! — сурово оборвал он меня.

В конце февраля однообразие наших буден было нарушено двумя событиями. Из „студебеккера", служившего прежде походной типографией, а теперь покоившегося на колодках во дворе, исчезли еще не освежеванные тушки трех зайцев, добытых накануне заядлым охотником капитаном Баруздиным, начальником издательства. Разъяренный капитан даже на секунду не допустил мысль, что вором мог оказаться его коллега-офицер. Он явился к нам на верхотуру и учинил там форменный обыск. Роясь в наших вещах, заглядывая под койки, в тумбочки, он одновременно пытливо всматривался в наши лица — в надежде найти на них разгадку таинственного происшествия. У всех у нас, однако, глаза оказались кристально чистыми, и капитан был вынужден с позором ретироваться. Два дня это происшествие с хохотом обсуждалось и в редакции, и в типографии; кто-то из офицеров даже карикатуру набросал: зайцы, приложив лапки к раздвоенным губам, темной ночью тихонько спускаются по лесенке из фургона и скрываются в лесу.

А через два дня весь состав редакции и типографии, по команде самого редактора, полковника Аникина, был вывезен за город, в чистое поле, куда со всех сторон стягивались воинские части, расквартированные в Веймаре и его окрестностях. Солдаты строились поротно в широкую букву „П", охватывавшую своими тремя сторонами площадь примерно в гектар. В центре площади зияла яма, вырытая из нее черная земля слегка дымилась в лучах скупого предвесеннего солнышка.

Наша нестройная редакционная команда заняла почетное место в середине перекладины буквы „П". Тут же, совсем рядом, в перекладине образовалась брешь, сквозь которую на площадь проникли трое. Впереди шагал молодой лейтенант с пистолетом в руке. За ним — солдат без шинели, в галифе и гимнастерке без погон и ремня. Руки он, как арестант, сцепил за спиной, но непокрытую рыжую голову держал высоко, словно бросая дерзкий вызов всем нам, согнанным сюда. Замыкал шествие сержант в щегольских хромовых сапогах и офицерской шинели. К груди он прижимал ППШ.

По указанию лейтенанта осужденный встал у самого торца ямы. Сержант, сняв с шеи ремень автомата, занял место напротив, метрах в пяти от него. И начался финальный акт короткой трагедии. Откуда-то раздался зычный приказ: „Смирно-о-о!" Буква „П" приняла каллиграфически строгий вид, стало очень тихо. Вперед выступило четвертое действующее лицо трагедии — полковник, хорошо поставленным голосом политрука он начал читать приговор военного трибунала.

Все казалось нереальным в то последнее утро февраля: и осужденный солдат, стоявший на краю своей могилы, и его убийца-сержант, и полковник, оглашавший приговор, и сам приговор, гласивший, что рядовой Сергей Лисицын за измену Родине — попытку перейти в американскую зону приговаривается к высшей мере наказания... Глупый фарс, которому сейчас, конечно же, будет положен конец, ибо не то что расстреливать — судить даже не за что...

Но представители „Смерша" — лейтенант, сержант, полковник — выполняли свою будничную работенку четко, сноровисто, как лесорубы, столяры или токари — свою. Их деловитое спокойствие было спокойствием профессиональных убийц, оно леденило душу.

Вот полковник закончил читать приговор. Немедленно лейтенант отдал сержанту какое-то приказание, сержант взял автомат наизготовку и оттянул затвор. Осужденный солдат стоял лицом к нам и, надменно задрав крупную рыжую голову, с суровым укором глядел прямо на меня.

Я крепко зажмурил глаза. Не хотелось видеть, слышать, понимать. Не хотелось жить. Почему он считает меня виновным? Я ж ему ничего плохого не сделал, даже не знаком с ним. И приговор я считаю непомерно суровым в сравнении с совершенным преступлением, и от души сочувствую бедняге, что его, молодого, свалят в сырую могилу на чужбине, и не будет ему памятника, ни даже простого надгробного камня, и никогда не узнают родные, где и как он сложил буйную голову... А то, что я здесь, среди тысяч других, и, подобно им, стою и молчу... Так пусть же поймет, что не по своей воле мы пришли, что в спектакле, где ему отведена главная роль, мы, по воле режиссера, всего лишь зрители, призванные ужаснуться и извлечь урок... В нашей ли власти менять текст пьесы, распределять роли?..

Короткая автоматная очередь. Я вздрогнул, пошатнулся. Болезненное ощущение, что десяток пуль прошил мою собственную грудь, заставило меня приоткрыть глаза. Солдата Лисицына я не увидел. Сержант спокойно, в гордом сознании исполненного долга, закидывал автомат за спину, а лейтенант стрелял из пистолета в яму. Дважды выстрелив, сунул оружие в кобуру и отошел от могилы, к которой подступали двое с лопатами. Тоже конвейер...

Что-то сломалось во мне тогда. И не только во мне. Я понял это, когда три дня спустя, под вечер, привел своих товарищей в дом знакомого немца, где все уже было готово к торжественному празднованию моего двадцатидвухлетия.

Гостиная была просторная, уютная. На двух диванах покоилось множество подушечек с вышитыми гарусом немец-

кими назидательными сентенциями на все случаи жизни. Такие же сентенции, призывавшие к умеренности, воздержанию, скромности, честности, очень своевременно взывали к нашему разуму и сердцу и со стен гостиной. И все же немецкая мудрость не скроена по мерке советского человека, и об этом красноречиво свидетельствовал накрытый под люстрой стол. Колбасы и сыры, жаркое и рагу, салаты, картофель, соленья, а также батарея бутылок с водкой, шнапсом и вином — все выглядело чрезмерно и нескромно на столе, за которым семеро солдат собирались скоротать один вечер своей верной службы. И через часок всем уже было весело, а через два — пошли объятия, и поцелуи, и клятвы в любви и дружбе до гроба. Но, незримый, среди нас витал дух восьмого солдата, Сергея Лисицына, на чьем месте каждому так легко, так просто было представить себя. И дух безвременно погибшего, незнакомого нам товарища создавал особый микроклимат, смягчая сердца, склоняя души к молитвенному покаянию. К полуночи меня, к примеру, так и подмывало подняться и во всеуслышание произнести такую речь:

„Ребята! Славные мои ребята! Виноват я перед вами, что не открылся прежде. Так ведь словом был связан, дурацким словом, коему цена грош. Знайте же: наиподлейший подвиг секретного сотрудника Орлова за четыре месяца лояльного сотрудничества — кража трех арийских зайцев у капитана Баруздина. Ими-то, в виде рагу, вы и закусываете сейчас выпитый шнапс. Будьте же здоровы, товарищи мои дорогие, и знайте, что ни единого из вас, даже тебя, паскуда комсорг Козиков, означенный Орлов не заложил „Смершу''.

Наверное, я был еще недостаточно пьян, чтоб на такое осмелиться. Или недостаточно смелым, чтоб до нужной кондиции напиться.

Пьянка, между тем, достигла апогея. И в шуме, гаме, дымном угаре залитой светом и вином гостиной мы не сразу заметили, что наш кроткий Дауд вдруг начал биться благородным марксовским лбом о столешницу. Он словно отбивал поклоны Аллаху, только уж больно усердствовал в своем пиетете, отчего казалось, что он преисполнен решимости либо себе лоб расшибить, либо столешницу расколоть.

Его соседом по застолью был Бурминский. Он-то первым и заметил отклонение Дауда от нормы и, схватив его за плечи, прижал, как младенца, к груди, тем самым заставив прекратить странное занятие.

— Ты чего это, Даудка, дорогой?

Татарин поднял на него лицо, оно было залито слезами. Всхлипывая, заикаясь, он надрывно крикнул:

— Ленчик, плюнь мне в харю, да!

Бурминский рассмеялся — невесело, деланно.

— Брось дурить, Даудка. Подь лучше голову под кран сунь.

Но Дауд упрямо замотал головой.

— Ты думаешь, я пьян, да? Говорю тебе, плюнь мне в харю, я заслужил! И ты, Коля! И ты, Петя! Сколько ни нахаркаете — все мало будет. Ну, плюнь же, Ленчик, господом-Аллахом прошу!

За столом постепенно воцарялось молчание.

— Подлец же я перед вами, братцы, да! — вопил потерянный Дауд. — Я ж вот уже скоро год как доносы на всех на вас строчу, да! Плюньте же на подлюгу, да?

Тишина стала гробовой. В воздухе запахло отрезвляющей гарью близкой опасности, хмель начал улетучиваться из пьяных голов. И никого даже не удивил сиплый шепот, пронесшийся, словно ветерок, мимо ушей каждого:

— А ведь и я тоже, братцы...

Эти слова произнес молчун Коля. Вслед за ними беспечный детский хохот Петра Дудника взорвал волглую тишину.

— Ха-ха-ха-ха! И я в компании сексотов! Ну, кто следующий? Ха-ха-ха! Смелее, славяне, тут все свои! За признание — половина наказания... Ну?

И добрый великан Денисюк тоже смущенно рассмеялся и, хлопая глазами, добродушно пробасил:

— А что, чем я хуже? Ходил, пописывал... Принимайте в компанию, хлопцы!

— Следующий! — голосом балаганного зазывалы заорал Дудник.

Трагедия превращалась в фарс. Включая меня, пятеро из семи уже признали себя сексотами „Смерша". Двое — Бурминский и Козиков — не признались. То ли вины за ними не числилось, то ли умнее других решили быть. Я прикидывал: Бурминский, поскольку он у „Смерша" кандидат в жертвы, вполне мог избежать вербовки. Собака же Козиков наверняка и вербовки-то не дожидался, сам, небось, побежал предлагать свои услуги. Это у него на роже написано, должностью комсорга предписано. Я счел оскорбительным для себя уподобление ему и, глядя прямо в его лицо кузнечика, громко, раздельно произнес:

— Примыкаю к большинству. Только непонятен мне ваш смех, друзья. Нас вы... и, а мы ухохатываемся. Мерзость! Ну да ничего...

В моем кипевшем мозгу внезапно возник план полного и окончательного разоблачения низменных козней майора Сидорова, мальчишеский план, подсказанный самым ненадежным из советчиков — яростью. Она заклокотала во мне с той самой минуты, как прозвучало покаянное признание

Дауда, и, я знал, не утихнет, если не найдет выхода. А выход мог быть только один: спустить свою ярость , как свору собак, на того, кто всех нас обманул, уничтожить его силой своего негодования, презрения, ненависти.

Ровно в восемь утра я позвонил ему и потребовал срочного свидания. По моему голосу он, видимо, решил, что у меня есть важные новости, и назначил мне встречу на девять, в девственном учреждении финчасти.

Я ворвался туда, как танк в расположение врага, и с места в карьер оглушил майора залпом всех своих огневых средств.

— Это гнусно, подло, пакостно — заставлять людей шпионить друг за другом! — с порога воскликнул я, направляясь к майору, сидевшему за письменным столом. Я стукнул кулаком по столешнице и продолжал: — Я отказываюсь участвовать в этой мерзкой игре! Я не шпик и не стану помогать вам в вашей охоте на невинных людей, будьте вы трижды прокляты...

И много чего другого в том же возвышенном духе я наговорил тогда в слепоте своей праведной ярости, и белое пятно, неподвижно застывшее передо мной, то чуть бледнело, то слегка розовело под шквалом моих тяжких упреков и обвинений. Моя горячая, страстная проповедь порядочности, честности, любви и уважения к ближнему, без сомнения, способна была расплавить камень.

Камень — да. Но не сердце чекиста.

Хорошо думалось в камере „Крестов'' города на Эльбе, где весной сорок пятого кино- и фотокамеры запечатлели для потомков умилительную встречу союзных армий. Еще лучше — на нарах теплушки в эшелоне, мчавшемся на восток. В тридцати запертых наглухо телячьих вагонах более тысячи доблестных победителей проехали по местам своей боевой славы — через Варшаву, Брест, Минск, Москву. А из столицы проследовали в места отдаленные, известные в географии под общим названием — тундра Заполярья. Каждый сгибался под бременем багажа: одни везли с собой десять, другие — пятнадцать лет каторги, и только десятка четыре воров, грабителей и насильников путешествовали налегке — с тремя, пятью, семью годами.

На муки, на голод, на смерть ехали бывшие солдаты и офицеры, разгромившие Гитлера. Каждому „политическому'' давался шанс: поразмыслить на долгом досуге, осознать свои грехи и после освобождения, если он до него доживет, осторожнее обращаться с таким опасным — колющим, режущим, взрывчатым — предметом, как простое человеческое слово.

Вот и вся история. Около четырнадцати лет прошло с тех пор, как она со мною случилась. За это время я стал географом и писателем. Ни та, ни другая специальность не приносит мне больших радостей, о дивидендах я вообще умалчиваю. Скоро мне стукнет сорок. Спросите меня сейчас, на пороге между зрелостью и старостью, кем бы я хотел быть, и я без обиняков отвечу вам: „Искателем приключений". Я хочу вольным бродягой ходить по земле, защищать родину, помогать обездоленным, спасать прекрасных женщин. Я хочу...

Я все тот же неисправимый идеалист, что и в детстве, а поэтому нетрудно догадаться, какие крупные неприятности подстерегают меня в недалеком и отдаленном будущем.

Следую дорогой своей...

13 октября, вторая половина дня

Давид захлопнул блокнот и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Ценой героического усилия ему удалось пробудить в себе дотоле крепко спавший дух самокритики. Отметив общее положительное впечатление, произведенное на него всеми четырьмя рассказами, — первыми ласточками большой автобиографической серии, задуманной два года назад, он вместе с тем признал, что четвертый рассказ, больше других достойный представлять не обозначенный еще девизом третий период его творчества (1964—19...), наименее удачен, может, в силу его чрезмерной аутентичности. Дай-то Бог, чтоб он ошибся в своей оценке.

После такой короткой саморецензии он покинул звездолет и подключился к внешнему миру, и тогда, улыбнувшись, понял, что замухрышка успел-таки, гаденыш, еще разок потормошить несчастную бортпроводницу. Сейчас он вроде весь углубился в чтение газеты, но Давид мог бы поклясться, что все его помыслы сосредоточены на кнопке вызова. Двое молодцов слева давно продрали очи и вновь травили анекдоты. Давид услышал:

— Решило наше правительство дать евреям землю, да не на отшибе, на Дальнем Востоке, а поближе к центру. Судило-рядило начальство, пока не сошлось на том, что лучше всего для этой цели подходит Мордовская АССР. Только уже через полчасика пришлось отказаться от затеи как таковой...

Наступившая пауза, конечно же, побудила второго задать вопрос:

— Почему?

— Потому что никак не могли сойтись на названии новой

республики. То получалось — Жидо-Мордовская, то, совсем уж похабно, — Мордо-Жидовская АССР.

Оба расхохотались. Поскольку анекдот показался ему более антисоветским, нежели антисемитским, Давид тоже позволил себе усмехнуться. Сосед справа, между тем, отставил газету и властным директорским движением в шестой или седьмой раз нажал на вызов. Ему пришлось погодить. Но вот по проходу прошествовал атлетически сложенный молодой человек в голубой форме гражданской авиации. Он остановился, смерил замухрышку испытующим взглядом колких глаз, но тем не менее довольно вежливо поинтересовался:

— Вам чего?

И мигом стушевался, сник, увял бедный замухрышка. Запинаясь, он принялся бормотать:

— Да, собственно, простите... я хотел узнать у девушки... как там, в Москве, погода.

Парень пожевал губами и молвил:

— Мы уж об этом сообщали. Повторяю специально для вас: в столице дождь, температура воздуха двенадцать градусов.

— Извините... Спасибо...

Пожав плечами, аэрофлотовец удалился. Давид, заинтригованный поведением соседа, выждал минут пять, потом наклонился к нему и шепотом спросил:

— Извините меня, конечно, за любопытство, но объясните, если не секрет, почему вы так часто тревожили стюардессу. Не из озорства же, верно?

Замухрышка обратил на него бесцветное лицо. Он смущенно ухмылялся.

— Вы все видели?.. — услышал Давид его горячий шепот. — Какое там озорство! Понимаете, я вот уже двадцать три года работаю по звонку... Понимаете? Тррр! — и я лечу на вызов... Тррр! — и снова лечу. И так десять, а то и двадцать раз на дню. Понимаете?

— И где же это вы работу такую себе схлопотали?

— Да в министерстве обороны.

—О-о-о!

На пяток секунд Давид сник. Потом поднял руку, указательным пальцем нажал воображаемую кнопку и задумчиво повторил:

— Значит, тррр — и вы летите? — прошептал он, пытаясь вообразить себе атмосферу ответственной замухрышкиной службы.

— Лечу, — кивнул тот.

— А если не лететь? Если просто пойти! Или вообще не пойти!

В глазах собеседника отразился ужас. Он махнул на Давида

рукой, словно отгоняя демона-искусителя:

— Да что вы, Бог с вами! Как можно! Сразу видать, что вы не знаете Виталия Сандыча.

— Не знаю, — кротко признал Давид.

— То-то же, — отметил замухрышка таким тоном, словно близкое знакомство с Виталием Сандычем выделяло его из серой массы простых смертных.

Давид отодвинулся. Ему стало жаль этого человечка, и он внезапно почувствовал прилив благодарности к той половинке Сатаны, с которой, согласно мудрости народной, составлял одно целое. Как-никак, а целое десятилетие, благодаря ей, он был начисто избавлен от необходимости пресмыкаться перед своим Виталием Сандычем... Припомнив, однако, эпизод с конвертом и кое-какие другие неприятные моменты последних лет, Давид набычился.

Самолет шел на посадку во Внукове.

* * *

С чемоданом в одной руке, ящиком — в другой Давид направился прямо к стройному ряду телефонных будок на Площади Революции. Мелкий дождь не переставая моросил с низко нависших мрачных туч. Куполы разнокалиберных зонтов, защищавших многочисленных прохожих от холодного душа разверзтых хлябей, плыли во все мыслимые направления и напоминали парашюты, десантировавшие на землю сонмы инопланетян, метавшихся теперь в поисках сухого уголка. Порывы резкого ветра, насыщенного водяной пылью, мокрыми оплеухами отхлестывали щеки, и капли влаги, конденсируясь, неприятно щекоча задубевшую кожу, медленно стекали к подбородку, а оттуда — на асфальт. Воду впитывало тяжелевшее пальто, вода, как в желобе, накапливалась на полях зеленой велюровой шляпы, и Давид часто наклонял голову вперед, чтоб дать ей стечь.

Все будки оказались занятыми. Дожидаясь своей очереди, Давид перебрал в уме с десяток известных ему московских гостиниц и остановился на „Будапеште'': там он еще не живал, а здание выглядело внушительно, респектабельно, к тому же находилось в самом центре столицы. В освободившуюся будку он втиснулся вместе с чемоданом и ящиком. Поклажу пристроил на полу кабинки и, придерживая ящичек рукой, чтоб не свалился, набрал номер справочного. На седьмой раз ему повезло, и он получил нужный номер. Еще через пару минут резкий голосок казенно прогнусавил:

— Гостиница слушает...

Давид напористо пробасил в ответ:

— Чуркин из Моссовета. Записывайте, девушка, даю по буквам: Человек, Ульяна, Роман, Константин, Иван, Николай. Чур-кин. Записали? Прекрасно. Вот какое дело, девушка. У меня в кабинете сидит известный писатель, приехавший по нашему приглашению из солнечной Молдавии.. На несколько деньков его надо пристроить.

— Но, товарищ Чуркин...

Ни в коем случае нельзя было упускать инициативу. И Давид мгновенно оборвал гостиничную фею:

— Знаю-знаю-знаю. Все знаю: надо было заранее забронировать место и так далее. Вы правы. Ну так вот, ставлю вас в известноать, что наш гость неожиданно прибыл по личному приглашению Максимилиана Петровича, а у Максимилиана Петровича столько дел... Словом, доложите о нашей просьбе начальству, а я тем временем направлю товарища к вам. Через полчасика его подвезут в моей машине. Уверен, вы не осрамите нашу хлебосольную Москву. Лады?

— Ну что ж... А как зовут гостя?

— Фамилия — Шмундяк. По буквам: Шелк, Мария, Ульяна, Николай, Дмитрий, Яков, Константин. Шмун-дяк. Записали?

На другом конце провода раздался смешок.

— Записала, товарищ Чуркин. Шмун-дяк.

— Лады. С кем я говорил?

— С Макаровой Ниной Павловной.

— Спасибо, товарищ Макарова. Желаю вам...

Давид повесил трубку на рычаг, ухмыльнулся, закурил и, не торопясь, уступил кабинку гражданочке, дважды уже успевшей выбить нетерпеливую дробь по дверному стеклу.

Теперь можно было направлять свои стопы в „Будапешт". По опыту прошлых лет Давид знал, что гостиничная фея — дежурный администратор — не станет по пустякам беспокоить своего директора, как не попытается установить и личность напористого товарища Чуркина. Зачем ей утруждать себя лишней работой, если у нее, как у всех приличных администраторов московских отелей, всегда есть в загашнике номерок-другой на случай вот таких непредвиденных обстоятельств.

С двумя „местами" в руках Давид прогулочным шагом пустился в недальний путь. Надо было потянуть время, поэтому, выйдя в Охотный ряд, чуть левее Малого театра, он укрылся под навесом киоска и несколько минут созерцал затопляемый потоками воды проспект. Со стороны площади Дзержинского неслись стаи разноцветных машин. У перекрестка, повинуясь властному мановению палочки регулировщика в белых перчатках, они останавливались, нетерпеливо вздрагивая лакированными кузовами, сотрясаемыми мощью

невыключенных моторов, затем, получив добро милиционера на дальнейшее движение, с места в карьер, плотно прижимаясь друг к дружке, устремлялись вперед, туда, где высилась уродливая громада гостиницы „Москва".

Наискосок, через дорогу, восемь мощных колонн „Большого" подпирали треугольный барочный фронтон, над которым, в диком порыве к галопу, взвилась на дыбы храпящая, ржущая четверка запряженных в античную колесницу чугунных лошадей. Но воин, стоявший в колеснице, железной рукой держал вожжи и не давал коням спрыгнуть вниз, в сутолоку уличного движения огромного города, затесаться в металлический поток тысяч лошадиных сил, измять, исковеркать копытами их лоснящиеся от бензинной сытости и цветового самодовольства бока.

Ему пришлось сделать небольшой крюк, чтобы подземным переходом выбраться на противоположную сторону проспекта. Через десяток минут он уже шагал по Неглинной, к респектабельному „Будапешту".

Нина Павловна оказалась крашеной блондинкой средних лет с лихо зажатой в уголке напомаженного рта беломориной. Обращение „девушка", коим товарищ Чуркин соблаговолил величать ее, можно было извинить, лишь приняв в расчет его неведение. Впрочем, из опыта Давид знал, что ни у одной дамы до пятидесяти такое чудовищное искажение истины не вызывает возражений.

Он приблизился к окошку. Его голос прозвучал елейно-вежливо, монашески-смиренно:

— Извините, пожалуйста, я от товарища Чуркина.

— А-а-а, да, да, знаю, — пробасила гостиничная фея, не вынимая изо рта папиросы. — Товарищ Шмундяк, верно? Будьте добры, ваш паспорт.

Заполнение анкет и прочие формальности — все вместе заняло минут пятнадцать. Затем Нина Павловна поинтересовалась, за сколько дней вперед желает уплатить гость. Гость пожелал рассчитаться за три дня. Дама назвала сумму, от которой у Давида порядком потемнело в глазах. Но, мигом пересилив себя, он небрежным жестом миллионщика выложил четвертной билет. Вручая ему копеечную сдачу, Нина Павловна с улыбкой пропела басово:

— Второй этаж. Ключ от номера получите у дежурной... Кстати, товарищ Шмундяк, — Давид физически почувствовал то наслаждение, с которым она произносила его многострадальную фамилию, — до вас в том номере проживал африканский принц. Желаю приятного отдыха.

Поднимаясь по широкой лестнице, устланной добротной ковровой дорожкой, Давид усмехался. Должно быть, мыслил

он, уважаемая дама считает, что для писаки-шаромыжника из Молдавии, к тому же отмеченного роком такой экстравагантной фамилией, — немыслимая честь занять номер какого-то вшивого принца, первые семь лет жизни воспитанного шимпанзе и бабуинами в родных джунглях. А кстати, подумал он, какие к черту в Африке принцы? Известно, что их высочества в виде милого анахронизма плодятся еще при королевских дворах Англии, Голландии, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии. Судя по сообщениям печати, великое множество принцев — в Лаосе и Камбодже: иной раз даже возникает удручающее впечатление, что в этих азиатских странах население состоит исключительно из принцев-цац и принцев-бяк, занятых непрекращающейся междоусобицей: Нородом Сианук, Суфанувонг, Сувана Фума, Фуми Носаван... Наверное, даже дошлое политбюро ЦК КПСС уже не в состоянии разобраться, кто из принцев какие идеалы защищает. Африканский принц — что-то новенькое. Впрочем, немудрено было очаровательной любительнице „Беломора" Нине Павловне Макаровой принять вождя чернокожего племени, выряженного в ливрею швейцара, за принца чистых кровей. И то верно: по Дарвину даже принцы восходят к общему предку — черные, желтые и белые.

Получив у старушки-дежурной ключ, Давид переступил порог своего 211-го номера. И сразу понял, почему он так высоко котируется. Любезная Нина Павловна чересчур уж серьезно восприняла авторитетную просьбу товарища Чуркина и ради его гостя расщедрилась на люкс. Оставив вещи в крохотной прихожей, Давид робко попрал грязным ботинком пушистый ковер, застилавший чуть ли не весь пол просторной гостиной. Так как было уже темновато, он включил свет. В центре салона стоял овальный обеденный стол в окружении четырех венских стульев, у одной стены — мягкий диван и письменный стол с телефонным аппаратом, у другой стенки — столик журнальный с радиоприемником и два глубоких кресла. Все здесь было выдержано в обожаемом партией цвете: скатерть на овальном столе, обивка дивана и кресел напоминали о крови, пролитой пролетариатом в борьбе за власть советов, и в случае надобности вполне могли быть использованы как знамена на октябрьской или первомайской демонстрации трудящихся.

Из салона одна дверь, заколоченная, вела на балкон, другая — в спальню. В спальне оказалась широченная кровать с тумбочкой, а также двустворчатый шкаф и трюмо. Разумеется, перед кроватью лежал мягкий коврик. Вся мебель — под дуб — была тяжеловесной, уродливой, но сработанной крепко, на века, в любимом партией стиле, долженство-

вавшем свидетельствовать о ее собственной мощи и несокрушимости.

Туалет не отличался оригинальностью, если не считать рулончика бумаги спецназначения, стоймя стоявшего на сливном бачке, — редкость даже для московских гостиниц, зато ванная поражала воображение как площадью, так и отделкой: просторная, с добрую жилую комнату, вся, до потолка, выложенная белым кафелем, с весьма поместительной ванной, в которой даже баскетболист мог бы вытянуться во всю длину, с сияющими никелем душем, кранами, змеевиками, с шахматным полом в серо-зеленую плитку, она чем-то напоминала созданные для неги восточные бани. Были здесь два полотенца, в крохотном шкафчике — две щетки: сапожная и одежная, а также бархатка для придания блеска начищенной обуви. Здесь-то, в ванной, решил Давид, ежедневными долгими омовениями он постарается оправдать непомерный расход на жилье.

Он повесил в шкаф мокрые пальто, шляпу, осмотрел себя в зеркале трюмо и заключил, что осанка у него чуть горделивей, чем обычно, и взгляд уверенней и тверже, и жестче линия губ. Все понятно: хороший номер в гостинице придает человеку вес и значение не только у окружающих, но и в собственных глазах. В приступе окрыляющего чванства он даже рванулся было звонить друзьям — пригласить их к себе, чтоб прониклись и прочувствовали, но вовремя опомнился, вообразив, с какой физиономией в очередной, может, десятый раз, в роскошном своем апартаменте обратится к Степану с просьбой о займе „до лучших времен''. Нетрудно было представить и реакцию Андрея, этого сибирского медведя, не признававшего никаких комфортов, кроме берложьего, к которому он привык в своей дыре. Ничего, решил он, придут и увидят, а не придут — еще лучше.

Давид занялся расстановкой своих вещей: туалетные принадлежности отнес в ванную, несколько прихваченных с собой на всякий пожарный случай рассказов сложил стопкой в ящик письменного стола. Затем взглянул на часы: было пятнадцать минут шестого. Он развалился в кресле и стал мысленно набрасывать план действий на неделю. На сегодня решил дать себе полный отдых, а завтрашний день посвятить выполнению поручения Мойсея и визиту к Степану. Да, конечно к Степану, прежде всего к Степану, хотя Андрея он любил и уважал больше. Ведь у Степана имеется заветная заначка с банкнотами, Андрей же нищ, как Иов в период ниспосланного ему Богом испытательного срока на лояльность. Четверг и пятница будут посвящены хождению по редакционным мукам, дружескому общению с Андреем, театрам и музеям.

На том порешив, Давид пересел к письменному столу и по надписи на ящике с виноградом набрал номер телефона вдовы знаменитого кинооператора. Так как к аппарату никто не подходил, он, зажав трубку между ухом и плечом, начал рассеянно выдвигать ящики письменного стола. И в тот момент, когда мембрана содрогнулась от резкого „Алло!", похожего на пистолетный выстрел, в нижнем ящике он обнаружил несколько листов, вырванных из иллюстрированного журнала. Положив их перед собой, Давид назвал себя и объяснил побудительную причину своего звонка. Женщина на другом конце мигом смягчилась:

— Ах, это прекрасно! Как мило со стороны Мусика. И вы будете так любезны, завезете мне этот прелестный подарок?

— Именно это я и обещал Мойсею. Как к вам добираться?

Битых десять минут она объясняла маршрут. Ничего толком не разобрав, Давид решил, что разыщет ее с помощью всезнающих москвичей и, пообещав быть завтра не позднее одиннадцати, пожелал ей всего доброго. После чего принялся рассеянно листать свою находку.

Прелесть арабской вязи околдовала его, и он долго пытался проникнуть в ее сокровенный смысл. Куда там! Не то что слова, буквы ему не удалось понять. Тогда он перевернул страницу и нашел то, что в тексте не нуждалось: прекрасный красочный снимок в полжурнальной страницы — олицетворение экзотики и романтики черного континента. Стройная желто-зеленая пальма перед белоснежным мавританским дворцом благословляла своими листьями-опахалами открытый светлокремовый лимузин; за рулем машины — такой черный генерал, что на лице его можно было различить лишь синеватые белки глаз да белоснежные клавиши зубов; четко выделялись мельчайшие детали его голубого опереточного мундира: золотые эполеты, желто-красный аксельбант, серебряные нашивки на рукаве, многоцветье и разнокалиберность крестов и звезд на груди...

Однако и дворец, и пальма, и лимузин, и черный генерал составляли лишь мастерски подобранный антураж для показа главного объекта съемки. А главным объектом была женщина. Она восседала рядом с генералом, небрежно закинув руку на спинку кожаного сидения. Точеные длинные пальцы, узкая кисть, худенькая рука, как-то плавно, гармонично полнеющая выше локтя... Выделялись два умилительных следа от вакцинации против оспы, а дальше шло оголенное плечо, слегка покатое, смуглое, трогательное в своей незащищенности от солнца, ветра, дождя и... от грубых лапищ черного генерала. Плечо вело к шее, такой длинной и грациозной, что сравнение с лебединой, хоть и древнее, как мир, на-

прашивалось само собой, ибо лучшего было невозможно подобрать. А на длинной этой шейке красовалась гордая, царственная головка: безупречно правильным выглядел овал лица и ужасающе неправильными его черты. Она — дочь своего континента, но кто-то в ее роду — отец или дед — безусловно был белым, поэтому не вывороченными наизнанку оказались ее губы, а только полными, как налитые соком вишни, поэтому не приплюснут и не ноздреват чрезмерно, а аккуратен, в меру вздернут носик, поэтому не черен, как вакса, а бронзово-шоколаден цвет лица. Негритянскими остались глаза, черные, как агат, и огромные, блестящие, как подфарники автомобиля, а также мягкий подбородок и выпуклый, чистый, какой-то просветленный и слегка задумчивый лоб. А надо лбом возвышалось высоченное замысловатое сооружение из сверкающих смоляных волос, величиной своей, формой и деталями сильно напоминавшее Вавилонскую башню в интерпретации Петера Брюгеля Старшего.

Понимая, что эта картинка — не более чем коммерческая реклама, Давид упрямо решил: генерал — тот самый принц, что занимал номер до него, а пленительная мулатка (или квартеронка) — жена его или наложница, будь он неладен. Минут десять Давид еще созерцал женщину на фотографии, отмечая не схваченные с первого взгляда детали: сильно декольтированное светлорозовое платье, соблазнительный желобок между двумя крепкими и крупными грудями, не стесненными жесткими чашами бюстгалтера, два крохотных бугорка сосков под тонкой тканью... Он тяжко вздохнул и вдруг непроизвольно произнес вслух:

— Черт возьми, ваше высочество, умыкнул ты мою женщину!

Еще раз вздохнул, вырвал лист с картинкой, оставил его на столе, остальные листы небрежно зашвырнул обратно в нижний ящик стола. Потом поднялся, подошел к балконной двери. Освещенную прозрачным желтым светом улочку заливали потоки воды. Его передернуло от мысли, что надо выйти в слякоть, топать по лужам в поисках гастронома. В полной уверенности, что Степан не подведет, выручит, он принял мужественное решение поужинать в ресторане „Будапешта".

* * *

В качестве презента старушка — дежурная по этажу получила от нового жильца сувенирную бутылочку коньяка „Молдова". После этого, следуя ее четким указаниям, Давид вна-

чале безнадежно плутал по коридорам и этажам, но в конце концов все же вышел к цели.

В дверях ресторана он на миг задержался, обозревая зал. Довольно просторное помещение было оформлено с привычной безвкусицей времени, в стиле (или безстильи), который можно назвать „роскошной тяжеловесностью". Две, наверное, безумно дорогие и, конечно, безумно тяжелые люстры свисали с высокого лепного потолка; тяжелые бархатные портьеры драпировали три двери и несколько окон; тяжело, прочно стояли на паркете солидные, как старомосковские купцы, столы и стулья; на тяжелых мраморных пьедесталах высились до потолка два многопудовых зеркала; даже турецкий барабан, ожидавший на невысокой эстраде музыкантов, казался слишком огромным и тяжелым. Все, все здесь вопило о высочайшей респектабельности заведения, о недопустимости малейшего легкомыслия, фривольности, вздорного веселья в четырех стенах зала, увешанных репродукциями известных картин русских (только русских!) художников — натюрмортов, охотничьих сцен — разумеется, в тяжеленных позолоченных рамах.

Час был ранний, поэтому зал выглядел пустынно. Едва ли половина мест оказалась занята — преимущественно деловитыми мужчинами и женщинами, по всем данным, командированными в Москву провинциалами, решившими плотно поужинать до того, как ресторан подвергнется нашествию прожигателей жизни. Но у окна слева...

Давид плотно зажмурил глаза, как обычно поступают, когда хотят отогнать внезапное наваждение. Снова их открыв, он убедился, что обмана зрения не было: слева, за столиком у окна, в полном одиночестве, сидела она, женщина с картинки в арабском журнале!

Сердце ошалело заколотилось в груди. Чувствуя немедленную потребность в успокоении, он стремительно вышел в коридор и закурил. Он стоял у окна, почти без перерывов втягивая в себя едкий дым „Беломора" и, выпуская его в заплаканные стекла, лихорадочно подбадривал себя: „Ну, не дрейфь же, старина Вперед! Это неповторимый случай, второго не будет. Уйми дрожь в коленях и смело иди на штурм".

Внутренний голос подсказывал ему: любой благоразумный советский гражданин трижды подумает, прежде чем решится заговорить с иностранцем, так как ясно, что за каждым желанным зарубежным гостем ведется неослабное наблюдение. Но тот же голос вопил о другом: что никогда, никогда он не простит себе, если упустит этот единственный в жизни шанс, что, в конце концов, времена нынче не те, что, в худшем случае, придется дать подробное объяснение своего смелого по-

ступка в некоем милом, издавна знакомом учреждении, где ему будет сделано суровое отеческое внушение, что такая игра стоит свеч, а потому...

Он швырнул окурок в урну и решительно ворвался в зал. Торопясь к ее столику, чтобы, не приведи Господь, кто-нибудь его не опередил, Давид не спускал с нее глаз. Она сидела, подперев гордую головку кулачком, и огромными агатовыми глазами потерянно разглядывала... пустоту. Полные, яркие губы слегка кривила печальная усмешка, смолистая Вавилонская башня тускло отражала золото усиленных хрусталем электроламп. Платье на ней, конечно, было не то — розовое, открытое, — а строгое, серое, с воротом под самый подбородок, что, однако, лишь подчеркивало изящный изгиб, необыкновенную длину и незащищенность лебединой шеи. Перед нею на столе стояла початая бутылка вина, недопитый стакан и тарелка с бифштексом, и этот натюрморт неопровержимо свидетельствовал о том, что она одна-одинешенька, бессовестно брошенная в чужом холодном краю ужасным черным принцем, несомненным поклонником полигамии и прочих восточных сластолюбивых обычаев, огульно, но справедливо подогнанных у нас под рубрику „Их нравы", несмотря на то что наши собственные нравы ничем не лучше. Мерзавец, негодяй, подлец он, этот вшивый принц, но какой же, вместе с тем, лапа, умница, молодчина! Вот так вот взять да удружить нетитулованному товарищу!

Давид остановился в двух шагах от незнакомки, отвесил в пустоту поклон и произнес заранее приготовленную фразу:

— Excuse me, possibil to sit daun?

Женщина подняла на него затуманенные еще не испарившейся думой глаза, и он тотчас понял: не та это красавица с цветной фотографии, а другая, поразительно на ту похожая и смуглым лицом, и прической, и формой губ, и цветом, размером, величиной глаз. Эта была лет на семь старше, о чем предательски свидетельствовало несколько крохотных морщинок у висков и на веках, а также почти неуловимый отпечаток усталости в зрачках и уголках губ — след пережитых горестей и разочарований, грозный предвестник близящейся поры увядания. Несмотря на это, а, может, именно поэтому она показалась Давиду куда более привлекательной, женственной, чем молоденькая подружка черного принца.

Как околдованный, чувствуя прилив горячей крови к сердцу, он неотрывно смотрел в ее смутные африканские глаза, видел, как постепенно тает в них туман отрешенности, как начинают брезжить теплые блики пробуждения от дум, как калейдоскопически быстро чередуются оттенки выражения в черных, как ночь, зрачках, перепрыгивая от равнодушия к

любопытству, от любопытства к интересу, от интереса...

Время, казалось, остановилось. Давид ждал ответа — в трепетном изумлении от силы своего проникновения в смену настроений в ее кротких, доверчивых, но вместе с тем настороженных, ищущих, молящих очах. А женщина смотрела на него и тоже молчала. И тогда, решив, что английским она не владеет, он, несколько хрипло, повторил по-французски, тыча пальцем в массивную спинку свободного стула:

— Pardon, puis je m'asseoir?

И снова ответа не получил. Прекрасная мулатка все пялилась на него, ее агатовые глаза теплели и влажнели, и теперь в них уже плясали искорки экстатической восторженности. Давид подумал, что так, должно быть, загораются взоры добрых негров в Африке, когда они в исступленном трансе молятся своим черным идолам. И еще подумал, что и французского она не знает, эта незнакомка, а в арабском или другом языке пробуждающегося континента сам он, понятно, ни бельмеса не смыслит, а потому, в случае обоюдного желания, им придется объясняться лишь жестами, улыбками, красноречивыми взглядами, то есть лексиконом выразительнейшего из языков — языка любви.

Он не выдержал ее пристального обжигающего взгляда и опустил глаза. И вздрогнул, услышав негромкий и удивительно низкий голос:

— Что же ты так долго не шел, милый?

Кровь ударила в голову. Сработал невидимый предохранитель, сигнал тревоги завыл в мозгу: уж не нарвался ли он на одну из тех проституток, что завлекают в свои сети простаков, чтоб потом, с помощью дружков-сутенеров, обобрать их до нитки? Не напоролся ли на сумасшедшую? Не спутала ли эта женщина его с другим, как сам он поначалу принял ее за принцессу? И язык! Почему она так свободно, так чисто, даже с едва уловимым московским выговором болтает по-русски?

Одного беглого взгляда на нее оказалось достаточно, чтобы исчезли все вспыхнувшие страхи: эти необыкновенные глаза... если они лгут, то все на свете — ложь, низость и подлость. Не скрывая своего изумления, он спросил:

— Вы знаете русский?

Теперь покраснела она. Но с ответом не задержалась, хоть и прозвучал он сбивчиво, с запинками:

— Я русская... Извините, но я приняла вас за иностранца... Мои слова... пусть они вас не смущают... вы мне напомнили одного человека. Да садитесь же, ради Бога!

Приглашение она выговорила резковато, как бы отметая им свое замешательство. Давид отодвинул тяжелый стул и,

привычно приподняв дудочки брюк, сел.

— Стало быть, вы тоже русский?

— Почти, — кивнул Давид.

— Что значит „почти"?

— Почти русский — это еврей, — объяснил Давид, внутренне ощетинившись, как всегда, когда был вынужден говорить о своей национальности, — готовый, в случае чего, дать самому Господу-Богу отпор.

Однако собеседница не дала ему для этого повода. Его объяснение она восприняла как удачную шутку и засмеялась, обнажив два ряда блестящих, хоть и крупноватых зубов. И тогда, благодарный ей за все, — за теплоту, радушие, открытость, простоту,, он тоже рассмеялся. Он вдруг почувствовал легкость и непринужденность в обществе женщины, о существовании которой еще час назад не подозревал, даже вдохновение какое-то, вызванное, наверное, страстным желанием поразить ее, увлечь, очаровать, и, как изредка случалось с ним прежде, отчаянная смелость понесла его вперед, к четко обозначившейся уже цели.

— Я думаю, — сказал он, — теперь нам ничего другого не остается, кроме как официально познакомиться.

Она кивнула в знак согласия, и Давид, привстав, с шутовской церемонностью представился:

— Меня зовут Давид. Имя мне дано в честь легендарного царя, успевшего в моем возрасте прославиться на весь тогдашний мир. Я, к сожалению, своего Голиафа еще не одолел, на царство не помазан и никому на свете, кроме узкого круга родных и друзей, не известен. Правда, никто — даже родители — никогда меня уменьшительным именем Додик не называл, и я в этом усматриваю признак некоего уважения к моей личности. Вы, если хотите, называйте меня Додиком, или Дудиком, или Додом, или, на английский манер, это сейчас модно, — Дэйвом... От вас я все стерплю.

Она весело рассмеялась. Смеясь, схватила пустой стакан, стоявший на столе вверх дном, протерла его салфеткой и налила в него красного вина из своей бутылки.

— Додик... Дудик... Дод, — как бы взвешивала она имена. — Нет, не идут они вам. И Дэйв не идет. Я, пожалуй, буду вас называть как все — Давидом. Это имя не нуждается ни в каких переделках. А меня, знаете, зовут Натальей, Наташей. И еще — Лулу.

— Лулу?

— Да. Это моя школьная кличка.

— Школьные клички! — смеясь произнес Давид. — Какие они меткие, приставучие! Мне, знаете, никогда не давали прозвищ ни в школе, ни после. Наверное, потому что у меня

слишком уж заурядная внешность и безумно не выдающийся характер. Не знаю уж — хорошо это или нет. Но было в нашем классе человек десять... До сих пор мы их называем по старым школьным кличкам: Сова, Кислый, Тарзан, Профессор, Карузо, Пустая Пирамида, Цицерон...

Наташа смеялась.

— Ой, расскажите, пожалуйста, о них.

Давид пожал плечами.

— С удовольствием. Но сначала выпьем за знакомство, а?

Они сдвинули бокалы и отпили по нескольку глотков. Давид не спускал глаз с собеседницы. Все в ней приводило его в восторг: и длинные пальцы, и бледно наманикюренные острые ноготки, и трогательное беззащитное выражение лица африканской мадонны, и низкий голос. Конечно, он уже давно, с первого взгляда желал ее, но сильнее плотских чувств, заглушая их, оттесняя, была какая-то ужасно сложная потребность в излиянии безграничной нежности, десятилетиями копившейся в душе и ни разу еще не нашедшей выхода, потребность в поклонении, пиетете, забытьи...

Она поставила бокал на стол.

— Давид, ау... Вы что-то обещали.

Он встрепенулся, судорожно сглотнул, проталкивая застрявший в горле ком, и принужденно засмеялся.

— Да, да, конечно. О прозвищах, да. Так вот, да будет вам известно, что я уроженец области, вкусившей счастье свободы, равенства и братства лишь в сороковом году. До того мы прозябали под гнетом помещиков и капиталистов...

Давид сделал паузу, чтоб проверить реакцию Наташи на такое его вступление. Так как она улыбалась и ничего больше, он продолжал:

— Учились мы в гимназиях, наряду с точными науками изучали такие бесполезные предметы, как французский, латынь, даже древнегреческий, смотрели американские и французские фильмы, почитывали приключенческие книжонки. В общем, потихоньку разлагались, и если бы не советская власть, страшно подумать до какой степени падения мы б дошли. Но о кличках, о кличках! В гимназиях они заменяли имена. Сова, как вы сами понимаете, был очкариком с сильными стеклами, отчего его глаза казались необыкновенно большими. Ныне Сова, то есть Георгий Иванович Борисов, — доктор математических наук.

— Так это не он — Профессор?

— О нет! Ну какой же он Профессор! Он всего лишь Сова. А Профессор... В общем, начну издалека. Когда Бессарабия наконец-то воссоединилась с матерью-родиной, мы, бывшие румынские гимназисты, пошли учиться в советскую десяти-

летку. Русский, в общем-то, мы знали, но только разговорный, читать и писать мало кто умел. Так вот, чтоб быстрей выработать у нас навыки письма и чтения, нас на всех уроках — будь то литература, история или география — заставляли писать изложения пройденного материала. Ребята мы были способные, все схватывали на лету, но одному мальчику язык никак не давался. Мальчика звали Петя Кэрэмидэ. К слову, „кэрэмидэ" — в переводе с румынского — это кирпич. Тоже, видать, прозвище, некогда данное его предкам за определенные качества, а затем ставшее их фамилией.

Однажды по заданию анатомички написали мы всем классом изложение на тему о пищеварении. А несколько дней спустя листок с фамилией Кэрэмидэ вверху и с жирной единицей внизу, подобно тайной революционной прокламации, циркулировал по всем классам. На нем было всего две строчки, но каких! „Пысча пападаит черес носаглотку вжилудак, от туда вмаленкие кишечки, вбалшие кишечки и надвор". Вот и все. Ну, чем не докторская диссертация?

Наташа захохотала, прижав обе руки к горлу. Смеялась она долго, заразительно и, глядя на нее, Давид и сам рассмеялся. Сквозь слезы она спросила:

— А Цицерон?

Давид махнул рукой.

— С Цицероном все обстоит очень даже просто. Это, заметьте, прозвище не только всеми уважаемого инженера Гурьева, но и знаменитого римского оратора, на голове которого красовалась шишечка в виде зернышка чечевицы, по латыни "cicero". Мой друг точно так же отмечен матушкой-природой: шишечкой на голове, но не ораторским гением.

— Ой, как здорово! — по-ребячьи всплеснула руками Наташа. — Ну а Пирамида?

Крылья вдохновения возносили Давида все выше и выше.

— Это особая история, как и байка о Профессоре. Необыкновенно одаренный, но и страноватый мальчик Додик Гордон, мой тезка, обладал слегка деформированным черепом, более широким в основании, заострявшимся к макушке. Никто бы, разумеется, не придал этому значения, если б не забавное обыкновение нашего Додика мурлыкать во время контрольных песенки собственного сочинения. Тематика этих, нередко весьма остроумных куплетиков варьировалась в зависимости от темы урока, но их героем неизменно являлся сам сочинитель. Запомнилось мне, к примеру, такое „историческое" четверостишие:

Мамой я на свет рожден —
Жрать торты от пуза.

Если есть „Наполеон",
Должен быть Кутузов.

Вы понимаете, что в то время мы проходили материал о разгроме французов в 1812 году. Но это так, между прочим. Беду на себя Додик накликал на уроке геометрии. Сосед по парте записал его новое сочинение и на переменке пустил четверостишие по рукам. Вот оно:

Тетрадь по математике
Разбита на квадратики.
А голова Давида —
Пустая пирамида.

Тогда-то все и обратили внимание на строение его головы и на всю жизь пришлепнули ему это прозвище. Кстати, он стал врачом-психиатром и в последние годы, бедняга, все больше опускается до уровня своих пациентов. Жаль, талантливейший парень...

* * *

Слушая легкую болтовню Давида, Наташа то хохотала, запрокинув голову, то печалилась, грустно покачивая головой. Оба были настолько поглощены друг другом, что потеряли счет времени и совершенно отключились от внешнего мира. Они и не заметили, как постепенно зал наполнялся гостями, как засверкали на стенах десятки двухламповых бра, как грянул оркестр и в тесных проходах между столиками поплыли парочки танцующих. Только появление пожилого официанта на минуту заставило их вернуться с небес на землю. Обезумевший от шального счастья Давид заказал бутылку шампанского, бутерброды с черной икрой, эскалопы, фирменное мороженое, кофе. Даже в подсознании не мелькнула мысль, что у него может не хватить денег при расчете, об этом он вспомнил лишь много позднее, за минуту до ухода из ресторана.

Едва официант удалился, Наташа молитвенно, на индийский манер, соединила ладони на груди:

— Еще, Давид, ну пожалуйста! Про Карузо, Тарзана, Кислого...

Он помрачнел.

— Карузо, Тарзан, Кислый, а также Селедка, Бенони и некоторые другие погибли в войну. Не будем вспоминать их всуе... И вообще, это несправедливо. Говорю я один, а вы о себе ничего не рассказываете.

— Но я и не умею! Да и нечего мне рассказать. Ничего такого яркого в моей жизни не было. Тем более — смешного...

В агатовых глазах пробежала тень, дрогнули уголки полных, ярких губ, и только сейчас Давид заметил, что они, эти негритосские губы, даже не тронуты помадой, помада не могла добавить им ни яркости, ни чувственности, как не в силах была бы скрыть и выражения необъяснимой порочной непорочности, затаенной в их уголках. И беззащитности, при виде которой постоянно сжималось его сердце. Сжалось оно и сейчас от ясного сознания ее неуклюжей попытки отразить попытку нескромного взгляда в ее прошлое, а оно, это прошлое, несомненно, у нее было. Не могло не быть, уж слишком она была хороша...

Официант принес шампанское и бутерброды. Давид собственноручно откупорил бутылку, без пижонского выстрела с летящей в потолок пробкой, и разлил золотистое, пенящееся, искрящееся вино по бокалам. При этом он украдкой взглянул на часы: было без десяти девять. Оставалось всего ничего времени для осуществления коварного тайного плана: завлечь Наташу к себе в номер и хотя бы прикоснуться пальцами к ее смуглой щеке, высказать ей хоть малую толику тех восторженных, до боли душевной нежных слов, которые скопились в его сердце, просились на язык и, не находя выхода, до спазм сжимали горло. Если же удастся ее поцеловать... Но как осуществить этот замысел, чтоб и пошляком не предстать перед ней, и на резкий отпор не нарваться?

Он вдруг вспомнил оставленную на письменном столе картинку из арабского журнала и быстро, радостно допил свой бокал. Вертя его в руках, сделал заход издалека:

— А знаете, Наташа, почему, едва переступив порог ресторана, я тотчас же подошел к вам?

Она пристально на него поглядела и внезапно огорошила:

— Вы не сразу подошли. Вы вошли, заметили меня, выскочили, словно при виде ведьмы, и лишь несколько минут спустя вернулись.

— Черт возьми! Верно! — выпалил изумленный Давид. — Все зафиксировано с точностью кинокамеры. А ведь вам не до меня было в те минуты, я знаю.

И тут он явственно увидел выражение страха в ее на миг расширившихся черных зрачках и вновь подумал, что женщине, сидевшей перед ним, есть что скрывать, но это убеждение не изменило его пиетета перед нею, потому что были и у него закоулки, куда никого не хотелось впускать.

— Неважно, — тихо сказала она, опустив ресницы. — Так почему же вы подошли?

— Потому что за десяток минут до того, не зная вас, не подозревая о том, что вы здесь, я любовался вашей фотографией, — ответил он.

Наташа открыла большие глаза, густые ресницы стремительно взмыли вверх:

— Ну да!

— Честное слово! — горячо заверил ее Давид. — Да снимок у меня в номере. Хотите — принесу! Или, — он слегка запнулся, — зайдемте ко мне.

Выпалив последние три слова, он замер в ожидании отпора. И не было границ его изумлению и счастью, когда после короткой паузы она тихо и просто сказала:

— Мистика, конечно. Но я пойду с вами.

Ее согласие Давид счел не знаком доверия к нему или желанием, столь же естественным, как его собственное, побыть с ним наедине, а чудом из чудес и, ликуя, он прислушивался к участившемуся биению своего сердца и не переставал удивляться его молодости и романтическому пылу. Словно оно впервые в жизни влюбилось! Оно? Или он сам! А что, может, он в самом деле впервые влюбился. Это очень даже похоже на правду, несмотря на тридцать девять прожитых лет и все, что им сопутствовало.

Дальше все происходило как в прекрасном сне. Словно вовсе и не он был героем этого волшебного вечера, а кто-то другой, молоденький и восторженный, за кем он наблюдал со стороны, над кем немало потешался, смеялся, издевался, но чье глуповато-восторженное поведение изменить не мог, ибо так далеко власть его не распространялась.

Вот он воскликнул:

— Но уйдем мы отсюда не раньше чем расправимся с вином и едой!

Он старался оттянуть решающий миг? Сумасшедший! Она согласно кивнула:

— Не раньше.

Официант принес эскалопы, затем мороженое и кофе, они ели, пили, снова ели и беспрерывно болтали, и Давид, этот новый, странный Давид, превзошел самого себя в красноба́йстве и наверняка перевыполнил двухмесячную норму расхода слов. Чудно!

А незадолго до ухода случилось нечто и вовсе уж фантастическое. Невдалеке возникла какая-то возня, танцующие шарахнулись в стороны и в центре зала осталась тройка дюжих мужиков. Двое усмиряли разбушевавшегося товарища, тот вырывался из цепких рук сотрапезников, тащивших его к выходу, брыкался ногами и площадно матерился. Вот ему удалось вырваться. Он отпрянул подальше от друзей, остано-

вился в сторонке и, пошатываясь на нетвердых ногах, мутным взором обвел столики, публику.

— Что уставились, гады?! — загремел в наступившей тишине его хриплый голос. — Чего зенки пялите, падлы? Бухарика не видали? Так вот он я, перед вами... На свои кровные пью. Потому как не человек я, а скотина. Да. И все вы скоты, хоть и тверезые...

Двое друзей подбирались к нему, он отступил к стене. И вдруг заметил Давида, и в глазах его вспыхнул огонь просветления. Он заревел:

— Скоты, подлюги, да... Все! Один только человек среди нас есть, гады. Вот он!

Толстый указательный палец пьянчуги показался Давиду копьем, которым тот норовил пригвоздить его к стене. Давид заерзал на стуле, когда десятки пар глаз воззрились в него, и, словно осужденный, выслушавший свой приговор, начал вполголоса оправдываться:

— Чего это он? Чего ему от меня надо?... Я ж его в жизни не видал... Напился до чертиков и пророчествует, дурень...

Пьяного утащили, а взволнованный, смущенный Давид, ежась от всеобщего внимания, все еще продолжал свой сбивчивый монолог:

— Родственную душу нашел, что ли? Под рентгеном меня разглядывал? Ишь ты, вития народный...

Наташа с легкой улыбкой выслушала его тирады. Наконец Давид выдохся, умолк. Тогда она чуть нагнулась, положила свою теплую ладонь на его руку и тихо, задумчиво проговорила:

— У пьяных и юродивых особое чутье... Они видят то, что скрыто от глаз нормальных и трезвых.

...Было начало одиннадцатого, когда он не дрогнувшей рукой расплатился с официантом, вовсе не придя в ужас от мысли, что из Тамаркиных ассигнований осталось только три рубля с копейками: будь у него сейчас миллион, он бы без колебаний швырнул его под ноги своей даме. Проведя Наташу под руку по нескончаемым коридорам, Давид дружески кивнул дежурной по этажу, которая, несмотря на полученный презент, напомнила, что посетителей разрешается принимать только до одиннадцати. Правда, сказала она это столь добродушно, что сомнений быть не могло: оставшейся у Давида трешницы как раз хватило бы на то, чтоб она не заметила нарушения сурового гостиничного режима. Но услуг с ее стороны пока не требовалось, и Давид, заверив старушку, что с правилами знаком и намерен свято их соблюдать, провел Наташу в свой люксусный 211-й.

Он включил свет, жестом пригласил ее в салон, усадил в

кресло и молча подал листок с картинкой.

— Ой, как похожа! — воскликнула она, жадно разглядывая фотографию. — Вот такой я была в молодости... Но кто это?

— Принцесса, — убежденно пояснил Давид. — А рядом с нею — принц.

После этого в течение пятнадцати минут ни слова больше не было сказано. Он отобрал у нее листок, положил на место, вернулся и, остановившись перед нею, протянул ей обе руки. Без колебаний она вложила свои ладони в его. Давид легко поднял ее с кресла, и когда она очутилась перед ним, лицом к лицу, совсем близко, так близко, что он почувствовал на своих щеках ее легкое, прерывистое дыхание, он, наконец-то, со смешанным чувством сладкой муки и горького облегчения, прикоснулся пальцами к ее вавилонской башне. Черные волосы оказались тугими и жестковатыми. Рука его скользнула ниже, к шелковистой смуглой щеке.

Наташа опустила веки. На сомкнутых длинных ресницах задрожали две слезы. В порыве жгучей жалости и неистовой нежности Давид приклек ее к себе и губами осушил эти горьковатые слезы. И тут же принялся целовать ее волосы, лоб, щеки, подбородок. Губы, полуоткрытые, полные губы мулатки он обходил стороной, оставляя их напоследок, потому что они обещали высшее наслаждение, которое следовало испытать в последнюю очередь: так мальчик-сладкоежка торопливо съедает свой обед с единственной мыслью о пирожном, обещанном мамой „на закуску". И когда, наконец-то, он прикоснулся к этим губам — сначала робко, осторожно, затем смелее, настойчивее, а в третий раз — жадно, страстно, втянув их в себя в безумном желании навечно сохранить неповторимое ощущение их покорности, податливости, медово-полынного аромата и вкуса, Наташа, дрожа всем телом, приникла к нему и руками обвила его шею.

Сколько длился мучительный поцелуй? Когда они, слегка смущенные, порозовевшие, прерывисто дыша, разомкнули объятия, ни один не решился заговорить. Казалось, оба боялись нарушить очарование только что пережитых мгновений. Первой не выдержала она, ее голос прозвучал приглушенно-хрипловато, и благодарность в нем смешивалась с изумлением:

— Откуда в тебе столько нежности?

То был не вопрос, а констатация факта. Ответа, стало быть, не требовалось. Но мог ли Давид, гнилой советский интеллигентик, хотя бы не попытаться объяснить ей, а заодно и себе, поистине феноменальное чувство, завладевшее им? Он сдавленно произнес:

— Можно взять тебя на руки?

И она откликнулась:

— Если тебе хочется...

Давид легко поднял ее. И, медленно шагая по комнате, баюкая ее, как младенца, заговорил:

— Это непостижимо. Никогда со мной такого не бывало... Я всегда избегал слово „любовь", оно затаскано, потерто, замусолено, как карта в старой колоде, как трешка, годами переходившая из одних грязных рук в другие. Я не произнесу его и теперь, хотя то, что я испытываю, только им, наверное, и можно объяснить...

Наташа покойно, с закрытыми глазами, лежала у него на руках. Когда он закончил свою короткую, ничего не прояснившую и вместе с тем все объяснившую речь, она прошептала:

— Придешь завтра ко мне?

14 октября

Было светло, когда он проснулся. Прежде всего он почему-то подумал о том, что нежится в кровати, где двое суток назад почивал африканский принц, быть может, не один, а со своей дамой. От этой мысли в восторг он не пришел, но на всякий случай дернулся, проверяя, удобно ли чувствовали себя на этом ложе их черные высочества. Жалобно зазвенела пружина и, по ассоциации, вспомнился ему эпизод пятилетней давности. С Тамарой и Светкой плыл он тогда на теплоходе в Сочи. Стояла жара, и пассажиры весь день торчали на палубе. Среди спутников оказались прелестная блондинка с белокурым мальчонкой лет четырех и два очень черных негра. Один из чернокожих все заигрывал с мальчуганом, разумеется, в расчете на внимание его мамаши. На смеси русского и английского, подкрепляя свои слова выразительными жестами, он подзывал мальчика к себе:

— Иди суда, бой, иди,бэби.

Ребенок не шел, только плотнее прижимался к маминой юбке. Польщенная вниманием иностранца к ее отпрыску, мамаша решила подбодрить его:

— Ну что же ты, глупыш, не идешь? Дядя хороший, он хочет с тобой поиграть.

Чистенький мальчик, выряженный в белый матросский костюмчик, теснее прижался к бедру матери и прохныкал:

— Да, он такой черный... Я боюсь испачкаться.

Давид усмехнулся, тут же припомнил события вчерашнего вечера, и приятная истома охватила все его тело. Получив приглашение в гости к восьми вечера, он записал адрес и разъяснение, как добираться до места. Он хотел ее проводить, но она

решительно воспротивилась. Тогда он пошел с ней в вестибюль ресторана. В гардеробе получил ее плащ и зонтик, помог ей одеться, затем вместе с ней вышел на парадную лестницу „Будапешта".

— Спасибо за чудесный вечер, — прошептала она, раскрывая зонт, и, поднявшись на цыпочки, звонко чмокнула его в щеку.

Он не успел ответить. Быстро сбежав по ступенькам, Наташа застучала каблучками по залитому водой тротуару улочки. И только тогда Давид заметил ее особую походку: она шагала пружинисто, мелкими шажками, широко расставляя в стороны носки узких ступней: так ходят только балерины, гимнастки и циркачки.

Вечером... Но до вечера было далеко, а дел ему предстояло проделать кучу. Он вскочил с кровати, сунул ноги в туфли и побежал в ванную. В десять минут побрившись и умывшись, оделся, выхватил из шкафа еще не просохшее пальто и шляпу, взял весоменький ящик Мойсея и вышел в коридор. Сунуться в буфет со своей несчастной трешницей он не решился, хотя перехватить бутербродик с кофе, несмотря на позднее вчерашнее застолье, очень хотелось. Оставив ключ от номера у дежурной, Давид спустился вниз и вышел на улицу.

Тяжелые сумеречные тучи низко висели над городом, резковатый воздух был насыщен влагой, но дождь прекратился. До метро Давид прошагал пешком добрых полтора километра. Потом несколько станций проехал под землей, а выбравшись на поверхность, по неведению провинциала отмахал ножками еще километра два с половиной, хотя вполне мог сесть в автобус и за пять минут домчаться до цели. Все путешествие заняло часа полтора, и за это время Давид трижды успел проклясть Мойсея с его идиотским ящиком и себя, дурака, согласившегося выполнить просьбу кузена... всего за каких-нибудь жалких три червонца.

Громадный домина на Чкалова не поразил его воображение ни размерами, ни архитектурой, но лифт оказался приятной неожиданностью и, поставив ящик на пол кабинки, Давид с облегчением нажал на пятую кнопку изрядно затекшим пальцем. Спустя десяток секунд тем же пальцем он надавил на кнопку звонка 36-й квартиры.

Дверь открыла миловидная девчонка лет восемнадцати с распущенными длинными светлыми волосами, в халатике выше колен. С очаровательным московским оканием она пропела:

— Входите, пожалуйста, мамочка вас ждет.

Тут же появилась и почтенная вдова. Она щелкнула выклю-

чателем, в просторной прихожей стало светло, и Давид получил возможность хорошенько разглядеть и маму, и дочку.

Если уж еврейка красива, то другой такой на свете не найти. Если уродлива, — принцип не меняется, уродство ее непревзойденно. Ну а если она заурядна... Розалинда Абрамовна оказалась женщиной лет сорока пяти, в теле, но не толстой, необыкновенно подвижной, необыкновенно любезной, необыкновенно словоохотливой. Ее лицо, обрамленное коротко, по-девчоночьи остриженными, окрашенными под орех волосами, было изборождено не по возрасту многочисленными и глубокими морщинами, но карие глаза излучали энергию бомбы, сброшенной на Хиросиму. Давиду вспомнились рассказы Мойсея о престарелом операторе и его Розалинде, и он мигом представил себе, как лет эдак двадцать назад эта шустрая бабенка окручивала знаменитого киношника, неоднократно обласканного партией и правительством, отмеченного всеми возможными наградами вплоть до Сталинской премии и, конечно же, имевшего немыслимый счет в сберкассе. Ему тогда было не меньше пятидесяти, а ей не больше двадцати пяти и, не обладая шармом, она зажала его в тиски своей железной воли, анафемской дееспособности, аспидной напористости и жала до тех пор, пока, в приступе черного отчаяния, он не взвыл, не ринулся очертя голову в омут брака со своей вампиршей. Нетрудно вообразить, что брачная ночь стала не концом, а началом его страданий.

Все это промелькнуло в голове Давида за десять-двенадцать секунд молчания, пока он снимал и вешал на вешалку пальто и шляпу. После чего Розалинда немедленно взяла его в оборот.

— Моя Дианка, познакомьтесь, — кивнула она на милую девушку, стоявшую рядом.

Диана протянула ручку и присела в легком книксене. Тут же из уст мамаши Давид узнал, какая это одаренная, талантливая девочка, как любят ее студенты и преподаватели ВГИК'а („Ну конечно же! — только и успел ядовито отметить про себя Давид. — Наследница отцовской славы!"), какие у нее блестящие перспективы. Затем вдова отослала девочку на кухню, всучив ей ящик с виноградом и наказав приготовить кофе. Не давая Давиду времени перевести дух, пригласила в салон, усадила в кресло и стала взахлеб рассказывать о своем покойном муже. Ошарашив гостя множеством мелких вешек жития покойного (само собой подразумевалось, что основные вехи Давид, как любой интеллигентный советский человек, должен был знать назубок), бойкая дама повела его затем в бывший рабочий кабинет супруга, превращенный в небольшой домашний музей. У окна стоял массивный

письменный стол, вдоль стен выстроились стеллажи с книгами и странными сувенирами, на стенах, под стеклом, висели крупные фотоснимки.

— Вот здесь последние девять лет трудился и творил Константин Яковлевич, — с интонациями гида „Интуриста'' рассказывала Розалинда. — Вы видите его письменный стол и кресло. Кресло, заметьте, вращающееся, он, как ребенок, любил крутиться на нем туда и сюда... А на этих полочках — подношения трудящихся: альбом с видами Ленинграда, подарок рабочих завода имени Кирова; коврик с портретом товарища Сталина от туркменских ковроделов; шахтерская лампа, от шахтеров Донбасса; оренбургская шаль, дар тамошних искусниц; хрустальная ваза, трофей с Урала... Ну а там книги и альбомы с дарственными надписями Алексея Толстого, Максима Горького, Михаила Шолохова, Эдуарда Багрицкого... Этот портрет... здесь мы с Константином Яковлевичем во время съемок „Павла Корчагина'', а здесь — во время путешествия по Италии, пятнадцать лет назад... Знаете, одна итальянская газета писала тогда, что мы с Константином Яковлевичем — самая элегантная советская пара из всех, что когда-либо бывали там... Но, наверное, наскучила я вам своей болтовней. Пойдемте пить кофе.

Изрядно проголодавшийся Давид охотно последовал за нею на кухню. Стоило ему бросить мимолетный взгляд на столик, накрытый Дианой, как мигом рухнула надежда подкрепиться: хрустальная вазочка с дешевым лимонным печеньем, купленным в магазине, и три фарфоровые чашки — вот и вся сервировка. „Если кто-нибудь еще хоть раз заикнется при мне о пресловутом московском хлебосольстве, я набью ему морду'', — злобно подумал Давид, с гипсовой улыбкой принимая из белых ручек Дианы дымящуюся чашку. Розалинда, между тем, коршуном набросилась на ящик с виноградом, с которого Диана успела содрать крышку. Она выхватила из него великолепную гроздь и принялась жадно совать в рот крупные янтарные ягоды, затуманенные легким купоросным налетом.

— Ах, какая прелесть! — причмокивая языком и покачивая головой, восторгалась она. — Какой аромат, какой вкус! До чего ж счастливые люди вы, живущие в виноградном краю!

„Но ты, ведьма, предпочитаешь жить здесь, в столице, — кипел голодный Давид, меланхолично разжевывая твердую печенушку, напоминавшую спрессованный песок. И, наблюдая за тем, как отравленные виноградины одна за другой исчезают в ее рту, злорадствовал: — Ешь, ешь, милая, ешь на здоровье, нет лучшего слабительного, чем добрая порция медного купороса''.

В гостиной зазвонил телефон. Диана вышла и через две секунды кликнула мать. Извинившись, та помчалась к аппарату, Диана — за ней. Давид остался один. У него снова появилась возможность немного поразмыслить, и эту возможность он использовал на оплакивание судьбы покойного Константина Яковлевича. Сначала он пожалел его чисто по-мужски — за то, что столько лет ему, бедняге, пришлось прожить под каблуком своей второй супруги — потакать ее капризам, терпеть ее несносную болтовню, придирки, сцены ревности... Небось, она и в партком, и в профком бегала с жалобами на его амурные похождения, хотя при случае сама не прочь была украсить рожками его лысый черепок... Впрочем, быть может, на самом деле все обстояло несколько иначе. Возможно, он, уже старичок, как раз и нуждался в деспоте-жене, способной отвадить его от курения, обильных возлияний, случайных связей, приучить к диете, к строгому распорядку дня... Но в таком случае знаменитый киношник просто-напросто превратился в половую тряпку — в прямом и переносном смысле!

Затем Давид пожалел покойного оператора как художник художника. Да, он был дьявольски талантлив, этот Константин Яковлевич. Чертовски одарен. Сатанински плодовит. А итог-то его сорокалетней деятельности оказался плачевным, ибо служил он грубо размалеванному идолу, а не истинному богу искусства. Всю жизнь он только тем и занимался, что талантливо использовал свою одаренность, один за другим плодя фильмы, где отнюдь не святая ложь выдавалась за высокую правду. Шила в мешке не утаишь: его фильмы, казавшиеся тридцать, двадцать лет назад вершиной киноискусства, ныне в лучшем случае вызывают снисходительную ухмылку. Он шел по пути наименьшего сопротивления, но в искусстве это прямая дорога к краху. Шагнул было вначале на эту скользкую дорожку и Давид, да вовремя одумался. Что вовсе не гарантирует ему вознесения на светлые вершины...

* * *

Вошла Диана. Ее свежие щечки и распущенные волосы прервали прежнее течение мыслей Давида, направив их в новое русло. Но появление Розалинды не позволило ему построить некий воздушный замок, который уже вырисовывался в его воображении.

— Извините, Давид, — с места в карьер объявила вдова, — но мне необходимо ехать на кладбище. — Она призадумалась, потом ее осенило: — А кстати, почему бы вам не составить мне компанию? Вы бывали на Новодевичьем?

Последнее прибежище высокой советской партийной и государственной элиты. Давид много о нем слышал, но ни разу не видел. Искушение было велико, хотя голод и заявлял о себе все сильнее. Он нерешительно протянул:

— Но это займет много времени...

Розалинда беспечно возразила:

— Нисколечко. У меня ж машина.

Давид слегка подскочил:

— У вас есть машина?

— Ну да.

Давид чуть было не матюкнулся. Старая карга! Имея машину, не могла подъехать к гостинице, заставила его пол-Москвы протопать с треклятым ящиком Мойсея. Он подавил в себе вспышку гнева и сказал:

— В таком случае я с удовольствием.

Минут через двадцать в новенькой „Волге" со скачущим оленем на радиаторе они вдвоем лихо выкатили со двора на улицу. Вдова свое дело знала туго, вела машину с мастерством заправского таксиста. И вдову, видать, здесь хорошо знали: на протяжении ближайшего километра два постовых милиционера, издали завидев ее серую „Волгу", почтительно взяли под козырек, получив взамен по одной очаровательной улыбке. Крутя руль, орудуя рычагами, она одновременно без умолку тараторила, обращая внимание Давида на все встречные достопримечательности столицы. К счастью, вскоре в машину подсели два старичка, поджидавших ее на каком-то углу, — представители Союза кинематографистов, как вскоре сообразил Давид. Теперь Розалинда занялась деловой беседой с ними, и Давид, облегченно вздохнув, ушел в себя. Он вспомнил смешную мыслишку, втемяшившуюся в голову по возвращении миленькой Дианы на кухню, и, ухмыльнувшись, стал всерьез ее развивать. Итак, на какой из двух женщин жениться: на матери или на дочке? У Дианы все преимущества молодости — свежесть, очарование, будущее, озаренное лучами славы покойного отца и подкрепленное весомым дипломом ВГИКа. Но кое-что говорило и против нее. Несомненно, она — избалованная девчонка, привыкшая жить на всем готовом; мастерства, славы своего папаши она, конечно же, никогда не достигнет, в лучшем случае станет посредственным режиссером-документалистом; в довершение всего вместе с нею и с комнатой в квартире покойного мастера кино ее будущий муж, то есть он, Давид, приобретет бесплатное приложение в виде тещи по имени Розалинда, которая присвоит себе право следить даже за половой жизнью дочери с таким подозрительным субъектом, как „этот кишиневский деятель". Давида слегка передернуло, и он быстро

перешел к оценке второго варианта. Как теща Розалинда, разумеется, — сочетание всех мыслимых стихийных бедствий: пожара, наводнения, землетрясения, урагана, полярной вьюги. Для несчастного зятя — это мгновенная моральная и медленная физическая гибель. А для мужа? Для мужа Розалинды? О-о, для мужа те же ее качества могут обернуться бесценным сокровищем, понятно, при условии, что он сумеет взнуздать и оседлать вдову, что прежде всего придется еженощно проделывать в родной ее стихии — постели. У нее прекрасная квартира, машина, сбережения. Но это все — пыль, дым! Ублаготворенная на ложе любви, благодарная Розалинда вознесет милого муженька на не снившиеся ему вершины. Ураганом ворвется в Центральный Комитет партии, захлестнет сидящих там бюрократов потоками краснобайства, огнедышащей лавой испепелит несговорчивых, упорствующих, перетрясет до основания души и планы издательских чинов, а своего добьется: книги друга ее сердечного издаваться будут, причем фантастическими тиражами, и положительные рецензии на них появятся в центральных газетах, и гонорары, премии посыпятся, как из рога изобилия... Она лет на пять старше его, болтовня ее невыносима, но, Боже мой, какое это имеет значение, если будет достигнута главная цель жизни!.. Так что, долой дочку! Даешь маму!

Машина подкатила к кладбищенским воротам. Все вышли. Затем — старички с вдовой чуть впереди, на ходу о чем-то споря, Давид сзади — двинулись по вылизанным дорожкам города мертвых. На ходу Давид приглядывался к бесчисленным памятникам. Их мраморно-гранитное великолепие, облагороженное мыслью, чувством, мастерством лучших в стране скульпторов, архитекторов, каменотесов, шлифовщиков, поражало воображение провинциала, привыкшего к бесхитростным бетонным обелискам, железным или каменным крестам.

Кто сказал, что смерть уравнивает людей? Там, под землей, может, они и равны, но здесь, на поверхности, — какое вопиющее неравноправие, с зеркальной четкостью отражающее градацию должностей и званий, чинов и рангов, без коих не может обойтись даже самое демократическое в мире общество. Об этом возглашали многопудовые глыбы белого и серого мрамора, черного и серого гранита, поставленные над могилами, казалось, с единственной целью — в случае воскресения из мертвых не дать возможности покойникам выбраться из-под земли на свет Божий.

Прах самых-самых-самых удостаивался великой чести покоиться в земле или в кремлевской стене позади главной могилы страны — мавзолея Ленина. На Новодевичьем хоро-

нили только самых-самых, и их роль, значение, вес в партии и государстве скрупулезно обозначались материалом, размерами и весом надмогильных глыб, мастерством их изготовления, силой символики увенчивающих глыбы скульптур, золотом надписей...

Розалинда и двое старичков остановились. Давид к ним приблизился и увидел забетонированную площадку, прислоненную к ней плиту из серого гранита и штабелек цветных плиток. Он залюбовался плитой: на ней, слева, был высечен чрезвычайно выразительный профиль Константина Яковлевича, внизу стояли годы его жизни, а справа — фамилия, имя и отчество покойного. Именно лаконизмом, простотой решения выгодно отличалась эта плита от множества других — пышных, вычурных, тяжеловесных монументов, подступавших со всех сторон почти вплотную к могиле почившего киношника. Розалинда заметила впечатление, произведенное плитой на гостя, и с нескрываемым тщеславием не замедлила спросить:

— Вам нравится, Давид?

— О, да! — искренне сорвалось с его губ.

— Работа Кербеля, — гордо объявила она, после чего забралась на бетонную площадку и, мечась по ней из конца в конец, стала, будто полководец с командной высотки, давать четкие указания старичкам, один из которых все ее слова аккуратно заносил в блокнотик:

— Вот здесь будет стоять министр. Рядом с ним — председатель Союза. Делегация Центрального Комитета, конечно, вон там, на самом свободном пятачке. За председателем Союза поместятся всякие там заместители, почетные гости... Вот тут, по бокам, встанут директора студий, режиссеры, операторы, друзья и товарищи. Ораторам придется выступать вот с этого вот места... Девочки с венками пройдут по тропинке...

Она вдруг умолкла на полуслове, чуть побледнела и одну руку приложила к животу. Затем, сойдя с площадки, пробормотала:

— Извините, я вынуждена покинуть вас на несколько минут.

Один из старичков участливо спросил:

— Вам плохо, дорогая? Может, кликнуть „скорую''?

— Нет-нет, я сейчас буду в порядке. Ждите меня, — ответила вдова и торопливо побежала в сторону выхода.

Старички, покачивая мудрыми головами, жалостливо глядели ей вслед. Тот, что с блокнотом, изрек:

— Бедняжка, она до сих пор сокрушается о покойном. Сердечко, видать, слабенькое.

Давид внезапно догадался, в чем дело, и содрогнулся от внутреннего хохота: сработал медный купорос. Чтоб ничем не выдать своего торжества, он воспользовался создавшейся паузой и пошел побродить по кладбищу. И тут, на Новодевичьем, он впервые понял азы дотоле ему неизвестного механизма похорон великих мира сего. Теперь он знал: всех этих министров, генералов, секретарей обкомов, маститых писателей, режиссеров, актеров хоронят за государственный счет. Не родные, получившие в наследство загородные дачи, квартиры, крупные суммы денег, авторские права, драгоценности, плюс к тому еще и добрые персональные пенсии, а та же казна оплачивает и все расходы по изготовлению и установке надмогильных сооружений. Оно не скупится, наше рабоче-крестьянское государство; пускай рабочие и крестьяне воочию видят, куда идут их кровные денежки, как этими денежками родина-мать расплачивается с теми, кто верно служил рабочим и крестьянам; пусть каждый школьник проникнется сознанием, что и он может подняться на верхние ступени иерархической лестницы социалистического общества, где нет эксплуататоров и эксплуатируемых, и после смерти тоже удостоиться величайшей чести возлежать под одним из монументальных сооружений этого сказочного мраморно-гранитного города...

Давид стал внимательней присматриваться к надписям. Большинство из них ничего ему не говорило. Но попадались и знакомые имена. Вот этот генерал. Он прославился тем, что в самом начале войны вместе со всей своей армией угодил в немецкий „котел". Сам-то он с группой придурков выбрался из пекла, но пятьдесят тысяч бойцов угодили в плен и добрая половина из них погибла в концлагерях. Уцелевшим, после освобождения, предоставили возможность в течение целых десяти лет сравнивать советские лагеря с фашистскими. Там, на Севере, Давид с ними встречался...

Вот министр. Беспрекословно следуя указаниям партии, правительства и лично товарища Сталина, он в начале тридцатых столь славно потрудился на ниве колхозного строительства, что разразился страшный голод, унесший миллионы жизней... Нет, наказания он не понес, именно потому, что следовал указаниям. Потом его заменили, услали в глубинку, но он выплыл, что-то такое еще успел натворить, и вот — почет и уважение...

Ну а этого писателя, ныне забытого не менее основательно, чем его произведения, в свое время читал чуть ли не весь мир, дивившийся неслыханному расцвету колхозов и совхозов и счастливой жизни крестьян на обобществленных землях. Говорят, именно он подсказал Светочу коммунизма крыла-

тую фразу: „Жить стало лучше, жить стало веселее" как раз в то время, когда люди мерли, как мухи, в дичавших городах и селах.

На отшибе, оттесненные в сторонку потомками, — ряды памятников, сохранившихся с дореволюционных времен. Протоиерей... Тайный советник... Купец первой гильдии... Экие анахронизмы! Невелики по размерам, незамысловаты они: скорбящий мраморный ангелочек, каменный ствол дерева с обрубленными ветвями... „Эге, — с горькой усмешкой отметил Давид, — куда им, проклятым крепостникам и буржуям, до нас! Кишка тонка. Не народ же их хоронил, в самом деле".

Далее опять следовал квартал, сияющий великолепием гранитных мавзолеев, а там, почти незаметный, неловко притулившийся на обочине, один из самых скромных здесь монументов. С внутренним трепетом, не веря своим глазам, Давид скользнул глазами по надписи и почтительно наклонил голову: под низеньким, простеньким обелиском покоился прах Антона Павловича Чехова.

Безмолвно созерцая могилу предка, Давид вспомнил недавнюю поездку в Грузию. Из Тбилиси друг любезный Ираклий Тактакишвили на своей машине прокатил его по окрестностям грузинской столицы. Заехали, понятно, в древнюю столицу Мцхету. Светицховели — не самый старый христианский храм в Закавказье — XI или XII век, ровесник Собора Парижской богоматери. Менее внушительный, более строгий, не столь известный, как французский собрат, стоит он за массивной крепостной стеной, и только многочисленные туристы да немногочисленные верующие нарушают его уединенность. Вслед за Ираклием Давид ступил в мрачноватое здание. Под сводами гулко отдавались их шаги. На одной из колонн висела большая икона девы Марии. Обыкновенная, наверное, не очень древняя икона. Однако, встав по совету друга на определенное место, Давид обнаружил, что грузинская мадонна... подмигивает. Только с этого места и ни с какого другого было видно ее игривое настроение.

Полюбовавшись необыкновенным эффектом, Давид двинулся к алтарю, старательно обходя по дороге вделанные прямо в церковный пол плитки с выгравированными на них именами грузинских князей и княгинь, пожелавших быть захороненными здесь. Ираклий заметил маневры друга и кротко взял его за локоть:

— Не обходи могилы, генацвале, ступай прямо по плитам...

— Но это же профанация...

— Не бойся, генацвале, профанации нет. Они для того и велели похоронить себя здесь, чтоб и после смерти быть со

своим народом. Они писали в завещании, они просили священников: пусть люди ходят по нашим костям, тогда, даже мертвые, мы будем общаться с ними... В Грузии это знает каждый ребенок, генацвале. Ну, давай, ступи вот сюда, на эту надпись...

Давид ступил, и невольные слезы навернулись на его глаза.

* * *

Вдова, облегчившись, снова топала каблучками черных осенних туфель по бетонной площадке над могилой мужа и продолжала давать руководящие указания смиренно слушавшим ее старикам. Увидев приближавшегося Давида, она обратилась к нему:

— Вам действительно нравится мой памятник?

Без прежнего энтузиазма он утвердительно кивнул:

— Памятник прекрасен.

Первые капельки дождя заставили всех заторопиться. Двинулись к выходу. Голод все сильнее поджимал брюхо Давида. Теперь он мечтал об одном: побыстрее добраться до благополучного Степанова дома, где ему наверняка поднесут что-то рангом не ниже бутербродов с колбасой.

— Вы подбросите меня на Можайское шоссе? — обратился он к Розалинде?

Та повернула к нему явно растерянное лицо.

— Как, вы не поедете к нам? Я хотела угостить вас обедом.

По аналогии с завтраком Давид вообразил себе ее обед и мягко, но решительно отказался.

— У меня важные дела. Мне очень жаль, но я и так много времени потерял.

— Но мы еще увидимся, надеюсь? — ее молодые глаза блестели призывно, многообещающе.

— О, разумеется! — твердо пообещал он, слишком твердо для такой малой малости. — Мне было очень приятно познакомиться, к тому же я благодарен вам за любопытную экскурсию...

Она прервала его, в третий раз спросив:

— А ведь правда, мой памятник лучше других?

И тут Давиду изменило чувство юмора. Несколько резковато он ответил:

— Он лучше! В тысячу раз лучше, черт возьми!

Счастливая улыбка озарила увядшее Розалиндино лицо, и только теперь Давид подумал, что, в сущности, она стареющая, несчастная женщина, у которой в жизни почти ничего не остается. Но поскольку лично он не был в том виноват, угрызения совести в нем не пробудились.

Вскоре вдова высадила старичков и повезла Давида по указанному им адресу. И в начале четвертого старые друзья обнялись в просторной прихожей, перед овальным зеркалом, отразившем, но не увековечившем сердечность их встречи.

— Дай же я на тебя погляжу, — отступил на шаг простолицый, белесоголовый Степан. — Да ты нисколько не изменился, бродяга. Молодец. А я, вот, распух, видишь?

Они были погодками. И в лагерь оба сели в сорок седьмом. Там и составили неразлучный дуэт, переросший вскоре в трио, когда к ним присоединился Отец, сиделец с сорок второго, поэт и ваятель Андрей. Вкалывали в одной бригаде, спали на смежных вагонках, рядышком ели в столовке, разом вышли на волю.

— Когда мы виделись в последний раз? — спросил Степан.

— Два года тому назад. Кстати, а где Кимуля?

— В гастроном потопала. Ну, раздевайся, раздевайся. Дай я тебе подсоблю.

Кима, Кимуля для друзей, была женой Степана. Миниатюрная, тощая женщина со злой мордочкой хорька, с жидкими волосиками и ножками-спичками, она обладала всей полнотой власти над слабовольным, добродушным, незлобивым мужем. В свое время, открыв в нем искру Божью, она оказала на него неоспоримое положительное влияние: вырвала из трясины писательской богемы, отвадила от бутылки, отучила от лагерного мата, посадила за письменный стол и бдительно следила за тем, чтобы он трудился в поте лица. Но она же и продиктовала ему направление творчества, и тут кончалась ее роль доброй феи. По своим литературным вкусам, если о таковых вообще можно говорить применительно к ней, по честолюбивым устремлениям Кимуля напоминала Тамарку. Ничто не могло поколебать ее твердого убеждения, что из узко личной писательской искры Божьей должно возгореться пламя всенародного признания и что признание это, в свой черед, — родник, из которого пригоршнями можно черпать золотые червонцы. Так Степан постепенно превратился в одного из тех преуспевающих ремесленников, что выполняют так называемые социальные заказы. Чуть ли не ежегодно выходили его толстые книги с тарабарскими заголовками, дававшими полное представление о содержании романов: „Свет над Москвой-рекой", „Ясные дали", „Впередсмотрящие", „Ключи к счастью". Своей крохотной, но стальной ручкой Кимуля вела супруга по столбовой дороге к высшей литературной награде — государственной премии, и он имел все шансы ее получить, ибо в годы „ оттепели", опять же благодаря жене, не поддался искушению, подобно многим другим литераторам, не запятнал свою репутацию ни устным

осуждением прошлого, ни, тем более, письменным разоблачением его. Один грешок числился за ним: годы, проведенные за колючей проволокой. Кимуля отлично знала, что Степан, подобно миллионам другим, — безвинно пострадавший, что подтверждала и справка о реабилитации. Но знала она и другое: невинные виновны в своей невинности. Когда-нибудь это будет им инкриминировано в стране, где все виновны во всем, включая невинность, а обвинительным документом как раз и послужит тогда справка о реабилитации — доказательство причастности к сонму без вины виноватых. Умная бестия, она по этой причине ненавидела всех и все, что хоть в малейшей степени напоминало о том несчастливом периоде жизни ее Степули, и отчаянно старалась оградить его от любых реминисценций, связанных с теми позорными годами. А поскольку Андрей и Давид имели непосредственное отношение к тому периоду, ее неприязнь к ним становилась все более обнаженной. Года три назад ей удалось смертельно перессорить мужа с Андреем...

Обнявшись, они вошли в салон, обставленный с кричащей безвкусицей: дорогой ковер на полу, старинный русский буфет, ломившийся от избытка фарфора и хрусталя, телевизор новейшей модели, кресла и софа черт знает чьего производства, но тоже весьма старинные и солидные, даже кованый сундук в углу, времен, наверное, Ивана Калиты... Всю эту рухлядь скрашивал обеденный стол, полный всевозможных яств. Увидев жирную атлантическую сельдь, заправленную луком и маслинами, бутерброды с красной икрой, маринованные грибки, Давид в полуобморочном состоянии сглотнул накопившуюся во рту слюну.

— Вы ждете гостей? — радостно поинтересовался он.

Степан слегка покраснел, скривил тонкие губы и махнул ладонью.

— Кимулины штучки, — объяснил он. — Дура-баба вбила себе в голову, что надо раз в месяц устраивать „среды''. Ну, как бывало в старину в барских домах.

— Гениальная идея, — не покривив душой, одобрил Давид.

Он подошел к столу и осторожно, чтоб не нарушить архитектонику огромного блюда с бутербродами, взял один, сдвинув на опустевшее место соседние — сокрытия следов преступления ради. Набив рот, прошамкал:

— А зачем?

— Что „зачем''? — не понял Степан.

— „Среды'' зачем?

— Ах, мура, конечно. Кимуля считает, что надо приглашать полезных людей, обхаживать их... Мерзость, да разве ее переубедишь? Ты ешь, ешь, бродяга, не стесняйся. Мо-

жет, рюмашку пропустим, а?

— Нет, спасибо, — отказался Давид, накалывая на вилку кусок селедки и беря ломоть хлеба. — Пошли отсюда, пока не нагрянула Кимуля.

— Да чего ты дрейфишь? Что нам Кимуля? Да я ей... Ешь, сколько влезет.

Давид заморил червячка и потащил Степана в его кабинет.

— Вот здесь и поговорим, — сказал он, отрыгнув и с облегчением опустился в покойное кресло. — Как дела?

И снова Степан недовольно сморщил свое простодушное личико Ивана-дурачка:

— Так себе. Хвастать нечем. Но ничего, выпущу еще одну-две книги, Бог даст получу эту проклятую премию и тогда возьмусь за настоящее дело. Андрей не верит в меня, но ты, ты-то, надеюсь, понимаешь?

Старая песенка. Меньше всего верила в нее Кимуля, прекрасно изучившая силу его и своей воли. Крайне левую позицию в этом вопросе, послужившем непосредственной причиной его разрыва с другом, занимал Андрей. Давид стоял на центристских позициях. Он считал, что в принципе человек склонен к эволюции и способен удивить общество даже мировоззренческим взрывом. Но для этого необходимы по крайней мере две предпосылки: соответствующий человек и соответствующее общество. Степан — это Степан, он не решится на бунт, пока находится в Кимулином ярме. Да и слишком глубоко увяз он в болоте высоких гонораров, удобной, безмятежной жизни, дутой славы, взросшей на той благодатной ниве, которую один поэт, имея в виду именно Степана, высмеял в ядовитом четверостишии:

Баба лезет на полати,
Гусь гуляет на лугу.
На колхозную темати-
Ку я больше не могу.

А Степан продолжал канючить:

— Я знаю, ты мне не веришь. А Отец — тот даже послал меня подальше. Ничего вы оба не понимаете. Чтоб пробиться с чем-либо стоящим, сперва надо сделать себе имя. Тогда с тобой считаться будут, отмахнуться не дерзнут. Ты меня понимаешь?

— Понимаю.

— Одобряешь?

Тут Давиду пришлось схитрить. Он дипломатично ушел от прямого ответа на поставленный вопрос и молвил так:

— Я могу лишь одно сказать: хорошо, что ты есть. Такой,

какой есть. Не будь тебя в этой роли, был бы другой, злее, подлее. Так не лучше ли, чтоб был ты? Пиши на здоровье, что пишется, а дальше будет видно. Лично мне хочется в тебя верить, потому как есть она в тебе, эта сермяжная русская честность...

Ответ пришелся Степану по душе. Он хлопнул Давида по плечу и с чувством произнес:

— Я всегда говорил, что ты настоящий друг, Давидка. Спасибо тебе за веру, за правду... Но что это я все о себе? Как ты? Где остановился?

— В „Будапеште".

— О, шикарная гостиница. Что, брат, разбогател, бродяга?

Давид нервно расхохотался.

— Так разбогател, что едва с голоду не околел, пока до тебя дотащился.

Степан, деликатный, как всегда, слегка замялся, прежде чем решился просить друга о великом одолжении:

— Так, может, тебе подкинуть чуток?

Пришел черед Давида замяться. Проделал он это с изрядной долей иезуитского лицемерия:

— Я ж тебе и так задолжал...

— Ну что за счеты! — возмутился Степан. — Или мы больше не друзья? Бродяга ты, вот кто! Возьми из заначки сколько надо.

Все еще разыгрывая невинность, Давид поднялся и подошел к заветной полке. Встал на цыпочки, достал с нее знакомый том „Краткого курса истории ВКП/б/" 1951-го года издания и, перелистав его, в удивлении присвистнул:

— Ого! Четвертая глава стала куда содержательней! В прошлый раз, помнится, здесь были одни четвертные, а теперь...

— Бери быстрее, — в панике прошипел Степан, — Кимуля пришла.

Давид не заставил себя просить, выхватил из старого учебника три сотенные, долю секунды помедлил, взял еще две, деньги поспешно сунул во внутренний карман пиджака, а книгу — обратно на полку. Едва он успел плюхнуться в кресло, как в двери появилось востренькое Кимулино личико.

— Давид? Как ты здесь очутился?

Вопрос прозвучал крайне бестактно, вроде как: „Какого черта ты пришел", но Давид постарался не подать вида, что задет за живое. Он поднялся и преувеличенно вежливо поклонился Кимуле.

— Здравствуй, Кима. Вот, очутился в Москве и решил заглянуть на минутку к старым друзьям. Я же знаю, ты бы мне не простила, если б я этого не сделал... Ну вот, повидал вас,

убедился, что вы в порядке, и с сожалением удаляюсь. Дела!

И здесь не выдержал Степан. В ярости от Кимулиной выходки, он схватил Давида за локоть и дрожащим от негодования голосом объявил:

— Никуда ты не уйдешь! Останешься здесь, я познакомлю тебя с Н. и Р. Будут и другие ребята. Выпьем, закусим, потрепимся, а кому не нравится...

Он выразительно взглянул на Кимулю. Та была достаточно умна, чтобы в мелочах мужу не перечить. Она поддержала его, окинув Давида неприязненным взглядом хорьковых глазок:

— Ну конечно оставайся, Давид. Гвоздь сегодняшней программы — Н. Он должен тебе понравиться.

Давид глянул на часы. До заветного свидания оставалось слишком много времени. Он кивнул в знак согласия.

* * *

Люстра в салоне сверкала во все свои пять тарелок. Под низким потолком плыли сизые облака табачного дыма. Стол был сервирован „а ля фуршетт'', поэтому, выпив в общем кругу по первой „за здоровье и процветание милых хозяев гостеприимного дома'', писатели, вооружившись не рюмками — бокалами с коньяком или водкой, разбились на группки. В центре салона, под люстрой, сияла лысина „гвоздя программы'', дважды лауреата государственной премии Н. Он оказался видным мужчиной лет шестидесяти с волевым рабоче-крестьянским лицом, широкими плечами и солидным брюшком. Полный сознания собственной значимости, он разглагольствовал в кружке из четырех писателей помоложе, почтительно внимавших каждому его слову. Разумеется, один из четырех был Степан, часто кивавший белесой головой в знак безусловного согласия со всеми мудрыми изречениями маэстро. Изредка Н. делал паузу, чтобы отхлебнуть из бокала, и вся четверка терпеливо дожидалась, пока он проглотит коньяк и по-мужицки теранет губы тыльной стороной ладони. Он прославился романами на производственные темы, стало быть, не мог считать конкурентом „колхозника'' Степана. На этом-то, видимо, и строился тонкий расчет Кимули, наметившей его на роль главного покровителя Степана в Союзе писателей.

Давид вознамерился присоединиться к этой группе. Положив себе на тарелочку два бутерброда с икрицей, он встал позади Степана. Его слух тотчас же резанула пулеметная очередь тарабарских словечек:

— Социалистический реализм — это рацио и интуицио нашего времени, и тот, кто этого не понимает...

Он испуганно отпрянул и очутился рядом с известным критиком Р. Плюгавенький очкарик с умным лисьим личиком бессменного школьного отличника в свое время активно разоблачал всех, кого следовало разоблачать: Зощенко, Ахматову, писателей-космополитов. Все это знали и за глаза называли его не иначе как Иудой или Гапоном. Но статьи его по-прежнему помещали толстые журналы и центральные газеты, что свидетельствовало о признании его былых заслуг, с одной стороны, и, наверное, об авансировании таких же услуг в будущем, с другой. Пишущая братия собачьим нюхом своим чуяла конъюнктуру и с глазу на глаз выказывала ему подленькое, трусливое почтение. Когда Давид очутился рядом, Р., шепелявя, как раз втолковывал двум своим слушателям:

— С точки зрения литературного процесса, разоблачение культа личности — безусловно своевременное, крайне важное мероприятие — нанесло чувствительный удар...

Давид судорожно глотнул воздух и беспомощно оглянулся. У двери на балкон стояла третья группка, к ней как раз подошла с подносом разряженная в пух и прах, сияющая амфитрионской улыбкой, благоухающая парижскими духами Кимуля. В этот момент раздался грубый басок:

— Эй, старик!

Давид обернулся. В кресле у журнального столика полувозлежал неказистый, очень немолодой мужичок с жидкой рыжей бороденкой, облезлым черепом, усыпанным желтыми пятнами, и милыми, очень пьяненькими свиными глазками. На стеклянном столике перед ним стояла наполовину опорожненная бутылка водки и вместительный, полностью опорожненный хрустальный бокал. Рядом с креслом к стене была прислонена зачехленная гитара.

Давид нерешительно шагнул к незнакомцу, но услышав простой человеческий вопрос — „Ты кто?", смелее подошел и объяснил свой статус в этом доме.

— Степкин друг? — искренне удивился собеседник. — Разве есть еще у Степки друзья? Откуда ты его знаешь, старик?

— Вместе сиживали, — брякнул Давид и тотчас же пожалел о сказанном, вспомнив, как старалась бедная Кимуля, да и Степан тоже, вытравить из самой памяти людской позорное лагерное прошлое. Рыжий в экстазе вскинул брови:

— Как! Степан сидел?

Давиду оставалось лишь неохотно кивнуть, после чего последовала такая реплика:

— Вот уж чего не подумаешь, на него глядючи. — Он покачал лысиной, потом рукой дал отмашку каким-то своим сокровенным мыслям — вероятно, подобным тем, что привели

Андрея к разрыву со старым другом. И переменил пластинку:

— И все-таки, вижу я, мы оба здесь чужаки. Неприкаянные души. Верно говорю?

Давид пожал плечами.

— Пожалуй.

— Тогда садись и выпей, старик.

Подтащив стул, Давид присел. Внимательней приглядевшись к мужичку, заметил дьявольский блеск свиных глазок и понял, что он хитер и умен.

— На вот, отхлебни, — протянул ему тот свой бокал, в который выбулькнул всю водку из бутылки.

Давид отпил три глотка и вернул бокал собеседнику, который к нему так страстно приложился, что через пять секунд сосуд оказался порожним.

— Плесни еще, — требовательно обратился странный мужичок к Давиду.

Давид поднялся, воровато зыркнул на Кимулю, занятую задушевной беседой с Н., и со стола с закусками стащил непочатую бутылку „Столичной". Пустую, снова оглянувшись, препохабно пустил под журнальный столик. Как только в хрустальном бокале был восстановлен приемлемый уровень жидкости, мужичок с бороденкой, плотоядно ухмыльнувшись, отпил глоток и благосклонно подмигнул Давиду.

— Поэт?

— Прозаик.

— А я поэт.

— Имя?

— Ты меня знать не можешь. Меня мало кто знает, а мои стихи популярнее пушкинских.

— Заливаешь, старик, — усмехнулся Давид.

— Не заливаю, старик.

— Объясни.

— На! Частушечник я. Надеюсь, этим сказано все?

Давид с интересом поглядел на рыжего. Живого частушечника ему в жизни не доводилось встречать. Тот, между тем, успел наполовину опорожнить бокал. Он вновь предложил его Давиду со словами:

— Ты как здесь?

— Случайно. Проездом. Зашел навестить, а тут пир горой.

— И как тебе наша братия? Сплошное дерьмо, да?

— Я никого не знаю, но Н. и Р. меня просто потрясли. Этакие бармалеи! А ты как здесь, старик?

— Официально, старик. Призван развлекать высоких гостей в роли скомороха.

— И как тебе такая роль, по душе?

— Роль как роль. Не лучше и не хуже других. Я обсмеиваю

их, они дундуки, обхохатываются. Старо, как мир.

— И зачем приходишь?

Рыжий ухмыльнулся и дернул плечами, выражая тем высшее удивление наивностью собеседника.

— Какой же русский откажется от дармовой выпивки?

Тогда Давид спросил, плутовато прищурясь:

— А просьбам новых друзей внимаешь, старик?

Последовал ответный хитрый прищур.

— Выдать чтой-то, да?

Он отхлебнул еще глоток водки, поставил бокал на столик, заграбастал гитару и, расчехляя ее, поинтересовался:

— Тебе какие по душе, старик, — блатные, бытовые, политические?

— Без разницы, старик.

— Ну тогда придвинься и слушай. Для начала возьми вот эти, сработанные на старте творческого пути.

Легонько ударив по струнам, он запел тоненьким, надрывным голоском, странно не вязавшимся с присущей ему басовитостью:

Все, что пить и жрать нам дали,
Подчистую подмели.
На пьянино мы насрали,
Надьке цыцки оборвали, —
Чудно время провели!

Давид всплеснул руками и расхохотался:

— Гениально! Особенно заключительная строка.

— Эй, не перебивай, старик, — наморщил лоб поэт. — Я этого не люблю. Слушай дальше:

Вы со мною не шутите,
Нонче я богатая:
У меня большие титьки
И п..а лохматая.

Не удержавшись, Давид прыснул в кулак. Исполнитель, сохраняя полную невозмутимость, метнул в него быстрый взгляд:

— Вот тебе недавняя двухстрофная:

В „измах" сквозь любые призмы
Нонче фиг резон найдешь.
„Измы" — это катаклизмы,
Голод, кровь, разруха, ложь.
Но имеются два „изьма",

Без которых жизнь не в жизнь:
Очистительная клизьма
И бодрящий онанизьм.

— А вот еще парочка свеженьких политических:

Ничего, что в нашей жопе
Паутину сплел паук.
Мы навяжем всей Европе
Полный курс сельхознаук.

И, внезапно изменив ритм, взвыл:

Д-никого я не боюсь,
Д-я на Фурцевой женюсь.
Д-буду щупать сиськи я
Самые марксистския.

— Все! — объявил он внезапно, прислоняя гитару к стене. — С тебя хватит.

— Браво! — воскликнул очарованный Давид. — Ты гений, старик! Но ты, конечно, пишешь и настоящие стихи?

Багровая физиономия собеседника вдруг стала злой-презлой, лоб наморщился, губы скривились в презрительной усмешке. Он сказал:

— Старик, а я-то думал — ты умен. О каких таких настоящих стихах изволишь лепетать? „Я помню чудное мгновенье?", „Не искушай меня без нужды"? Так все это сказано сто лет назад, и с тех пор в тысячах вариаций повторялось миллион раз. И не смешно ли сегодня истекать любовными соками-строками, как сучка в период течки? Идет к концу двадцатый век, а с ним отмирают опошленные, оболганные понятия. Наступает эра новой поэзии, старик, открытой, как кровоточащая рана, крепкой, беспощадной, мятежной, как наш добрый русский мат, и я, я — один из ее провозвестников...

Давид подумал и сказал:

— Да, старик, ты прав. Прости, я сморозил чушь.

Он оглянулся. В дымном Кимулином литературном салоне творилось что-то невообразимое. Великий Н. бездыханно возлежал на софе, рядышком сидела озабоченная Кимуля и благоговейно обмахивала его холерическое лицо складным японским веером. Перепившиеся, но еще стоявшие на ногах братья-писатели галдели, как рыночные зазывалы. Слушателей тут не было — одни лишь ораторы, и до ушей Давида долетали отрывки патетических фраз:

— Двое гениев на Руси — ты да я...

— Будем создавать настоящую литературу...

— Шолохов — говно, вот ты...

— Почему ему — все, а мне — ничего?

Давид пожал руку новому знакомому и выскользнул в прихожую. Он сунулся было в туалет, чтоб всполоснуть пылавшее лицо, но там, над унитазом, широко расставив ноги, стоял, содрогаясь от рвотных судорог, великий Р. Блевотина вперемешку с критической желчью била из его разинутой пасти, как вода из пожарного шланга.

Быстренько одевшись, Давид удалился по-английски. Уже на улице, под мелким дождем, он подумал, что имя талантливого частушечника все-таки стоило узнать.

* * *

В промозглой московской сырости легкий хмель улетучился в десять минут. На пути до метро вечерний город провожал его сияющими улыбками желтых и белых огней витрин, реклам, уличных фонарей, тысяч окон. Выйдя на поверхность из подземелья „Смоленской", он без труда отыскал дом в слабо освещенном Плотниковском переулке и с внезапно заколотившимся сердцем поднялся по лестнице. И вот заветная дверь отворяется, и милая женщина — та же и вместе с тем словно подмененная — приглашает его войти. В длинном и узком коридоре было темновато, но Давид, войдя и раздеваясь, все же быстренько установил причину перемены: вместо знакомой вавилонской башни Наташину голову украшала скромненькая, „под мальчика" прическа.

— Ты что, подстриглась? — в изумлении спросил он, и только тогда поймал себя на том, что без брудершафта перешел на „ты".

Наташа весело рассмеялась и, так же непринужденно, сама тоже затыкала:

— Да ты что? Неужто не заметил, что на мне был шиньон!

— Н-нет, — растерянно и разочарованно промямлил Давид. — Я вообще доверчивый, все принимаю за чистую монету. — Он помолчал и добавил: — И все-таки: так умирает романтика.

Ее вопрос прозвучал кокетливо-озабоченно, даже испуганно:

— С шиньоном я выглядела лучше?

Давид успел повесить на вешалку пальто и шляпу. Он привлек ее к себе и поцеловал в лоб.

— Пожалуй. Но и без него ты чудесная.

Она схватила его за руку и потащила за собой к двери за древним настенным телефонным аппаратом. В этот миг из-за

поворота, ведущего, вероятно, на кухню, вынырнула старушка в очках. Давид успел заметить увеличенные стеклами очков ласковые глаза старушки и две сеточки добрых морщинок, расходившихся от уголков глаз к вискам. Он вежливо наклонил голову:

— Здравствуйте.

— Добро пожаловать, молодой человек, — пропела старушка, приветливо ему улыбнувшись.

Едва захлопнулась за ними дверь комнаты, Наташа прямо там, у порога, обеими руками обвила его шею и всем телом прижалась к нему. Целуя ее в губы, он, вместе с запахом и вкусом дикого меда, ощутил горькую солоноватость морской воды и, слегка отстранив ее, удивился:

— Ты что, голуба?

Она старательно прятала от него плавающие в слезах агатовые глаза и ответила не сразу:

— Я боялась, ты не придешь...

Давид снова привлек ее к себе.

— Ну что ты! Как это я посмел бы не прийти?

— Не знаю. Может, потому что я невезучая.

— А я пришел досрочно. Я летел к тебе на звездолете.

— Правда?

Вместо ответа Давид впился губами в ее губы. Поцелуй длился так долго, что оба едва не задохнулись. И с этого момента между ними возникла какая-то неловкость. Оба знали, каким должен быть финал встречи, оба с замиранием о нем думали и оба испытывали какой-то трепетный страх перед ним, как перед возможной катастрофой, способной разрушить долго и любовно возводимый сказочный дворец. И говорили о чем угодно, только не о чувствах, обуревавших души, и, сойдясь взглядами, неловко отводили их, и, случайно или не случайно коснувшись друг друга пальцами, вздрагивали и отдергивали руки. И ни одному даже в голову не приходила простая мысль, что оба они не восемнадцатилетние, а взрослые, бывалые люди, что возраст, опыт обязывают их упростить, укоротить дорогу к заветной цели, а не терзаться сомнениями и страхами, присущими лишь первой в жизни любви. Впрочем, любовь — всегда первая.

Они долго сидели за праздничным столом. Давид не был голоден, но, чтоб не обидеть хозяйку, отведывал от каждого блюда и похваливал его. Обоим было что рассказать, обоим было что скрывать, поэтому разговор шел наощупь, далекий от той непосредственности, что присуща невинным молодым душам. На ее вопрос о специальности Давид, например, ответил так:

— Я географ, преподаю в школе.

И то была правда, но неполная. Неполной же она оказалась потому, что он ужасно не любил распространяться насчет своего писательского труда. В стране, где истинное писательство преследуется пуще колдовства при инквизиции, но где, тем не менее, писательское звание окружено сияющим ореолом подвижничества, объявлять себя писателем — значит уподобляться тем, кто черпает вдохновение в кровавых лужицах от следов ног сильных мира сего. Это претило Давиду. Кроме того, он выпустил всего две книжицы, к тому же не состоял членом Союза писателей, стало быть, имел все основания не афишировать дело своей жизни.

И из Наташиных слов он почерпнул немного: была замужем, муж погиб в пятьдесят втором, с тех пор живет одна в этой комнатушке, а работает в отделе писем отраслевой газеты. Когда Давид сказал доброе слово о старушке-соседке, она отозвалась очень живо:

— О да! Превосходная женщина. Воплощение доброты и чуткости. И муж у нее был прекрасный, да жаль помер лет семь назад. Дочка еще есть, чудо-женщина, только здесь она появляется редко, с мамашей не в ладах.

Давиду почудилась горькая ирония в Наташиных дифирамбах симпатичной старушке и ее семейству, но он не придал этому значения, зная понаслышке об отношениях соседей в коммуналках.

Беседа то разгоралась, то замирала, и когда возникали тягостные паузы, Давид, чтоб унять неистовую, мучительную нежность к женщине, сидевшей напротив, оглядывал ее скромное жилище. Его глаза перебегали от старенького письменного стола к книжному шкафу, от шкафа — к туалетному столику и тумбочке с „Рекордом", двустворчатому платяному шкафу и, наконец, — стыдливо, пугливо, — к тахте. Эта громоздкая, широкая, слегка продавленная тахта, осененная небольшим ковриком, расцвеченным серо-желто-красным восточным орнаментом, вселяла в него суеверный ужас. Все цепенело внутри, когда он думал, что на ней завершится волшебный вечер, и воспаленное воображение рисовало одну и ту же детски-наивную картину: огнедышащий дракон, то есть он, Давид, насилует в своей мрачной пещере похищенную красавицу-принцессу, то есть Наташу.

Он сознавал всю нелепость этого бреда, отлично знал, что в данном конкретном случае желания дракона полностью совпадают с мечтой принцессы, но никак не мог побороть в себе чувство, что любое нескромное прикосновение к ней равносильно осквернению святыни, созданной лишь для безмолвного созерцания и безусловного слепого поклонения. Но ход событий был неотвратим. Наступила минута, когда

редкие слова стали звучать как фальшивые ноты в чудной симфонии молчания. Их пальцы сплелись, губы потянулись к губам. Они поцеловались, сидя за столом. Сначала робко, по-братски. Потом — с нарастающей страстью, еще и еще раз. Потом — стоя, в тесном объятии. Целуясь, оба закрывали глаза, как бы стыдясь содеянного. И уже тогда знал Давид, что ничего у него с этой женщиной не получится до тех пор, пока он не окажется в состоянии взглянуть на нее как на простую смертную, посланную ему небом для обычной земной утехи, именуемой любовью. Но придет ли он, этот спасительный миг?

Понимала ли Наташа его состояние? Да. Именно в ту критическую минуту она взяла всю инициативу на себя.

— Выключи свет, — попросила шепотом.

Он подчинился. В комнате стало темно. Мрак смягчался лишь светом неблизкого фонаря, сочившимся сквозь единственное окно. В темноте Наташа застилала тахту, в темноте раздевалась, а он стыдливо стоял в сторонке и с пылающими щеками, с бьющимися на висках жилками воспринимал эти естественные действия как святотатство на алтаре храма Божьего. И все-таки он подошел, когда она, укрытая одеялом, позвала его, но, одетый, присел на краешек тахты и с тяжким стыдом, и с жгучей ненавистью к себе, а вместе с немой мольбой о прощении выдохнул:

— Не могу.

И, к ужасу своему, вдруг, помимо воли, стал сбивчиво оправдываться, объяснять:

— Ты для меня святыня... Мне кажется, если э т о произойдет, что-то рухнет, перестанет существовать... Нельзя же спать с богоматерью! ...Знаешь, сдается мне: чем больше люблю — тем меньше мужества. И наоборот: презрение или безразличие рождают силу. А ты... ты какая-то неземная...

Она в темноте отыскала его руку и покрыла ее поцелуями. И горько зашептала:

— Ни о чем не думай, милый. Не терзайся. Иди ко мне, я ведь столько тебя ждала. Не бойся, ничего не рухнет. Иди же, любимый...

Он раздевался будто в бреду и даже не понял, как очутился под одеялом, в ее жарких объятиях. Он тоже обнял ее, и целовал бессчетно, и ласкал, но мужество, казалось, покинуло его навеки, и в конце концов, проклиная себя, он устало отодвинулся и позорно затих. И тогда у самого уха зашелестел горьковато-медовый ветерок:

— Любимый, с чего ты взял, что я святая? Я была замужем, а со смерти мужа прошло целых двенадцать лет... Я сов-

сем не такая, какой ты меня воображаешь.

Давид слушал с недоверием. Он хмуро возразил:

— Разве это важно — какая ты есть? Важно — какая ты в моем представлении. Только там — твоя настоящая жизнь!

— Но я самая обыкновенная слабая женщина, и все у меня, как у других.

— Лжешь! — со злостью прошипел он. — Я вижу больше, чем ты можешь вообразить.

— Нет, это правда, — настаивала она. — Я грешная баба, каких миллионы, и мне, как всем им, хочется немного ласки и тепла. Подари мне свою ласку... Вообрази, что я обыкновенная шлюха.

— Замолчи! — прорычал он и так сжал ее запястье, что от боли она застонала. — Это ужасно, то, что ты говоришь.

Тогда, молча, она схватила его руку и завела ее на свою голую спину. Он провел пальцами по шелковистой коже. И вдруг рука застыла: пальцы нащупали что-то твердое, продолговатое, то углублявшееся, то выступавшее над поверхностью кожи.

— Что это? — тихо спросил он.

— Шрам. Один из многих.

Он содрогнулся.

— Откуда они у тебя?

— Я ж говорила, что ничем не отличаюсь от других... И битой я была...

Горячая волна жалости захлестнула его, и в это мгновение к нему вернулась сила и, нежно обняв покорное тело, он опрокинул его на спину. Медленно, осторожно, словно исследуя друг друга, два тела слились воедино, и вскоре гармонию их движений подчеркивали лишь стоны величайшей из мук — муки удовлетворяемой страсти.

15 октября

Проснулся Давид от ощущения, что у него отнялась левая часть тела. Наташа спала, свернувшись калачиком. Ее голова покоилась на его плече, горячая левая нога — на его бедре. Искоса вглядевшись в ее лицо, он снова ощутил знакомый уже прилив нежности к этой странной женщине, с которой провел такую бурную, такую чудесную ночь. Не без самолюбования он отметил: в его-то годы да подобная бойцовская прыть! Хоть торжествующий финал и последовал после весьма неприглядной увертюры...

Давид разглядывал ее длинные, густые черные ресницы, порозовевшие щеки, приоткрытые полные губы. Сытость кота, объевшегося маслом, приятной истомой расслабляла тело,

но вместе с тем снова хотелось сжимать ее в объятиях и целовать, целовать...

Мутный рассвет брезжил за окном, порывистый ветер пригоршнями швырял в стекла дождевую падь, зигзагообразными струями стекавшую вниз. Он вспомнил ночные Наташины откровения, и кровь ударила в лицо. Мысль о том, что она многим принадлежала до него и достанется многим после, показалась невыносимо кощунственной. И рубцы на теле... Его удивила эта вспышка ревности — необоснованной, неоправданной, глупой, противоречащей голосу разума, подсказывавшему, что прошлое — его и ее — не в счет, как и будущее, предугадать которое невозможно. Он по-прежнему был убежден, что она сильно гиперболизировала греховность своего прошлого, но этот рубец... он о чем-то говорил. О чем? Хватит ли у него смелости спросить об этом? Хотя зачем спрашивать? Может, лучше не знать того, что узнать было бы неприятно?

От праздных мыслей голова пошла кругом. Он был достаточно опытным парнем, чтобы не знать, что нет на свете вещи более обманчивой, чем ангельская женская красота, но и отделаться от нелогичной, чисто интуитивной веры в непорочность женщины, так непосредственно, так жадно и быстро отдавшейся ему, не мог... Он развязал этот Гордиев узел в классическом стиле, разрубив его ударом воображаемого меча: время покажет, прав ли он, а пока пускай все идет как идет.

— Ой! — Возглас вырвался из уст проснувшейся Наташи. — Уже так поздно? — Она тихо рассмеялась. — Я ж на работу опоздала.

Давид погладил ее смуглую щеку с отметинами складок подушки.

— Придумаешь что-нибудь, а?

— Придумаю. Отвернись, пожалуйста, я встану.

— Ты меня стыдишься?

— Ужасно! Ну пожалуйста.

Он плотно зажмурил глаза. Порывисто прижавшись к нему и поцеловала в щеку, она сползла к изножью тахты, а оттуда на пол. Он получил возможность растереть отекшие части тела. Слышно было, как она шлепает босыми ногами по половицам. Через минуту Давид получил разрешение открыть глаза. Наташа, в простеньком байковом халатике, стояла над ним. Его поразили знакомые и вместе с тем словно подмененные агатовые глаза: к обычному, естественному их блеску прибавилось что-то, чего не было прежде. Давид не смог определить — что именно, но так как это нечто в сильно концентрированном виде сосредоточивалось на нем, его охва-

тила странная неловкость. Он отвел взгляд. Она сказала:

— Ты можешь спать, милый. Я постараюсь вернуться пораньше.

— Нет, — возразил Давид. — У меня дела в городе. Я выйду с тобой.

Она пошла умываться. Давид вскочил с постели, быстренько оделся и, когда Наташа вернулась, в свою очередь направился в ванную. Ванная оказалась крошечной, с древней облупившейся ванной, с безнадежно протекавшим краном умывальника. Давид прополоснул рот, несколькими пригоршнями ледяной воды освежил лицо, причесался. Когда он вернулся в комнату, его ожидал завтрак, сооруженный Наташей из остатков вчерашнего ужина. Сидя друг против друга, они прихлебывали кофе и ели бутерброды с ветчиной.

— Возьми еще.

— Нет, спасибо, я сыт.

Утро — неподходящее время для интимных бесед, поэтому их диалог ограничивался короткими деловыми фразами. Но сияли ее смолистые глаза, обволакивали его горячими волнами, и он смущенно прятался от них, ибо велика была заключенная в них сила, так велика, что он точно знал: ничего подобного ему никогда не подарить ей взамен.

Перед выходом Наташа вручила Давиду зонтик. Он запротестовал:

— Да я ж никогда в жизни зонтами не пользовался. Зачем он мне?

Она рассмеялась:

— Глупенький. Это залог нашей сегодняшней встречи. Сознание, что ты обязан мне его вернуть, заставит тебя ровно в семь быть у меня.

Давид улыбнулся:

— Логично. Но я вот возьму да сбегу, а зонтик твой прихвачу в качестве сувенира.

— Что ж, значит, будет у тебя хоть какая-то память обо мне. А у меня есть еще один, запасной.

— Я пошутил, — Давид погладил ее по голове. — Ровно в семь зонтик приведет меня за ручку к тебе, голуба.

До „Смоленской" они шли, тесно прижавшись друг к другу, под одним зонтом. В вагоне метро стояли рядышком, и запах дикого меда пьянил его и пробуждал казалось бы утоленные прошедшей ночью желания. И незаметно он начал жить мыслью о новой встрече с возлюбленной, ниспосланной ему, в награду за добродетели, что ли? небесами.

На „Маяковской" она торопливо поцеловала его в щеку и смешалась с толпой выходящих пассажиров.

* * *

Безжалостно окропляемый дождем, но с зонтиком подмышкой, Давид шел по тихой, пустынной улочке в редакцию журнала. Не без труда отыскал он небольшую вывеску, сам вид которой красноречиво свидетельствовал о степени уважения редколлегии к собственному литературному ежемесячнику. Но лестница в тесном подъезде старого дома оказалась мраморной, но подпорки стертых перил — чугунными, литыми, но бра на обшарпанных стенах — бронзовыми, в виде рук, несущих факелы. Жалкие остатки былой роскоши, варварски растоптанной, оплеванной, загаженной потомками тех, кто экспроприировал экспроприаторов. Когда-то на лестничном марше было четыре бра, теперь осталось только два, другие два хулиганистые потомки давно выворотили с „мясом", оставив в стене зияющие выбоины, которые никто заделать не удосужился. Беломраморные плиты ступенек местами потрескались, местами обломились, а к расшатанным перилам боязно было прикоснуться — того и гляди провалятся вместе с чугунными подпорками.

Давид почтительно толкнул массивную дверь на втором этаже и очутился в мрачном чулане. Он уже решил было, что не туда попал, но тут заметил другую дверь, слева, такую же тяжелую, и, не без усилия приоткрыв ее и заглянув в щелку, облегченно вздохнул: вот он, храм российской словесности! Несмело переступив заветный порог, Давид очутился в высоченной, просторной, насквозь пропитанной табачным духом комнате, обставленной четырьмя одинаковыми письменными столами, двумя дряхлыми шкафами и несколькими стульями для посетителей.

Комната удивительно походила на ту, неуютную, в которую он проник через потолок на своем звездолете. Еще более удивительным оказалось сходство сотрудников, занимавших места за четырьмя столами. Пожилая литературная дама в очках, с зажатой между пальцами левой руки беломориной, сидела в центре. Слева от нее — дама помоложе, с четко обозначенными веселыми ямочками на полных щеках, со светлыми, коротко остриженными волосами и чудесными губками. Она не курила. Рядом, у окна, восседал лысоватый мужчина с черными нарукавниками на рукавах серого пиджака. Четвертого сотрудника, вернее, сотрудницу Давид не разглядел, ее заслоняла солидная пишущая машинка, отбивавшая замысловатую чечеточную дробь.

На этом, увы, сходство кончалось. Никто из четырех сотрудников не только не бросился его встречать, но даже глаз от бумаг не оторвал. Подперев тяжелую от вечного чтения

манускриптов голову ладонью, пожилая дама, время от времени посасывая измазанный помадой мундштук папиросы, сосредоточенно штудировала лежавшую перед нею рукопись. Мужчина жевал бутерброд, запивая его чаем из огромной чашки, а хорошенькая блондинка в буквальном смысле слова „под Лениным себя чистила'', ибо над ней как раз и висел непременный в любом почтенном учреждении портрет гениального автора статьи „Партийная организация и партийная литература''. Забавно дергая розовыми щечками, любуясь собой в карманном зеркальце, она пудрилась и подводила милые губки.

На робкого посетителя никто не обращал внимания. В конце концов обескураженный Давид снял свою зеленую шляпу, с полей которой не преминул хлынуть на пол добрый литр дождевой воды, отвесил четверым общий поклон и негромко поздоровался. Лишь жующий мужчина кивнул в ответ, поэтому к нему Давид и направился. Но не успел он и десяти слов промямлить, как выразительным жестом оказался отфутболенным к читающей пожилой даме. Того факта, что он возник перед нею во плоти, оказалось явно недостаточно, чтобы оторвать ее от захватывающего чтения. Пришлось голосом заявить о себе.

— Извините...

Дама неохотно подняла глаза, обесцвеченные, казалось, той же перекисью, что и ее жиденькие прилизанные волосики. Давид назвал себя и объяснил причину своего визита.

— Когда вы послали рукопись? — последовал сухой, не очень любезный вопрос.

— Где-то в середине февраля.

Из среднего ящика стола тут же была извлечена толстенная тетрадь — регистрационный журнал. Зашелестели страницы.

— Так, так, стало быть, в феврале... Май... апрель... февраль. Как называлась рукопись?

— „По ту сторону зла''.

— „По ту сторону зла'', — пробормотала дама, водя желтым пальцем по строчкам. — „По ту сторону зла''... Так, „Цветы жизни'', „Свет над Окой'', „Колхозная баллада''... Вот, есть: „По ту сторону зла'', получена двадцать шестого февраля. Дана на рецензию... Возвращена... Ваша рукопись находится у Настасьи Николаевны. Пройдите вон в тот кабинет.

Давид обернулся в сторону, указанную прокуренным дамским пальчиком, и увидел небольшую, застекленную в верхней части дверцу в левом углу помещения. Поблагодарив женщину, успевшую тем временем вновь уткнуться в свои бумаги и начисто о нем забыть, он шагнул к указанной двери.

Он постучал в стекло, задернутое изнутри белой занавеской, и когда оттуда прозвучал мужественный баритон „Войдите!", потянул дверь на себя. В небольшой комнатушке никакого мужчины не оказалось. За двумя столами сидели две женщины — пожилая, дородная, с очками на мясистом носу, и молоденькая — в кокетливой шляпке-пирожке и темносером плаще, может быть, дочь первой. Видать, носатая только что давала разгон юной, чьи щечки пылали, как два маковых лепестка.

— Простите, я, кажется, помешал? — смущенно остановился на пороге Давид.

Но дородная матрона явно обрадовалась его появлению. В приветливой улыбке она обнажила два ряда золотых коронок.

— Нет, нет, что вы, совсем наоборот. Заходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Работа прежде всего, личные дела подождут. — Голос у нее был низкий, пропитый или прокуренный, баритонального тембра.

Приободренный любезной готовностью Настасьи Николаевны ради него пренебречь личными делами, Давид сел на краешек стула перед рабочим столом и в третий раз за последние десять минут изложил цель своего визита. Услышав его имя и название рукописи, дама мгновенно поскучнела. Из недр тумбы стола она извлекла голубую папку и с легким пренебрежением бросила ее перед собой, на стекло, покрывавшее стол.

— Она?

— Она, — подтвердил Давид, по ее жесту и голосу тотчас сообразивший, каким будет предстоящий разговор.

Носатая дама, между тем, развязала тесемки, открыла папку и извлекла из нее два листка с отпечатанным на машинке текстом. Пробежала по строчкам, понимающе-грустно покачала головой и многозначительно хмыкнула:

— Хм-мда...

Давид молчал, с сочувствием глядя на девушку в шляпке: обидно, что она, получив свой нагоняй, окажется теперь свидетельницей его разгрома. Отвернувшись к окну, девушка дымила изящно зажатой между указательным и средним пальчиками длинной сигаретой. Может, не дочь, а кандидатка в литературные дамы? Первый признак налицо: сигарета.

Грубоватый баритон Настасьи Николаевны отвлек его от праздных гипотез.

— Скажите, товарищ э-э-э... Шмундяк, вы в самом деле верили, что ваш роман будет опубликован?

— Надеялся, — скромно сказал Давид.

— Хм-мда... Понимаю. Я лично читала его, и еще читал наш

штатный рецензент, известный критик Р.

У Давида вырвалось непроизвольно:

— О, Р. — великий критик! Я с ним знаком.

— Тем лучше, — кивнула дама. — Значит, вы ему доверяете. Вот его рецензия, вы ее получите. В общем, мы с ним полностью сошлись во мнениях, оба признали некоторые литературные достоинства вашего произведения, но...

Настасья Николаевна громко высморкалась в шелковый платочек, слишком крохотный для ее богатырского носа.

— ...Но... сколько же в нем идеологических просчетов!

— Простите, не понимаю, — сказал Давид, удивленно взметнув брови. — Это же роман об Отечественной войне, о подвигах советских воинов... Если и есть просчеты, их можно устранить.

— Увы, увы, — дама печально покачала головой. — Их так много, этих просчетов, что вам придется писать роман заново. Можно начистоту, а? Без обид...

— Разумеется. Так будет лучше.

— Так вот. Главный ваш герой — некий Абрам Маркус. Первый вам вопрос: зачем вы избрали еврея главным героем?

Как всегда, когда затрагивалась щекотливая тема еврейства, Давид ощетинился.

— А разве это запрещено?

— Нет, разумеется. Но всем известно, что войну прежде всего выиграли русские люди, великий русский народ...

— Осмелюсь возразить, — с горячностью перебил Давид. — В романе я нисколько не оспариваю заслуг русского народа в победе над гитлеровцами, напротив, всячески их подчеркиваю. Так что с этой стороны у меня все в норме. Но мне, да и вам, наверное, тоже, доводилось читать книги о войне, главными героями которых были украинцы, грузины, татары...

Не обращая внимания на его возражения, Настасья Николаевна жестко продолжала:

— Вопрос второй: известно ли вам, что после ближневосточной войны пятьдесят шестого года резко ухудшились наши отношения с еврейским государством? Что, посему, все эти еврейские имена сейчас, ну, мягко говоря, не звучат в унисон с политикой партии?

От изумления у Давида отвисла нижняя челюсть. Тут же он спохватился и в запальчивости вскочил со стула.

— Но ведь я писал не о той войне и не о подвигах израильтян! — на одном дыхании выпалил он. — Это же так ясно!

Второе его веское возражение также было небрежным жестом отметено монументальной дамой. С непоколебимой верой в свою правоту она рассекла воздух богатырской рукой.

— Третье: ваш герой... как его... Абрам Маркус гибнет в сентябре сорок первого, грудью прикрыв амбразуру фашистского дота. Я не ошиблась?

— Все верно, — внутренне кипя, подтвердил Давид.

Теперь Настасья Николаевна понизила голос и спросила почти ласково:

— Хм-мда... Ну скажите, дорогой товарищ, зачем вам понадобилась эта липа?

Давид мобилизовал всю свою волю на обуздание вспыхнувшей в нем слепой ярости. Когда он заговорил, голос его прозвучал тихо, мирно:

— Это не липа. Весь наш батальон знал о подвиге Маркуса. Кстати, его имя и фамилия не вымышлены. По крайней мере двадцать человек рассказывали мне о нем...

— Допустим, — безжалостно прервала его собеседница. — Но как же быть тогда с нашим Матросовым? Выходит, вы оспариваете приоритет русского парня Саши, доказывая, что этот... как его... Абрам задолго до него совершил блестящий подвиг. Вы требуете, таким образом, чтобы Президиум Верховного Совета пересмотрел свой указ и вместо Саши посмертно присвоил звание Героя этому, как его...

Взором затравленного зверя Давид взглянул на девицу в шляпке, как бы взывая к ее помощи. Но та по-прежнему глядела в окно, не проявляя ни малейшего признака сочувствия к нему, тем более желания избавить его от хулиганского избиения. Будущая московская литературная дама! Давид внезапно почувствовал себя опустошенным, разбитым и, поднявшись, равнодушно сказал:

— Я ничего не оспариваю, ничего не требую... Извините, можно взять рукопись?

— Конечно, пожалуйста, — любезно согласилась Настасья Николаевна. — И рецензию возьмите... Но я еще не все сказала.

— Вы сказали предостаточно, — возразил Давид, сунув тяжелую папку под мышку. — Извините за беспокойство. Честь имею.

Он вышел из кабинета. Не глядя по сторонам, пересек большую комнату и остановился в мрачном коридоре. Колени слегка дрожали. Глубоко вздохнув, он нахлобучил шляпу на голову, расстегнул пальто, пиджак, сунул папку за пояс брюк, застегнулся и вышел на мраморную лестницу. Два бронзовых бра, покрытые благородной патиной, две руки, вооруженные навек погасшими факелами, не облегчили ему позорного спуска с литературного олимпа, каким считался в стране отвергший его журнал. С запоздалым сожалением он думал о том, что следовало рычать, огрызаться,

кусаться в ответ на кавалерийский наскок носатой мегеры, вдохновленной на подвиг ратный маститым ничтожеством Р.

* * *

Отправляя рукописи в Москву, никаких иллюзий Давид не питал. Ему было хорошо известно, что столичные журналы и издательства отданы на откуп двум сотням местных официальных знаменитостей, что, кроме того, выполняя жесткие установки партии и правительства о поощрении литературы национальной по форме, социалистической по содержанию, они, журналы и издательства, обязаны печатать также бессмертные творения сонма писателей среднеазиатских, закавказских, прибалтийских и, разумеется, не обижать всяких там эвенкийских, чукотских, корякских, коми, удэге и прочих авторов, вещающих миру о счастливой жизни своих крохотных, нередко в несколько тысяч, а то и сот человек народностей или племен под солнцем... Ах черт, ну конечно же „под солнцем"! сталинской ли конституции, советской власти, очередного вождя и учителя — только под солнцем, не то теряется заряд вранья, выдаваемого за правду. Мутные потоки этой фантастической лжи великими реками, речками, ручьями стекаются в столицу, образуя паточное море советской литературы, на дне которого, без малейшей надежды всплыть на поверхность, покоятся редкие сгустки дегтя правды. Ложь щедро оплачивается, поощряется беззастенчиво, правда объявляется клеветой и в лучшем случае замалчивается, а в худшем...

Но даже новейшая история знала случаи, когда честный, мужественный человек силой своей доброй воли, своего авторитета вытаскивал из бездны забвения преданную анафеме вещь дотоле неизвестного писателя. И тогда читающая публика, дивясь смелости автора и издателя, перешептывалась по углам о начале новой эры, о развинчивании гаек, о пользе или вреде правды и с замиранием ждала дальнейшего развития событий на литературном фронте, чуя тонким нюхом своим, что за шагом прогресса непременно последуют два шага регресса.

Знал все это Давид, и в глубине души лелеял надежду на могучего покровителя, на счастливый случай, надежду глупую, несбыточную, но неугасающую. Без надежды и писать-то ведь не стоило. Без надежды хотя бы на посмертное издание.

Вначале, сгоряча, он решил было немедленно, не теряя времени, испить до дна всю горькую чашу и решительно направился на поиски второй редакции. Но через десяток минут, вспомнив мудрую поговорку „Хорошего понемногу", а вку-

пе с ней и другую, не менее милую — „Не делай сегодня то, что можешь оставить на завтра'', круто изменил направление и взял курс на Большую Калужскую. Там, на „седьмом небе'', в комнатушке, полученной от щедрот Союза писателей в год пика „оттепели'', творил великий Отец. Обратившись мыслью к нему, Давид тем самым уже смягчил ожесточившееся после пережитого унижения сердце. Андрей был его духовным наставником. Давид не сомневался: он, и никто другой, — величайший русский поэт. Два его солидных сборника, выпущенных в конце пятидесятых, наделали шуму, но шум вокруг них затем, как-то уж слишком внезапно, сменился гробовым молчанием, и с той поры ''poeta clarus'' занимался лишь переводами классиков казахской и киргизской поэзии. Длительные перерывы между двумя заказами он заполнял тремя видами деятельности. Во-первых, пил, и это занятие, включая забытье после возлияния и опохмелку, по продолжительности и предпочтительности, справедливо можно было поставить во главу угла. Когда иссякали деньги, он писал стихи или строгал из дерева свои натуралистичные статуэтки.

По внешнему виду Андрея можно было принять за сибирского крестьянина, старателя, таежного охотника, короче, за кого угодно, только не за поэта. Напрасно было бы искать на его узком челе „печать тайны'', а в острых, хитрых косых глазах способность или намерение „глаголом жечь сердца людей''. Коренастый, широкоплечий, криволапый, с ручищами-лопатами, с лицом, свидетельствовавшим о роковых последствиях трехсотлетнего владычества татаро-монгольских полчищ на Руси, без двух передних зубов, Андрей вдобавок ко всему носил окладистую седую славянофильскую бороду — неухоженную, всклокоченную — и такого же цвета и вида шевелюру, торчавшую на голове, как стог развороошенной ураганом соломы.

Прежде чем подняться к нему на седьмой этаж, Давид заглянул в ближайший гастроном и, разменяв первую Степанову сотню, купил бутылку водки, полкило колбасы и буханку хлеба. Лишь после этого, в приятном сознании выполненного долга, втиснулся в лифт. И вот встреча: Андрей зажал его в свои медвежьи объятия, трижды поцеловал — в щеки и в губы и ввел в свое убогое жилище.

Ничего здесь не изменилось за два минувших года. Та же металлическая койка времен Отечественной войны — ложе поэта, тот же дряхленький письменный столик периода войны первой, империалистической, те же самодельные дощатые полки, уставленные книгами и папками, а также деревянными статуэтками — двумя чертями рогатыми, тремя кры-

латыми орлами, несколькими балеринками...

Приняв от друга „Столичную" и закуску, Андрей просиял, как младенец, при виде бутылки с молочком.

— Ну удружил, брат! Ну спасибо! Поверишь, два дня капли во рту не держал, яч-смить-бюе! Сейчас мы ее, родненькую, и раздавим.

Когда-то Андрей был отчаянным матерщинником, но вот уже лет пять весь богатейший набор русского нецензурного лексикона он заменил одним таинственным ругательством, о смысле которого Давид собирался, да так и не удосужился спросить.

— Садись-ка, яч-смить-бюе! Вот сюда, на койку. Бутылку и стаканы поставим на табурет... Застелим его газеткой, „Правдой", вот так, как принято в столичных домах, яч-смить-бюе. А вот твоя колбаса и хвостик моей воблочки... Где хвост, а? Куда запропастился? Был же на виду, дожидался потребителя.

Он стал рыскать по комнате в поисках исчезнувшего хвоста, высшего деликатеса истинного алкоголика. Искал на столике, в его ящиках, на полках между книгами и, наконец, издав каннибальский победный клич, извлек огрызок воблы из-под койки.

Давид пытался было сесть, но толстая папка, заткнутая за пояс, не давала согнуться. Андрей заметил его неловкие манипуляции, покосился на вздувшееся брюхо друга и участливо поинтересовался:

— Ты что, забеременел?

Давид расстегнул пиджак, вытащил папку и облегченно вздохнул.

— Роман? Прячешь? — нахмурился Андрей. — От кого? Уж не на крючке ли ты? Да я ж их, яч-смить-бюе...

— Да нет, Отец. Забрал в редакции, а на улице дождик.

— Забрал? Ха! Вернули, небось?

— Вернули. Да еще здоровенный щелчок по носу отвесили.

— И ты скис?

— Сам понимаешь, приятного мало.

— Погоди, сейчас выпьем, а потом обсудим. Идет?

Андрей присел рядом. Разлил поллитровку, оставив на дне самую малость. Поднял стакан, косыми глазками любовно обласкал прозрачную жидкость.

— Поехали?

— Поехали.

Андрей разом вылакал больше полстакана, Давид отхлебнул два глоточка.

— На, закусывай.

Получив из рук друга несколько волокон русской нацио-

нальной вяленой рыбы, Давид пососал их. Андрей сосредоточился на том же. В аппетитном причмокивании прошло минуты две. Потом Андрей запустил пальцы в бороду, взметнул ее кверху и начал диалог.

— Дома все в порядке?

— Относительно.

— А в Москву прибыл за песнями?

— Дурак я.

— Не кайся, не на исповеди. Что, надеялся, да?

— Ясно, надеялся.

— Зря. Я ж тебя, салагу, учил: никогда не надейся. Ежели, паче чаяния, напечатают, будет презент фортуны.

Теперь, держа стакан в руке, Андрей время от времени отпивал из него, смакуя отвратительную водку, как шоколадку. Всякий раз, когда он сладострастно крякал, Давида передергивало от омерзения. Он не выдержал, решительно поставил свой стакан на табурет и в сердцах воскликнул:

— Но это же черт знает что, Отец!

Андрей повел рукой в сторону полок.

— Сколько у тебя неопубликованных вещей?

— Четыре.

— А у меня вон их сколько. Собрание сочинений в двенадцати томах. И ничегошеньки. Лежат себе, покоятся на своем кладбище.

— И ты с этим смирился?

— Нет, яч-смить-бюе. Смириться невозможно. Но воспринимать философски надобно, иначе спятишь от злобы и ненависти.

— Легко сказать. — Давид внимательнее обвел глазами полки, заметил знакомую статуэтку и воскликнул: — Что я вижу! „Лагерная Венера"... Доктор Скворцов вернул?

Андрей лишь махнул рукой.

— Где он, доктор Скворцов? И где та „Венера"? Небось сожгли ее в печке в лютую морозную ночку. Все лишнее полено, несколько калорий... Нет, я заново ее вырезал.

Давид любовался пышными формами безголовой фигурки.

— Отощала она у тебя, — заметил он наконец.

— Не исключено, — пожал плечами Андрей. — Я ж ее не в лагере, на воле творил... А знаешь, — он вдруг захохотал, — когда я на мели, я организую меновую торговлю с соседями. Деревяшка — за бутылку, а то и за две. За эту „Венеру" мне Иван Харлампиевич пять поллитровок сулит.

— Это варварство, — сморщился Давид. — Ты не ценишь свое искусство.

— А кто ценит свое? Матисс, Гоген, Руссо не продавали за

гроши свои творения? — Он умолк, ероша и без того всклокоченные сизые патлы свои, потом обратил к Давиду насмешливый взгляд якутских глазенок. — А скажи-ка мне, умник, что было бы с нашей планетой, не появись на ней сто шестьдесят пять лет назад Александр Сергеевич? Ну?

Давид печально покачал головой: такое трудно было себе представить. Но усилием фантазии он представил и угрюмо заметил:

— Мир был бы значительно беднее.

Едва не поперхнувшись очередным глотком водки, Андрей хлопнул его по плечу.

— Гениальный ответ. Но... глупый, как... съеденная вобла. Вот тебе другой вариант: не было бы ничего. Ровным счетом ничегошеньки, яч-смить-бюе! Мир в самом деле почувствовал бы какой-то вакуум, знай он, этот вшивый мир, что Александр Сергеевич должен был родиться и создать свои шедевры. Но где они, пророки, способные видеть дальше своего носа? Вот скажи ты, сколько гениальных писателей, художников, композиторов, певцов было среди десятков миллионов, сгоревших в огне войны?.. Молчишь, да? А сколько их гибнет сегодня, в эту самую минуту, от голода, болезней, катастроф, абортов, наконец!? — Тут он изменил своей благоприобретенной привычке — вместо странного, непонятного ругательства выдал вполне ясное и четкое: — Молчишь? В п... торчишь! Вот так обошелся бы мир и без Аристофана, Сервантеса, Шекспира, Бетховена, Толстого. Довольствовался бы наскальной живописью, „Дубинушкой" да страшными росказнями шаманов.

Воцарилось молчание. Андрей допил водку из своего стакана и потянулся к бутылке. Пальцы его заметно тряслись, и Давид с щемящей грустью вдруг понял, что Отцу недолго уже коптить небо.

— Тебе плеснуть?

Давид подавленно отмахнулся.

Андрей старательно, до капли, выпил остаток водки себе в стакан и прислонился спиной к облупленной стене над койкой. Давид угрюмо молчал. В дикой речи друга содержались зерна трагической истины, отлично усвоенной членами Политбюро ЦК КПСС и их холуями. Уж им-то хорошо известно, что бутылка водки любому работяге заменит Пушкина, Блока и Есенина, вместе взятых. Он передернулся, сознание ненужности, зряшности всех его титанических усилий создать что-то путное для человечества подавило в нем последние остатки мужества. Он отхлебнул глоточек, сморщился от отвращения и мрачно произнес:

— Пора в крематорий.

* * *

И тогда Андрей расхохотался, разинув щербатый рот — провал в джунглях седой волосни.

— Что, яч-смить-бюе, скис? Очнись, паря! Ведь был-то Пушкин, был, и здорово пошумел на своем коротком веку. И Бетховен был, и Толстой... А нынче живем и бушуем мы с тобой. Нам, правда, затыкают пасть, заламывают руки за спину. Но мы есть, черт побери, и от этого факта никуда не денешься. Наше бытие подтверждает хотя бы противовес — штат сотрудников известного ведомства. Они оценивают наши творения по критериям, ничего общего с литературоведением не имеющим. Назовем их пиротехниками, а? Или саперами? Ведь их ремесло — вылавливать, обезвреживать бомбы, снаряды, мины, торпеды, которыми мы хотим взорвать созданный ими ад. Не мы их, — они нас боятся. Уже одно сознание, что мы для них страшнее войны, должно возвышать нас в собственных глазах...

Давид захихикал.

— Горазд ты речи толкать, Отец. Только, может, в это самое время где-то там, на Таймыре, Ямале, Чукотке, для нас возводят бараки с вагонками... Гнус и клопы кровь нашу до капли высосут...

— Нет! Времена нынче не те, дружок. Того, что было, больше не будет.

— Будет другое. Новое, и такое же гнусное. Знаешь, что сказала мне прекрасная дама из редакции?

— Представляю. — Андрей взял в руку плотную папку Давида, движением рыночного торговца взвесил ее на ладони и, усмехнувшись, констатировал: — М-да, весомая штука. Килограмма на три потянет... Бьюсь об заклад: главный герой — благородный еврей, и именно это обстоятельство в первую голову взбесило ту даму. Угадал?

— Угадал, — устало подтвердил Давид и в угасающем свете хмурого дня стал рассматривать бесцветную жидкость в своем стакане. Потом вдруг взорвался: — Скажи мне, всезнайка, почему я не должен быть евреем? Сколько уж лет я слышу одну и ту же песню: ассимиляция — лучший и единственный путь. Ассимиляция! Растворение, стало быть. Я обязан стать каплей воды, неотличимой от миллиардов других капель, и раствориться в толще Волги, Днепра или Днестра. Потерять лицо. Перестать быть самим собой. Исчезнуть. Сгинуть без следа... Кому какая корысть в этом? Ответишь?

— Отвечу! — рявкнул Андрей. — Если дашь хлебнуть из своего стакана... Все равно ж не пьешь.

Давид протянул ему стакан, Андрей отпил и стакана не вернул.

— Давай начнем с того, — осторожно заговорил он, — что наша партия не терпит многообразия. Заметь: одна страна, один народ, одна партия, один вождь, одно учение, один образ мыслей и чувств. Идет невиданный в истории человечества эксперимент по стандартизации индивидуума, превращению его в послушный, покорный высшей воле механизм. Можно назвать это оболваниванием, можно иначе: движением к коммунизму. Согласись, в целом этот процесс серьезного сопротивления не встречает. Уж на что националисты литовцы, латыши, эстонцы — и тем деваться некуда. Пищат, но... ассимилируются, яч-смить-бюё. Евреи тоже.

— Но...

— Да, да, не спорь. Вы — тоже. Да и мы, русские. Но с евреями выходит заминка. Забыв свой язык, историю, отрекшись от религии, обычаев предков, вы сохранили еврейский дух...

Давид присвистнул:

— Э, да у тебя в кармане стройная расистская теория.

— Дурень! — осердился Андрей. — Ты круглый невежда. Ты Библию-то хоть читал, еврей евреич?

— Читал... — замялся Давид. — Правда, давненько.

— Вот видишь! — торжествующе воскликнул Андрей. — А я читал. Нет, „читал" — не то слово, — я ее изучал пять раз... Да вон она там, на полке. Погляди, пыли на ней не найдешь. Так что со мной, паря, не спорь. Еврейский дух — это не выдумка юдофобов. Это реальность, пронизывающая всю современную действительность, и только черносотенцы, фашисты могут толковать это понятие как нечто античеловеческое, враждебное, ненавистное. Просвещенный человек обязан знать, что евреи — народ Книги, были им еще тогда, когда окружающие племена состязались в дикости, невежестве, каннибализме. А что такое — „народ Книги"? Не просто создатели Ветхого завета, хотя само по себе это уже грандиозное достижение, доныне никем не превзойденное. „Народ Книги" — это учитель, наставник, законодатель, судья. Это вечный искатель, первооткрыватель, могильщик зла и модельер нового, доброго...

Давид нетерпеливо прервал его:

— По-моему, ты хлебнул лишнего. А ну, давай сюда мой стакан.

Торопливо вылив в глотку остатки спиртного, Андрей ехидно ухмыльнулся и протянул ему пустой стакан:

— На, бери, жмот! Пожалел другу капло водяры, яч-смить-бюё.

Давид сунул в стакан нос, удостоверился, что он осушен опытным мелиоратором, и поставил на табурет. Затем сказал:

— Я вот-вот лопну от гордости, слушая твои дифирамбы. Но все эти теории построены на жиденьком дерьме. И они — теории, не больше.

— Теории? — вскочил, как ужаленный, и заметался по комнате, погружавшейся во мрак, Андрей. — Ну и неуч же ты, Митрофанушка без крайней плоти! Яч-смить-бюё! Яч-смить-бюё! И еще раз яч-смить-бюё!

— Что за ругательство! — наморщил лоб Давид. — Почему мне оно не знакомо?

— Яч-смить-бюё? — Андрей застыл посреди комнаты.

— Да, ячсмить...

— А что, впечатляет?

— Что-то в нем есть, похожее на е... твою мать. И все же непонятно.

Андрей гордо выпятил грудь, надул щеки, тряхнул бородой:

— Личный вклад в сокровищницу родной речи. Неологизм собственного производства. Можешь взять на вооружение, я не такой жмот, как ты, еврей евреич.

— Растолкуй, черт побери. Что оно значит?

— Да ничего. Ровным счетом. Буквы нижнего ряда клавишей пишущей машинки: яч-смить-бюё. Вот и все. И крепость тебе матерщинная, и твердость, и соль, и смак — все в нем есть. И все в пределах приличий. Фартово?

— Трудно сказать.

— Завидуешь. Сам ничего не придумал, небось... Но ты меня отвлек, еврей евреич. На чем мы остановились?

— На теории.

И Андрей снова заметался по комнате.

— Это ты говорил о теории. Я — о практике. Вот тебе схематичная история цивилизации: Моисей, Иисус, Маркс, Фрейд, Эйнштейн. Принимаешь?

— Нет. Вот еще имена: Конфуций, Аристотель, Вольтер, Бэкон, Толстой...

— Смешишь, паря. Я толкую о главных направлениях, а ты хватаешься за побочные.

Теперь и Давид вскочил на ноги и возбужденно забегал по темной комнате рядом с Андреем.

— Толстой — побочный?

— Да, тысячу раз да, — вскрикнул Андрей. — Толстой — гениальный рассказчик, стилист, безусловно честнейший и умнейший человек. И только. Нового направления в философии, в науке он не дал миру. Его непротивление — популяризация Иисусовой Нагорной проповеди, восходящей, в свой черед,

к писаниям пророков. То же Вольтер, Бэкон и прочие. Все они пили из одного источника, и этим источником была еврейская мудрость.

— Ну а Конфуций, Будда? — уже менее воинственно задирался Давид.

— Эти — сами по себе, — последовал ответ. — Но заметь: тот, кто чтит их сегодня, обречен на отсталость и нищету. Нет альтернативы евро-еврейской цивилизации, и тут ничего не поделаешь. Но, увлекшись, мы отошли от сути спора. Ты сетовал на антисемитизм. И тут все ясно. Скепсис Экклесиаста и Иова, тяга Исайи и Иеремии к правде и справедливости вступили в вопиющее противоречие с господствующей идеологией. Ты понимаешь, что это значит? Сегодня вы, евреи, лучшие в стране писатели, композиторы, медики, инженеры, ученые. Ты только вообрази: „Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой", сочиняет подлец Левка Ошанин, и его песню распевает вся страна. Он же, вместе с Эдом Колмановским, создает еще одну песню: „Я вернусь к тебе, Россия". Мишка Матусовский и Йосик Дунаевский дарят нам „Звезды милой Родины". А Мишка Блантер, свинтус этакий, после облетевшей весь мир „Катюши", выдает ультрапатриотическую „Летят перелетные птицы". И тут же, словно соревнуясь с ним в любви к России, опять Ошанин, на сей раз в паре с Фрадкиным, сладкоголосо запевают: „Издалека долго течет река Волга". Подключается Оскар Фельцман, сочиняет музыку к „Венку Дуная"... Мишка Голодный, Яшка Шведов, Мишенька Светлов, Фогельсон, Глейзаров, Лисянский, Френкель... Да всех и не перечесть! И среди них сиротками выступают Лебедев-Кумач, Жаров, Долуханян, Щедрин, причем никто не даст голову на отрез, что половина из них — не скрытые евреи... А? Как тебе такая картинка? Для ее довершения добью тебя „Песней о Днепре", сочиненной двумя добрыми сечевиками — Женькой Долматовским и Маркушей Фрадкиным. Памятуешь слова?

— Да. И мелодию тоже.

— Тогда скажи: почему среди пятидесяти миллионов украинцев не нашлось таланта для создания такой песни? Как среди ста миллионов россиян — песен о России, более мощных, искренних, чем мелодии Блантера или Дунаевского? Вот и получается: поют братские народы, пляшут, смеются, плачут, работают, воюют и мрут под вашу еврейскую дудку. Так мало вам этого? Вы еще признания, любви народной желаете? Дудки! Партия этого не потерпит. Партия хочет перекачать вашу кровь, ваши гены в хрупкие сосуды братских народов, а от вас чтоб духу не осталось!

Страстное выступление Андрея произвело на Давида из-

вестное впечатление. Маскируя его, он зааплодировал ногтями больших пальцев.

— Браво! Осанна новоявленному пророку! Теперь, Отец, у тебя один путь: принять иудаизм. Не бойся обрезания. Пожертвуешь клочок ненужной кожицы во имя вечного союза с Господом-Богом...

Когда Давид собрался уходить, Андрей, наконец-то, включил свет. У Давида сердце сжалось от щемящей тоски: старый друг выглядел больным, немощным. Тряслись его пальцы, в нервном тике дергалось правое веко, цвет лица был желтый, нездоровый. Давид подумал, что не жилец он на этом свете. Год-два протянет, не больше. Он постарался скрыть свое впечатление. Когда Андрей нерешительно предложил ему переночевать, Давид с царственным высокомерием отклонил любезность. Затыкая за пояс свою папку, он изрек:

— Больно нужна мне твоя конура. У меня номер в „Будапеште".

— Врешь?

— Позвони через час, удостоверься. Комната двести одиннадцать.

— Разбогател, да?

— Почему бы нет?

— Подал бы тогда нищему брату пятерку на похмелье.

Давид охотно дал бы сотню. Но он знал: деньги в руках Андрея — орудие самоубийства. Он протянул другу десятку и с тяжелым сердцем расстался с ним.

* * *

До „Будапешта" Давид добрался в начале седьмого. Времени оставалось в обрез. Включив в номере свет, он, не раздеваясь, забросил в ящик стола, туда, где покоились привезенные рукописи, папку с возвращенным романом и собирался уже выйти, как вдруг резко зазвонил телефон. Андрей и в самом деле решил его проверить:

— Ты, что ли?

— Граф Монте-Кристо.

— Ну, молодец. А я думал — блейфуешь, яч-смить-бюё. Зайти бы, поглазеть на твои хоромы, а?

— Заходи, конечно. Но ничего интересного, Отец, если не считать роскошной купели, в которую я, кстати, еще не окунулся.

— Ладно, я по делу. Толковали мы с тобой битых два часа, а главное упустили: Шакал в Москве.

— Что?!

— Да, Шакал. С месяц назад я случайно открыл его. Сидит,

прохлаждается на Самотеке. Видать, на заслуженном отдыхе...

Давид помолчал. Потом грязно выругался и добавил:

— Сволочь! Убить бы гада!

— А для чего ж я тебе позвонил, — насмешливо отозвался Андрей. — Сам и исполнишь приговор.

— Я хочу на него взглянуть.

— Ничего нет проще. Ежели не будет дождя, приходи завтра к часу на бульвар.

— Бульвар большой. Где он околачивается?

— Там, где стая голубей. Впрочем, я буду тебя поджидать.

Давид медленно опустил трубку на рычаг. Новость потрясла его настолько, что он даже не улыбнулся прекрасной мулатке, глядевшей на него из светлокремового лимузина на журнальной фотографии. Минуты две он стоял у столика, потерянно глядя в пустоту.

Шакал... Капитан Алексей Прохватилло, начальник лагеря, зверь из зверей, лично ответственный за убийство семерых беглых в архангельских лесах, за бесчисленные избиения заключенных, жестокие издевательства, опустошительные шмоны. Один из тысяч палачей, не только не понесших никакого наказания за злоупотребления властью, а, напротив, с почетом препровожденных на пенсию — по старости или за выслугу лет. Сколько ему было в пятьдесят четвертом, когда, скрежеща зубами, он принужден был одного за другим выпускать на волю своих многолетних рабов? Не больше пятидесяти...

В метро Давид продолжал размышлять о превратностях судьбы, сталкивающей волков с овцами, милостивой большей частью к волкам. Рядом стояли двое небритых мужичков, успевших уже отметиться после трудового дня, они вели конфиденциальную беседу. Давид рассеянно ловил обрывки фраз.

— Слышь, Серега, а что это за хреновина такая — волюнтаризм?

— А хрен его знает.

Совершенно безотчетно Давид проявил любезность.

— Волюнтаризм, — вмешался он, — это своеволие, самовольничание.

— А ты откуда знаешь? — недобрым оком сверкнул на него Серега. — Ученый, да?

— Не чепляй его, — махнул рукой его дружок. — Он верно говорит. Выходит, допрыгался наш начальничек-то...

На „Смоленской" Давид выпрыгнул из вагона, взбежал вверх по эскалатору, нырнул в вечернюю московскую сырость. Дождя не было, что облегчило ему поиск продуктового магазина. Вооружившись бутылкой шампанского,

„пражским" тортом и кое-какой другой снедью, он нырнул в Плотниковский переулок.

А потом все было почти как вчера. Но так как ничто в мире в точности не повторяется, особенно у влюбленных, все было по-другому, начиная с первого поцелуя, дикий мед которого показался Давиду более горько-пьяным, чем вчера, и кончая приготовленной постелью, белизной простынь, откровенно призывавшей к новым любовным утехам, более нежным и страстным, чем познанные до сих пор. От накрытого стола до застланной тахты было рукой подать, и оба, орудуя ножом и вилкой, попивая шампанское и беззаботно болтая, смущенно отводили глаза всякий раз, когда их взоры скрещивались в манящей плоскости тахты, где, как ясно было обоим, неизбежно развернутся финальные события дня. Может, именно по этой причине событие, взбудораживнее всю страну, весь мир, показалось столь незначительным, что не вызвало иных эмоций, кроме легкой иронии.

— Стало быть, осиротели, — вскользь заметила Наташа.

Давид вопросительно уставился на нее.

— Ты что, не слыхал? Снят с работы Никита Сергеевич.

— А, — слегка удивился Давид. — За волюнтаризм, да?

— За волюнтаризм, марксизм, ленинизм и все прочие „измы".

— Проклятье! Он же нам коммунизм обещал. Теперь не будет коммунизма. Даже через двадцать лет. Кто ж поведет нас дальше, к вершинам?

— Ильич-второй.

— „Бровеносец в потемках"? Старый знакомый. О таких переменах великий русский народ выразился весьма недвусмысленно: „Хрен редьки не слаще". А далеко не великий румынский народ сказал еще лучше: „Смена господ — радость безумцев".

В постель они не взяли ни вождя бывшего, ни вождя сущего. После первых бурных объятий шептались о другом.

— Я так ждала тебя! Целых двенадцать лет... Почему ты не приходил?

Она почти в точности повторила те первые слова, что сорвались с ее губ в ресторане „Будапешт", но теперь Давид подивился их несоответствию с ее вчерашними наветами на себя.

— Верно ждала? — спросил он, поглаживая одной рукой ее плечи.

Она слегка запнулась, прежде чем ответить.

— С определенного момента — верно... Не забывай, я ж была замужем. А как ты живешь со своей женой? И как будешь жить после расставания со мной?

Вопрос оказался не из легких. Лежа с любовницей в постели, глупо расхваливать жену. С другой стороны, подло — поносить ее, хотя — Давид это знал — большинство мужчин в подобных ситуациях без зазрения совести — с обоснованной злобой или гнусным лицемерием — почем зря честят жен в угоду любовницам. К счастью, на ум пришло спасительное иносказание, и он неторопливо повел свой рассказ:

— Представь себе, голуба, тяжело груженый воз. И шкафы на нем, и кровати, и ящики с фарфором и хрусталем. И, конечно, ковры, ковры, ковры... Тянут воз кобыла и жеребец и, на первый взгляд, оба стараются честно отработать охапку хозяйского сена. Однако стоит только взглянуть на постромки тягачей, как тут же замечаешь: кобылкины натянуты что гитарные струны; изо всех сил старается она, бедняга, добросовестно выполнить свою работу. Добрая, славная кобылка! Нет у нее иных мыслей, иных забот как только об этом тяжелом возе с домашним скарбом. В трудах праведных нагуливает она аппетит, и смачно жует корм по утрам и вечерам, и сено и овес идут ей впрок, что заметно по ее лоснящимся бокам, а особенно по широкому, гладкому крупу. А жеребчик — с норовом. То вдруг рванется вперед, не в стремлении помочь кобыле, нет, а в отчаянной попытке вырваться из упряжи, — и тогда туго натягиваются и его постромки, то — и это чаще всего — понуро бредет шагом, не обращая внимания на обвисшие ремни упряжи. Не шибко кручинится он, что напарница надрывается в одиночку. Ему мерещится мокрое от рос утреннее поле, восход горячего солнца над окоемом. Чудятся островки желтых лютиков в море голубоватой полыни, дикая скачка по зарослям лопухов и чертополоха, вольные табуны, резвящиеся у речной отмели. Едва завидит тонконогую, поджарую кобылицу, он оглядывается на нее, бешенно вертит глазами, раздувает ноздри, фыркает и призывно ржет ей вдогонку, давая понять, какое неизгладимое впечатление она на него произвела. Частенько пускается вслед за нею, и тогда искры летят из-под копыт, а задранный хвост бросает вызов небесам...

В этом месте длинной метафоры ласкающие пальцы Давида наткнулись на вчерашний шрам, а через несколько секунд нащупали еще один, поменьше размером. И снова волна жалости захлестнула его, и вновь острое любопытство разгорелось в душе — откуда они, эти рубцы, но страх перед неведомым, которое могло что-то разрушить, изменить в ансамбле, созданном воображением, удержал от расспросов. Лучше не знать, ничего не знать, чем знать слишком много.

Неожиданно Наташа прижалась к нему всем телом и горячо его поцеловала в щеку.

— Спасибо тебе, родной.

— За что? — крепко удивился он.

— За то, что ты не обманул моих ожиданий.

16 октября

Вода из ржавого крана хлестала немилосердно, сток едва успевал поглощать ее. Вернувшись из ванной, Давид сказал:

— Чего это вы не вызовете водопроводчика? Вас же скоро зальет.

— Соседка три раза звонила, да я дважды.

— Ну и?

Наташа пожала плечами.

— Обещают.

— Ах нехорошие люди! — возмутился Давид. — Ах бяки... А есть у тебя телефон домоуправа?

— Есть.

— И его ФИО?

— Есть и ФИО.

— Ну-ка, давай все это сюда.

Наташа взяла со стола сумочку, достала из нее блокнот. Найдя нужный номер, протянула раскрытый блокнот Давиду.

— А зачем это тебе?

— Сейчас увидишь.

Он взял блокнот, схватил ее за руку и потянул за собой в коридор, к телефону.

— Набирай номер!

В недоумении поглядывая на него, она подчинилась. В трубке раздались длинные гудки — один, второй, третий, потом послышался щелчок, и недовольный густой бас прогудел:

— Аверьянов слушает.

Давид твердо заговорил:

— Николай Ферапонтыч?

— Так точно.

— Говорит Чуркин из Моссовета. Запишите по буквам: Человек, Ульяна, Роман, Константин, Иван... Наталья. Чур-кин! Записали?

Бас разжижился.

— Слушаю вас внимательно, товарищ Чуркин.

Из-за поворота на кухню вынырнула добрая старушка, Наташина соседка. Подошла и остановилась в двух шагах, молитвенно сложив на груди морщинистые руки и с обожанием глядя на Давида.

— Вот какое дело, Николай Ферапонтыч, — не стесняясь ее присутствия, продолжал Давид. — Передо мной — жалоба на вас. Жильцы дома в Плотниковском переулке... Уже месяц

протекает кран, а в вашем управлении никто пальцем не шевелит, несмотря на неоднократные заявления. Вода, знаете ли, народное достояние...

— Упустили, товарищ Чуркин, признаю в порядке самокритики. Но исправимся! Слово старого большевика: через тридцать минут слесарь будет на месте.

— Верю, Николай Ферапонтыч. Если б не верил... Кран — это срочно, а вообще-то там все хозяйство надо заменить.

— Будет сделано, товарищ Чуркин.

— Ну что ж, благодарю вас, Николай Ферапонтыч. Не сомневался в вашей партийной добросовестности. Считаю дело закрытым. Всего вам доброго.

— Спасибо, товарищ Чуркин, за доверие, — расшаркался напоследок бас, взмыв к кашицеобразному альту. — Будьте здоровы.

Давид повесил трубку. Старушка с лучистыми глазами немедленно взяла его на абордаж:

— Вот спасибо вам, товарищ Чуркин, благодетель вы наш. А то что бы мы делали, две слабосильные бабы? Кабы мой Иван Афанасьевич, царствие ему небесное, был жив, он бы их всех приструнил, а без него... Дай вам Бог здоровьичка, товарищ Чуркин.

— Да полноте, пустяки это, — скромно отмахивался Давид.

В продолжение телефонного разговора и последующей сцены Наташа во все глаза смотрела на него. Как только закончился обмен любезностями со старушкой, Давид схватил Наташу за руку и, не дав ей открыть рта, уволок в комнату. Там, взглянув на часы, сказал:

— Засекаем время: сейчас восемь двадцать. Бьюсь об заклад, что товарищ Аверьянов слово свое сдержит.

Он избегал пытливого взгляда ее агатовых глаз, но она не сдавалась, смотрела на него так, словно впервые видела. А улучив мгновение, спросила:

— Что все это значит, милый?

Давид неловко ухмыльнулся, привлек ее к себе и уверенно заявил:

— Это значит, что не позднее чем через тридцать минут явится слесарь и устранит неисправность. Не будь я Шмундяк!

— Тише, не ругайся, соседка услышит, — прошептала Наташа.

Давид расхохотался:

— Да ты что! Это же у меня фамилия такая — Шмундяк.

Она растерялась, покраснела.

— Правда? Странно...

— Почему странно? — сквозь смех продолжал разговаривать Давид. — Фамилия странная? Такая уж она у меня: ред-

кая, но благородная. Мой папаша был известным скрипачом, мать — пианисткой, дед — писателем, прадед — раввином. И все Шмундяки.

— А кто такой Чуркин?

— О! — Давид скорчил серьезную мину. — Товарищ Чуркин — большой человек. Хотя бытие его на этой земле никем не доказано, он, тем не менее, не раз выручал меня в трудные минуты — мой верный друг, незаменимый, всемогущий товарищ Чуркин.

Настороженность, подозрительность исчезли из черных-пречерных глаз. Наташа рассмеялась, как дитя, захлопала в ладоши.

— Так вот оно что! Так это ж просто замечательно! Да здравствует добрый, чуткий, милый товарищ Чуркин!

Теперь ее глаза излучали снопики веселых искорок, полные алые губы влажно блестели, обнажая два ряда ровных крупноватых зубов. Давид не удержался, крепче прижал ее, и, как бы благословляя по-христиански, крестообразно поцеловал — сначала в лоб, во имя отца, затем в губы, во имя сына, и напоследок — в оба глаза, во имя духа святого, амин. И под этой не совсем обычной лаской она притихла: веселые искорки в глазах сменились выражением безграничной благодарности, собачьей преданности, готовности к любой жертве. И снова Давид очутился в странном тупике, ясно и четко ощутив разницу между собой и ею: он любил ее, сомнений в том быть не могло, но любим был во стократ сильнее, а такое огромное чувство он вроде бы ничем не заслужил по той хотя бы причине, что ответить на него чем-либо равнозначным был не в состоянии. Чувство должника перед великодушным кредитором, вечно дающим и ничего не требующим взамен...

Слесарь явился через двадцать три минуты. Давид побежал на звонок, опередив в коридоре направлявшуюся к двери соседку. Внешность у слесаря оказалась незаурядной. Средних лет, с тонким, вполне интеллигентным лицом, тронутым давнишней оспой, он впечатлял еще и полным несоответствием между рано поседевшей густой шевелюрой и черной, как смоль, бородой. На нем был засаленный комбинезон, надетый поверх какого-то неопрятного костюма, под мышкой он держал нечто вроде портфеля, из-под крышки которого торчала рукоятка молотка.

Давид провел его в ванную, показал кран, все ржавое, никуда не годное хозяйство. Вытащив из портфеля пару ключей и какие-то резиновые прокладки, работяга в несколько минут устранил неисправность крана, после чего заявил:

— Что мог — сделал. Остальное должен проверить наш тех-

ник, он составит ведомость, сделает калькуляцию. Опосля я приду и в два дня все налажу.

Давид пригласил его на стакан вина. Наташа наполнила два стакана вчерашним шампанским, на двух тарелочках подала кое-какую закуску. Мужчины солидно уселись за столом, чокнулись, опрокинули стаканы, слегка закусили.

— Водка, она, конечно, оказалась бы более к месту, — с огорчением констатировал Давид, — да вот, не предусмотрели. Ну да мы это дело исправим. Так когда, говорите, начнете ремонт, замену труб?

— Да денька через три, не позже, — пообещал слесарь. — Наш начальник лично к себе вызвал, собственноручно наряд выписал, а это значит — нагоняй от вышестоящего начальства получил. Так что не дрейфь, хозяин, все будет в норме.

— Вот и лады, — удовлетворенно кивнул Давид. — А уж вы за всем присмотрите, сделаете на совесть, а?

— А то как же иначе? На то мы и рабочий класс. Мы завсегда на месте. Нас не снимешь, не заменишь...

Это был явный намек на смену руководства в Кремле. Давид всем телом подался вперед.

— Это уж точно. А, кстати, как вы, ваши товарищи восприняли последние события?

Чернобородый работяга без тени трусливости ответил на провокационный вопрос:

— А нам-то что? Этот ли будет, другой ли, третий, нам все одно зарплату не удвоят. Будем зашибать трояки и пятерки, как зашибали завсегда. Кто ж откажется рабочему человеку додать то, чего начальство недодает?

— Никто не откажется, — подтвердил Давид и вынул из кармана заранее приготовленную пятерку. — Вот вам, товарищ, гонорар за труды. А по окончании работ получите еще.

Бородач без стеснения взял бумажку и сунул ее в нагрудный карман комбинезона. Ухмыльнулся:

— Гонорар... Хорошо сказано, хозяин. Чтоб не оскорбить, значит, чуйства пролетария. Ты, видать, хороший мужик, только зря стараешься. Не гонорар ты мне дал, а доплату за низкооплачиваемый труд. Вот и вся недолга. Кто б из нас, слесарей, на одну зарплату тут ишачил?

— Верно говоришь, товарищ. На зарплату нынче не проживешь, дело известное. Извини, если что не так сказал.

— Да чего уж, — отмахнулся тот. — Свои люди — сочтемся. Ну, спасибо за угощение, мне еще по трем нарядам топать.

У двери Давид задал вопрос, с самого начала напрашивавшийся на язык:

— Я вот еще о чем хотел тебя спросить, товарищ: как это

у тебя получается, что голова и борода — такие разномастные?

Слесарь усмехнулся. С чувством превосходства над наивным интеллигентом, не кумекающим в простейших делах, он пояснил:

— Так это же просто, хозяин; борода, она-то ведь на двадцать лет моложе головы.

Давид расхохотался. Засмеялась и Наташа. Шутка была блестящей, слишком остроумной для простого работяги. Но так ли это было важно, если он ее у кого-то позаимствовал?

* * *

Дождь хлестал как из ведра. Под защитой зонта Наташа и Давид быстро шагали к станции метро „Смоленская". Внутри, под землей, некоторое время обсуждали, где и когда встретиться. Наташа сказала, что может в обед отпроситься и больше не приходить на работу. Тогда Давид предложил:

— Сделаем так: если дождя не будет, встретимся на Самотечном бульваре в половине второго. Если будет, — у меня в номере в два. Идет?

Как и в прошлый раз, расстались на „Маяковской". Вскоре Давид топал по лужам каких-то улочек, вымощенных, наверное, при Александре Благословенном и с тех пор ни разу не ремонтировавшихся. На задворках коричневого домины, похожего на ископаемое чудище, Давид наткнулся на вывеску разыскиваемого журнала — еще более обшарпанную, чем вчерашняя, и с грустью подумал, что передовая советская литература, столь громогласно пропагандируемая, фактически занимает положенное ей место — на задворках, а миллионы любителей изящной словесности читают ее только потому, что другого чтива им не дают.

Далее во многом повторилась вчерашняя история. Грязная мраморная лестница в вонючем подъезде вывела его на площадку с огромным окном, три стекла которого были выбиты в незапамятные времена, после чего никто и не подумал заменить их новыми. Сквозь зияющие отверстия задувал холодный ветер, прорывались дождевые струи, и на мраморной площадке образовалась порядочная лужица. Помещение редакции оказалось куда более унылым, чем можно было себе представить даже в дурном сне: затоптанный дощатый пол, закопченный потолок, стены с подтеками, по углам — давно сотканная, покрытая серой пылью паутина. Мебель стояла дряхлая, скрипучая, любое движение каждого из трех работников можно было передать в нотной партитуре

кошмарного трехдецибельного скрежета стульев, подобного скрежету зубовному грешников, искупающих свою вину в котлах геенны огненной.

Две немолодые женщины занимали места за письменными столами под двумя лишь дождями вымываемыми окнами. В стороне, у облупившейся кафельной печки, сидел молодой человек — худющий, прыщавый и длинноволосый. Атмосфера храма литературы была столь мало вдохновляющей, что с первой же секунды Давид решил здесь не задерживаться.

Развязной походочкой он подошел к одной из женщин — дородной рыжей тетке с накинутой на плечи шерстяной шалью, назвал себя и присел на предложенный стул, который тут же издал жалобный стон затерявшегося в джунглях, умирающего с голоду слоненка. Пока редакторша искала в ящиках стола его рукопись, Давид старался не двигаться, чтобы душераздирающий вопль не повторился. И в дальнейшем он сидел смирно, не делая никаких попыток возражать премудрой Василисе, которая что-то такое нелестное говорила о его повестушке о ста двадцати страницах, — что именно, он просто-напросто не слушал, потому что невозможно было слушать аргументы, слышанные уже не раз — и в кишиневских издательствах, и вчера — в московском журнале. Одно лишь дело вполне поддавалось контролю — собственная горькая мысль о том, до чего же точно запрограммированы на одну-единственную волну все эти бесчисленные редакторы, которые, конечно же, друг друга не знают, о нем, Давиде, никогда между собой не разговаривали, а все же, словно сговорившись, долдонили штампованные фразы о литературе социалистического реализма, о форме, содержании, о взаимоотношениях между нациями и народностями Советского Союза и о прочем подобном, пресном и скучном, как произведения классиков марксизма-ленинизма, которыми принято восхищаться на словах, но которые на деле никто не читает.

Когда рыжая дама, зябко кутаясь в пушистую шаль, умолкла и уставилась на него в ожидании естественных возражений, он протянул руку за своей папкой.

— Можно взять?

— Конечно, — последовал ответ, после чего дама вытащила из сумочки на столе „Беломор'' и закурила.

Давид взял папку, бесцеремонно расстегнулся, заткнул ее за пояс. Дама тревожно на него поглядела.

— Вы что?

— Я? Ничего.

— У вас нет возражений?

— Нет.

— Почему? Я еще не встречала писателя, который хоть как-

то не пытался бы защитить свое произведение.

— Нечего защищать. Вы стопроцентно правы. Даже в том, в чем абсолютно не правы.

— Ах, вы не видите смысла со мной спорить?

— А вы позволите себя переубедить?

— Если вы докажете свою правоту...

— Это безнадежный труд. Благодарю вас за внимание и прощайте.

Давид резко поднялся, стул взвизгнул, как тигренок, которому прищемили лапу. Дама пустила в его сторону струю голубого дыма. Мило улыбнувшись ей, Давид направился к выходу. На лестничной площадке, где лужа выросла до размеров небольшого озера, кто-то его окликнул:

— Гражданин!

Давид обернулся. Из редакционных дверей вышел угреватый парень. На его плечи было накинуто пальто. Он щурился сквозь очки и едва заметно кривил губы в виноватой улыбке. Когда он заговорил, голос его прозвучал хрипло, простуженно.

— Извините, что задерживаю вас. Я читал вашу повестушку, и она произвела на меня самое хорошее впечатление...

Давид нетерпеливо прервал его:

— Почему же вы этого не сказали там?

— Но вы ведь и сами не стали защищаться. Вы верно заметили: это безнадежный труд. Я читал ее первый и свое мнение честно высказал Ольге Семеновне. К сожалению, мое мнение здесь не решающее.

— Да, но...

— Нет, нет. Ничем помочь не в силах, даже посоветовать ничего не могу. Просто хотелось, чтобы вы знали мое мнение: вы настоящий писатель.

На душе у Давида немного потеплело. Он протянул молодому человеку руку.

— Что ж, спасибо на добром слове. И это ценность в наши времена.

Парень двумя ладонями сжал его руку.

— Что вы, не стоит благодарности... Главное — не отчаивайтесь. Продолжайте писать, что бы ни случилось.

— Постараюсь, — пожал плечами Давид. — Но слова не даю, что не приобрету смежную профессию... хотя бы для того, чтоб не умереть с голоду.

Он еще раз пожал руку своему единственному пока в Москве литературному доброжелателю и сбежал по ступенькам в колодец двора. Было начало двенадцатого, времени оставалось хоть отбавляй, и он решил сейчас же, без проволочек покончить со всеми своими иллюзиями. Третья редак-

ция находилась где-то неподалеку, он быстро ее нашел и, решительный, наглый, как триумфатор, ворвался в нее с твердым намерением не тратить на пустые разговоры ни одной лишней минуты. Ему повезло. В редакции не оказалось ни одного сотрудника, кроме секретаря-машинистки, милой, безответной старушки, к которой он и обратился с покорнейшей просьбой вернуть ему посланную тогда-то рукопись. Старушка порылась в большом шкафу, набитом папками, и через десяток минут нашла роман Давида — никем не читанный, даже, кажется, не тронутый любопытной рукой. В книге регистрации он расписался в получении своей работы, вежливо поблагодарил, откланялся и, уже с двумя папками за поясом брюк, отправился на свидание с Андреем.

Дождь прекратился, небо медленно прояснялось.

* * *

К Самотечному бульвару он добрался в половине первого. Прошелся по аллее, усыпанной мокрыми палыми листьями. По небу ползали рваные тучи, но иногда сквозь них прорывался луч холодного солнца, и тогда оголенные деревья, окаймлявшие свободное пространство вокруг цветочных клумб, казались не такими сиротливо печальными, а редкие прохожие не столь безнадежно одинокими и потерянными. Тут и там на скамьях отдыхали москвичи — дряхлые старички и старушки из окрестных жилых домов.

Давид добрался до четырехугольной клумбы, окаймленной бетонными брусками, выбеленными известью или окрашенными белилами. В дальнем ее конце, между двумя фонарями, вознесенными на металлических столбах, на высоком постаменте стоял чей-то бюст. Давид не удосужился подойти и прочесть надпись — у одной из скамеек он вдруг увидел с полусотни голубей, плотной стаей толпившихся около человека, который время от времени что-то швырял в самую их гущу.

Медленно приблизившись, Давид лениво опустился на соседнюю скамейку. И в этот момент он узнал Шакала.

Плотный, плечистый мужчина лет шестидесяти спокойно развалился на сиденьи длинной скамьи. На нем было пальто с бобровым воротником, бобровая шапка и какие-то больно уж крепкие ботинки на необычайно толстой подошве. Вот из кармана пальто он вытащил ломоть хлеба, пальцами — короткими, узловатыми, но крепкими, сильными — оттяпал от него кусок и быстрыми движениями принялся его крошить. Когда в ладони набралась горсть мелких крошек, он резким движением бросил их голубям. Жирные, ленивые пернатые,

приглушенно воркуя, кинулись подбирать подаяние. Они толкались, суетились, замахивались друг на друга клювами, эти прожорливые символы мира, белым пометом обкакивали коротко остриженный жухлый газон. Прилетали откуда-то новые птицы, опускались прямо на головы уже пасшихся, тюкали их клювиками...

Физиономия Шакала сильно изменилась за прошедшее десятилетие. Не постарела, нет, а стала как-то еще более жесткой, злой, мерзостной. Раковый цвет лица свидетельствовал о том, что Шакал прикладывается к бутылке. По-иному и быть не могло: отлученный от любимого дела, он наверняка тосковал по нем и в ожидании лучших времен заглушал тоску винищем... Это понятно. Но голуби? Откуда любовь к птицам у человека, ненавидевшего все живое? Ведь даже самый жирный голубь свободно может воспарить в вышину и полететь в любом направлении, и это уже была символика, которая никак не могла прийтись по душе такому верному служаке, как Шакал.

— Умилительно, да?

Андрей незаметно подсел на скамью.

— Да, — кивнул Давид. — Если б в свое время он хоть крошку хлеба подкинул подыхавшему с голодухи доходяге, это зачлось бы ему на страшном суде.

— А тут он расшвыривает хлебушек пригоршнями. Кто знает, может, душа его смягчилась? — задумчиво проговорил Андрей.

— Не до шуток, Отец. Мне не терпится отправить его на тот свет.

Давид говорил, не глядя на друга. Он не спускал ненавидящего взора с человека, занятого кормежкой голубей. Вот Шакал вытащил из кармана очередную краюху, очень схожую с четырехсотграммовой лагерной пайкой, и, отломив от нее кусок, принялся мельчить его пальцами. Вот швырнул первую горсть крошек.

Давид поднялся, сунул руки в карманы пальто, изнутри подправил заткнутые за пояс папки и неторопливо пошел вперед, прямо на голубиную стаю. Голуби возмущенно восприняли бесцеремонное вторжение. Ворчливо протестуя усилившейся воркотней, они отпрыгивали в стороны, с негодованием хлопали крыльями, некоторые даже взмывали в воздух и исчезали за безлистыми деревьями. Давид остановился в двух шагах от Шакала, который был так увлечен своим занятием, что, казалось, и не заметил переполоха, вызванного среди голубиного племени появлением двуногого существа. Но он все видел. И не только видел.

— Чего стоишь, Шмундяк? Садись. В ногах правды нет.

От неожиданности Давид вздрогнул: ему и во сне не могло присниться, что спустя десять лет начальник лагеря, в котором сидело никак не меньше тысячи заключенных, постоянно к тому же менявшихся — убывавших по этапам, прибывавших с этапами, — не только узнает его в лицо, но и фамилию вспомнит. Застигнутый врасплох, он подчинился приглашению — шагнул вперед и опустился на скамью рядом с Шакалом, который, по-прежнему на него не глядя, продолжал его ошеломлять.

— А почему у тебя не было лагерной клички, а? — говорил старик, кроша хлеб пальцами. — Не знаешь, да? Так я могу тебе сказать: твоя поганая фамилия хуже всякой клички, хе-хе-хе... Шмундяк! Хе-хе-хе! Твой дружок, что сидит вон там, чего не подходит, а? Боится, что ли? Я и его помню, Отцом его звали. Всех помню по кличкам, тебя одного — по фамилии. А где ж третий богатырь? Белобрысый, с которым вы в колонне в одном ряду шагали? Вы и в столовке рядом сиживали, и в бараке на смежных вагонках дрыхли... Вспомнил: Брюнетом его прозвали. — Взмахом сеятеля Шакал швырнул голубям очередную горсть хлебных крошек, после чего добавил: — Ну, зови же Отца, чего ему там в одиночестве зябнуть.

И потрясенный Давид во второй раз подчинился. Жестом руки он дал знать Андрею, что можно приблизиться. Андрей неохотно оторвался от скамьи и пошел к ним. И пока он приближался, Давид выговорил первые слова, которые пришли ему на ум:

— Ты первоклассный чекист, Шакал. Глаз у тебя — что алмаз.

Шакал снова рассмеялся своим неприятным, дребезжащим смешком:

— Хе-хе-хе-хе... Это ты верно заметил, Шмундяк. Таких, как я, — раз, два — и обчелся. Садись, садись, Отец, — кивнул он подошедшему Андрею, на лице которого тотчас же отразилось изумление, только что потрясшее Давида.

Андрей сел по его правую руку. Воцарилось тягостное молчание, с минуту Шакал, занятый измельчением очередной порции голубиного корма, не произносил ни слова, а Давид и Андрей обменивались красноречивыми взглядами, в которых сквозило больше растерянности, нежели взаимного понимания. Наконец Давид немного опомнился.

— Ты первоклассный чекист, Шакал, — повторил он, на сей раз для Андрея, и продолжил в другом ключе — неприязненно-колючем: — Но откуда у чекиста такая любовь к пернатым тварям? Что это — искупление грехов в духе христианского милосердия?

Старик слегка вздрогнул, бросил взгляд исподлобья на Давида и в том же ключе ответил:

— С чего ты взял, Шмундяк, что я их люблю? Я ненавижу этих откормленных, ленивых гадов, в каждом из них — ваши души, контрики. Вон тот, белый, — Чайка, которого я лично пристрелил в архангельских лесах, подлюгу, за организацию побега из нашего образцово-показательного лагеря. А там вот, двое серых — Бегемот и Соня, их прикончили прикладами Волчара и Гром, когда они, падлы, осмелились напасть на вохровца Соколова. Этот, пятнистый, — Мышонок, помните, он, гад, голодовку у меня вздумал устроить. Так и сдох в ШИЗО от полного истощения... А вот этот, серо-буро-малиновый, — Монах, он вздумал чахотку мне симулировать, так я его в топях сгноил, подлюгу...

В продолжение всего дикого монолога Давид и Андрей то и дело переглядывались. Теперь в их глазах светилось полное взаимопонимание: Шакал спятил, не имело смысла с ним пререкаться. Это стало еще яснее, когда Шакал вдруг переключился на них:

— А вы радуетесь, что выжили, голубчики? Нет, ни хрена! Вон где вы у меня, вон! Этот, в крапинку, ты, Шмундяк, вся твоя поганая душа уместилась в нем, крапленном, как все еврейцы, будь они трижды прокляты. А тебя, Отец, я сейчас задавлю, падла. Вот!

Молниеносно подняв ногу и так же молниеносно топнув ею, Шакал толстенной подошвой ботинка в полном смысле слова расплющил мирно подремывавшего рядом великолепного турмана. Тот даже пикнуть не успел, мигом из красивой, полной жизненных соков птицы превратившись в грязный безжизненный комок перьев и кровью исходящего мяса. Стая шарахнулась в стороны. Но не в шоке от убийства собрата, а в страхе перед резким, неожиданным движением ноги Шакала. Захлопали в воздухе несколько пар крыльев. Два серых перышка, медленно кружась, опускались вниз.

— Сволочь чекистская! — рявкнул Андрей и занес кулак для удара.

Но не ударил. Потому что Шакал никак не реагировал на него. Казалось, он даже не заметил занесенного над ним кулака. Швырнув на землю несколько оставшихся в руке крошек, он вдруг умилительно-нежно заворковал:

— Гули-гули-гули...

И глупые голуби, не обращая ни малейшего внимания на трупик собрата, вновь деловито заворковали в ответ на призыв кормильца и, бесцеремонно отталкивая друг друга, плотной массой заполнили пространство у его ног.

Андрей опустил руку, решительно поднялся.

— Яч-смить-бюё! — услышал над собой его голос оцепеневший Давид. — С меня хватит, черт побери! Пошли отсюда..

На ходу поправляя заткнутые за пояс папки, Давид поплелся за Андреем. Шагов тридцать они прошли в полном молчании. И лишь когда скамья с Шакалом и с прожорливыми голубями на пятачке перед ним исчезла из поля зрения, Давид, вздохнув, философски изрек:

— Вот она, Божья кара.

Зло огрызнулся в ответ Андрей:

— Чушь порешь, яч-смить-бюё! Не кара, а благословение. Этот недочеловек продолжает пребывать в полном непонимании смысла своего прошлого и настоящего. Да нет, я не то говорю... Бог утвердил его веру в необходимость, осмысленность этого прошлого и, отняв у него разум, навсегда оставил в блаженном состоянии гордости сыгранной на земле ролью.

Давид не ответил. В конце аллеи показалась тоненькая фигурка в светлом плаще, с непокрытыми черными волосами. С зонтом подмышкой, с черной сумочкой на сгибе локтя женщина направлялась прямо к ним, широко расставляя на ходу носки обутых в черные туфельки стройных, пружинистых ножек.

* * *

— Женщина из поэмы! — воскликнул Андрей, обеими руками сжимая протянутую Наташей руку.

— Женщина для поэмы, — поправил его Давид.

Она рассмеялась, откинув голову назад, и возразила обоим:

— Женщина без поэмы.

Похоже было, что Андрея сейчас понесет. Он восторженными глазами глядел прямо в агатовые Наташины зрачки, в широкой улыбке обнажал щербатый рот — черный провал, окруженный зарослями серебристой волосни, и в немом обожании слегка раскачивал головой, не иначе как в ритм рождавшимся в голове стихам. Давид понял: если его не отвадить, сам он ни за что не догадается уйти.

— Ладно, Отец, — поспешно заговорил он, — рад был тебя повидать, но теперь мне пора. Извини уж.

Андрей нагло ухмыльнулся ему в лицо.

— Иди, ежели пора. А мы с Натальей прогуляемся. Верно, девочка?

„Вспомнил годы молодые, старый черт", — разозлился Давид.

Вслух сказал:

— Значит, до скорого. В ближайшее время я дам о себе знать. Или звони мне ты, если заскучаешь... Да, кстати, я ж тебе пятерку задолжал. Вот она! — Из кармана Давид извлек смятую бумажку и всучил ее Андрею, который скорчил такую свирепую монгольскую рожу, что ему стало неловко, и он поспешил извиниться: — Прости, наверное, все это не ко времени...

Но Андрей уже цепко ухватился за кончик банкноты и, отпуская ее на вольную волю, то есть другу на пропой, Давид пригрозил ему пальцем:

— В следующий раз не одалживай мне денег. Все прокучу, отдавать будет нечего, понял?

Андрей помахал рукой Наташе, Наташа мило ему улыбнулась. Выйдя на край тротуара, Давид поднял руку. Такси не заставило себя ждать.

Коридорной на месте не оказалось. На ее столе лежал пяток ключей, среди них и от номера 211-го. Давид отпер дверь, пропустил Наташу вперед и вошел в свой апартамент вслед за нею. Пока она снимала плащ в прихожей, он прошествовал в салон и, вытащив из штанов совсем провалившиеся вовнутрь рукописи, с отвращением забросил их в тот ящик, где уже валялось несколько его бессмертных творений. Проделав это, вздохнул с облегчением и сбросил с себя пальто и велюровую шляпу. Все было мелочно и мерзостно в сравнении с предстоявшими радостями — потуги на создание литературных шедевров, желание их опубликовать, читать хвалебные отзывы, обидные неудачи в издательствах и журналах, даже фантасмагорическая встреча с Шакалом, единственным, кажется, человеком, хранившим о нем, Давиде, такую прочную память. И в этих радостях не было места даже лучшим из лучших — тем, кого он любил, кто любил его. Все и все были лишними в часы, когда вот эта слабая, хрупкая женщина оставалась с ним наедине, и если так будет всегда, то ни к чему творчество, и вино ни к чему, и собеседники, и книги. Она одна заключала в себе такой огромный мир, что им вполне можно было наполнить до краев всю его жизнь.

Он обнял ее, когда она вошла в салон — в синей короткой юбочке и голубой шерстяной кофточке, он поцеловал ее в губы, и дикий мед обжег его губы. Она закинула руки ему за шею, повисла на нем в каком-то легком забытьи, и когда он от нее на мгновение оторвался, будто во сне прошептала:

— Ничего мне не надо.

Давид легко подхватил ее на руки и бережно положил на диван. Она лежала с плотно закрытыми глазами и, словно в бреду, шептала:

— Не хочу в театр, в кино не хочу и в ресторан... Только с

тобой быть. Лежать рядышком, слушать твое хрипловатое дыхание, ощущать твое тепло, ловить смысл твоих слов... И любить тебя. До изнеможения. До полного самозабвения...

Он сидел рядом и гладил ее волосы, щеки, лоб, и нежность пронзала его сердце тучей вонзавшихся одна за другой стрел. И эта нежность вытесняла даже желание.

Стук в дверь вырвал его из мира расплывчатых грез. Он кинулся в прихожую. Оказалось — коридорная, не старушка, а другая, помоложе, ее сменщица.

— Извините, все в порядке. Вернулась, гляжу — ключа нет. Решила проверить...

— Да, это я взял его. Все в порядке.

Наташа лежала не шелохнувшись. Давид остановился поодаль, залюбовался ею. И тут, вспомнив коридорную, он подумал, что гостиница — совсем не подходящее место для любви, особенно московская гостиница, где у стен могут быть уши. Он и решил не распалять ни себя, ни Наташу, побыть здесь, а потом уйти к ней.

— Ты спишь, голуба? — осторожно спросил он.

В ответ она протянула к нему руки. Он подошел, наклонился, поцеловал ее в лоб, сказал:

— Поспи немного, а? Я уже два дня не брился, да и скупнуться мне не мешало бы. Это быстро. Хорошо?

Не открывая глаз, она кивнула.

Он прошел в ванную. Открыл оба крана, вода из них хлынула в ванну со свистом, с водопадным ревом. Сняв с себя пиджак, брюки, рубашку, он стал у зеркала и принялся за бритье. В пять минут побрился, вытер щеки полотенцем, затем подошел к ванне, успевшей наполниться до краев, закрыл краны и пальчиком попробовал воду. Все в порядке. Скинув белье, Давид перешагнул через край ванны и со вздохом облегчения растянулся в ней во всю длину.

Он лежал с закрытыми глазами, пока интуитивно не почувствовал, что его одиночество нарушено. Испуганно вытаращив глаза, он с ужасом увидел у двери Наташу. Дверь оставалась приоткрытой, густой пар валом валил из ванной в салон, прекрасная женщина, опустив глаза, стояла в четырех шагах, а он, голенький, как новорожденный, лежал перед нею в прозрачной воде.

— Ты что? — непроизвольно вырвалось у него.

Совершенно инстинктивно он прикрыл руками срамное место. И тогда Наташа, по-прежнему стоявшая с опущенной головой, тихо промолвила:

— Не бойся, я не смотрю. Просто мне... очень захотелось к тебе. Можно?

Давид чертыхнулся про себя. И умилился одновременно:

этакая святая простота! А, может, не простота — распущенность, развращенность?

Не место и не время было гадать. Как бы там ни было, какой нормальный мужчина откажется от подобной оказии?

— Иди, если хочешь, — сказал он.

Наташа пулей вылетела в салон. Буквально через полминуты она вернулась в чем мать родила. Одной рукой прикрывая грудь, другой — темный треугольник между бедер, она, словно мальчишка, дорвавшийся до теплого моря, плюхнулась в воду, прямо на Давида, не успевшего присесть, чтоб освободить ей место в ванне. Она крепко обняла его, всем телом к нему прижалась и губами прильнула к его губам, при этом едва не утопив его, потому что с ее приходом полная ванна переполнилась.

Увы, любовной оргии в ванне не получилось. Непримиримый враг Дон-Жуана Каменный гость вдруг заколотил в дверь и потребовал открыть.

— Ты заперла дверь? — еще не соображая, в чем дело, спросил Давид.

— Ну да, — последовал ответ.

Давид вылез из ванны, и только тогда увидел размеры бедствия: увлекшись друг другом, оба забыли про закон Архимеда о теле, погруженном в воду... О двух телах старый мудрец ни словом не обмолвился. В результате преступного небрежения законами физики вода из ванны хлынула на пол, потекла в салон, оттуда — в коридор. Обернув бедра полотенцем, Давид подскочил к двери и заорал:

— Не беспокойтесь! Я сейчас уберу!

— Закрутите краны! — последовал совет коридорной.

— Уже закрутил! — доложил Давид.

Он вернулся в ванную, схватил свои трусы, вылетел в салон, натянул их вместо полотенца, которым тут же принялся загонять воду из салона в ванную. Когда полотенце набухало, он выкручивал его над унитазом. Наташа тем временем тоже успела одеться и подключиться к работе. Дело пошло споро. Через десять минут в комнате и ванной был восстановлен порядок. Наказав Наташе не высовывать носа из ванной, Давид отворил дверь в коридор и под укоризненным взором коридорной принялся за осушение залитой его части. Это заняло еще пять минут. Покончив с трудами праведными, Давид вновь закрыл дверь на ключ и устало опустился в кресло. Наташа выглянула из ванной.

— Можно войти?

— Входи. Слава Богу, все позади.

Она виновато присела на диван. Исподлобья взглянула на него. В агатовых глазах застыло такое чувство вины, что

Давида начал разбирать смех. Он прыснул в кулак. Хихикнула и она. И оба засмеялись, опасливо поглядывая на дверь.

— Придется удирать отсюда к тебе, голуба, а?

Она согласно кивнула.

Коридорная, конечно, находилась на своем посту, когда они, спустя час, вышли из номера и направились к лестнице. Суровым взглядом всемирной блюстительницы нравов провожала она их, пока они не скрылись из виду. Наташа не глядела в ее сторону. Внизу, в холле, она заметила:

— Любопытно, что она думает обо мне.

Давид немедленно откликнулся:

— Ее мысли для нас не представляют никакого интереса.

17 октября

Он лежал на той самой тахте, которая первоначально вызвала в нем такой суеверный ужас. Лежал один, закинув руки за голову, и созерцал серое пятнышко на потолке, очертаниями напоминавшее итальянский сапог на высоком каблуке, занесенный для мощного удара по кишащей мафией Сицилии. Впрочем, острова мафиози на потолке не было, и Давид, в его поисках, рассеянно скользил взглядом по белому потолку. Не найдя, разочарованно вздохнул, повернулся на бок и неожиданно уснул.

Проснулся он снова часа через два, около одиннадцати. Вспомнил абсурдные, унизительные хождения свои по московским редакциям и сморщился от брезгливости и отвращения. Поделом ему! Незачем было и соваться в эти проклятые рассадники бездуховности, где никогда не пропустят ни одного живого слова. Ведь созданы-то они как раз для того, чтобы „не пущать", а вовсе не для „развития национальной по форме, социалистической по содержанию". Контрольно-пропускные пункты, посты таможенного досмотра — вот что такое на самом деле редакции газет и журналов, издательства в его родной стране. Их назначение — не прозевать, найти, изъять, обезвредить любой патрон, грамм взрывчатки в поступающих рукописях, стерилизовать, если в результате легкой операции их можно лишить всякой опасной потенции, чреватой неприятностями для режима, или обречь на вечное прозябание в ящике письменного стола писателя, если такой операции они не поддаются по причине потенциальной для режима опасности. Почему еще не предписано в этом жутком антимире ходить не на ногах, а на руках? Это было бы логичным завершением бесконечной череды „отеческих советов", постановлений, предписаний, указов, законов, „не рекомен-

дующих", „осуждающих", „сурово преследующих", „заслуженно карающих"...

В первом часу дня Давид запер Наташину квартиру, ключ, как было условлено, захватил с собой и отправился в прогулку по Москве. Оставаться в столице ему, собственно, было незачем, если не считать внезапно свалившегося на него сладостного долга перед возлюбленной, властно повелевавшего ему по возможности оттягивать день отъезда. Он решил задержаться еще на два-три дня, на столько времени, на сколько хватит дурных денег, полученных от друга сердечного Степана. Дальше видно будет.

Побродив по Горького, без всякой видимой цели заглянув в несколько магазинов, он вышел на Советскую площадь и забрел в кафе „Арагви". В меню его внимание привлекло экзотическое яство — яйца куропатки, официант принял заказ и принес блюдо с крошечными яичками, обильно политыми каким-то сложным соусом. С любопытством и аппетитом уплетая это блюдо из безвозвратно ушедшего помещичье-купеческого быта российской столицы, запивая его холодным пивком, Давид снова, теперь уже философски-беззлобно, переживал свое фиаско в московских журналах. В конце концов, думал он, придет время... Ему было отлично известно, что оно, это время, придет не раньше, чем падет режим, чьи вожди находились так близко от замечательного кафе „Арагви", всего в нескольких сотнях метров, в хоромах, которыми даже русские цари, начиная с Петра, не решались пользоваться. Он попытался себе представить, чем они заняты сейчас, в этот послеполуденный час, когда сам он, никому не известный писателишка из Кишинева, подъедает малую толику кем-то когда-то бережно собранных и отправленных сюда, в Москву, сотен, тысяч крошечных яичек неприхотливых перелетных птиц. Получалось что-то очень уж скабрезное, непотребное, и он быстро отказался от мысли хотя бы приблизительно угадать подлинный образ жизни, привычки, методы работы вождей пролетариата. Его от них отделяла непроходимая пропасть, более глубокая, чем та, что зияла между основателем Москвы Юрием Долгоруким, верхом на коне сидевшим в центре Советской площади, и претенциозным зданием Моссовета, где заседали десятки товарищей Чуркиных, самоотверженно стоявших на страже интересов трудящихся.

Около трех Давид покинул „Арагви" и пешком направился к „Будапешту": Наташа обещала позвонить к концу рабочего дня. До гостиницы было рукой подать, через двадцать минут он уже поднимался по лестнице к себе на этаж. Старушка-коридорная встретила его приветливой улыбкой:

— А я ваш ключ отдала двум вашим друзьям. Директор распорядился.

Возликовав в душе — наконец-то, в честь его приезда, Андрей и Степан помирились и вдвоем решили нанести ему визит вежливости, — Давид кивнул коридорной и развинченной походкой направился к своему 211-му. В прихожую он вошел с умильной улыбкой на устах, предвкушая дружеское застолье, острое пикирование с коллегами по профессии, милое злословие в адрес маститых баловней судьбы, обмен свежими анекдотами, новостями из жизни литературной братии вообще.

И вдруг — на пороге салона — застыл, как громом пораженный. Улыбка сползла с лица, благодушное выражение сменилось сурово-негодующим, и он произнес неизбежные в подобных случаях слова:

— Что вы здесь делаете?

Вопрос был чисто риторический. С первого же мгновения он понял, кто они, те двое, что проникли в его номер, и что они там делают. Надо было быть круглым идиотом, чтобы не понять, а Давид прошел недурную жизненную школу как раз в том учреждении, которое направило этих двух к нему.

У одного, удобно расположившегося у письменного стола, было ярко выраженное собственное лицо. Он, можно сказать, давно уже перешагнул за рубежи второй молодости, о чем свидетельствовала густая седина в редеющих волосах. Лицо его отличалось какой-то волчьей заостренностью, посреди этого лица торчал крупный мясистый нос. Но главной его приметой был единственный глаз — правый, опухший от перенапряжения, с кровяными сосудиками, пересекавшими нездорового сероватого цвета белок. Вместо второго глаза, Бог знает где и кем выбитого, этот человек носил черную овальную нашлепку. Кличка „Циклоп" сама собой напрашивалась при виде его, и Давид, несмотря на более чем щекотливое положение, в котором очутился, немедленно ему ее присвоил. На письменном столе, раскрытая, лежала одна из папок Давида, рядом — другие его произведения, тоже извлеченные на свет Божий из ящика и теперь покоившиеся аккуратно сложенной, подготовленной для тщательного обследования стопкой.

Второй незванный гость напоминал старинного знакомого Давида по „Смершу" майора Сидорова. То же ничем не примечательное лицо, которое начисто исчезает из зрительной памяти пять минут спустя после встречи с ним, то есть, белое пятно, несмотря на наличие глаз, носа, рта, ушей, — вот каким он был, коллега Циклопа, сидевший в кресле и не обременявший себя ни чтением Давидовых рукописей, ни обыском

в его номере. Выглядел он очень молодо, никак не больше тридцати, и вполне мог быть „погибшим'' сыном майора Сидорова, хотя вероятность такого родства, конечно же, являлась весьма ничтожной.

При появлении Давида оба — и Циклоп и молодой Сидоров — подняли на него глаза. Похоже, они его ждали. Молодой Сидоров растянул в улыбке ниточки жестких губ и насмешливо произнес:

— Входите, гражданин Шмундяк. Чувствуйте себя как дома.

Давид молча переступил порог собственного номера, столь нагло оккупированного захватчиками. Препротивная дрожь в коленках, возникшая внезапно, казалось бы, без всяких оснований, постепенно становилась все более ощутимой и отвратительной. Протестовать не имело смысла. Прокуратура СССР безоговорочно отклонила бы любой его протест, если бы он вздумал жаловаться, потому что пришельцы имели все права, включая право плюнуть на постановление прокуратуры, буде найдется прокурор, который осмелится опротестовать их незаконные действия. Эту истину прекрасно знал Давид, как знал ее любой гражданин СССР.

Он опустился на стул у окна и усилием воли попытался унять трусливую дрожь. Поскольку в течение следующих пяти-семи минут двое к нему больше не обращались, ему удалось несколько усмирить овладевшего всем его существом зайца. Последующим героическим напряжением он сумел даже заставить заработать колесики остановившегося было мыслительного аппарата. Едва они завертелись, он первым делом вытянул вперед руку в поисках личного звездолета, на котором можно было умчаться далеко-далеко от Москвы... Увы, ему пришлось тут же убедиться в том, что гости дело свое знали туго. Звездолета под рукой не оказалось: не иначе как они предусмотрели возможность его бегства и, конечно, первым делом постарались лишить его средств передвижения.

Обнаружив непоправимую пропажу, Давид, как ни странно, еще больше успокоился. Что ж, решил он, значит, придется принять бой — а там будь что будет.

* * *

— Что вы ищете? — хмуро спросил молодой Сидоров, заметивший его жест.

Давид, стиснув зубы, решил: умереть, но не дать гадам насладиться его страхом перед ними. Поэтому он ответил — нагло и жестко:

— Вчерашний день. Он был приятнее сегодняшнего.

Молодой Сидоров покачал головой.

— Это вам кажется, гражданин Шмундяк. Мы вот уже три дня следим за каждым вашим шагом.

— На кой это надо? — зло огрызнулся Давид. — Я что, американский шпион?

Тут же последовала суровая отповедь:

— Это не исключается. Сейчас, знаете, пошла мода передавать через всяких там подонков рукописи, порочащие советскую действительность, за границу. А на вас поступил сигнал. Очень серьезный сигнал.

Давид вспомнил свои размышления в „Арагви". Он явно не довел их до логического конца. У редакций советских газет, журналов, издательств, помимо двух функций, о которых он думал, — стерилизации одних рукописей, возвращения других чересчур свободомыслящим авторам, — была третья, едва ли не основная: обо всех без исключения авторах — лояльных, полулояльных, нелояльных — докладывать органам... Как же это он, прожженный лагерник, мог упустить из виду эту роль редакций? И кто его заложил — одна из милых литературных дам или посочувствовавший ему прыщавый парень?.. Никакого значения этот факт теперь уже не имел, тем не менее интересно было бы разнюхать подробности этой дьявольской кухни.

— Нетрудно себе представить, какой это сигнал и откуда он поступил, — качнул головой Давид. — Но вы зря тратите время. Я-то никаких рукописей никуда не собирался переправлять. И напрасно вы читаете с таким огромным вниманием мои скромные творения, — теперь он обращался непосредственно к Циклопу. — Никакой антисоветчины вы в них не найдете.

Циклоп, казалось, не слышал обращенных к нему слов, он, не отрываясь, продолжал читать единственным глазом толстый роман Давида. За него сурово ответил молодой Сидоров:

— Никому, кроме нас, не дано выносить приговор, что есть антисоветчина, а что нет.

— О, вы монополисты? — насмешливо отозвался Давид и тут же пожалел о вырвавшихся словах, потому что молодой Сидоров, словно получив внезапный удар в челюсть, вскочил со стула и с бешенной ненавистью в глазах уставился на него в упор.

— Да, мразь ты этакая! — вдруг визгливо крикнул он. — Партия закрепила за нами монопольное право выявлять и обезвреживать таких контриков, как ты, и мы это право, будь уверен, полностью реализуем... Всех к стенке поставим!

Давид порядком струхнул, но хвоста не опустил. Теперь он обратился к Циклопу с личной просьбой:

— Товарищ... не знаю, как вас величать, оградите меня, пожалуйста, от грубостей вашего коллеги.

Циклоп оторвался наконец от рукописи и вперил в него свой единственный, налитый кровью глаз. Он словно соображал, стоит ли защищать Давида. А может, до него не сразу дошла его просьба. Наконец он сказал, обращаясь к молодому Сидорову:

— Не надо нервничать, капитан Петров.

Тот еще пуще взвился:

— Не надо нервничать? А я и не нервничаю, черт возьми! Попадет он ко мне, этот... писатель, этот бумагомаратель, я из него отбивную сделаю в первый же час допроса. Он, видите ли, будет меня учить, что дозволено, а что нет...

— Учиться никогда не мешает, — назидательно поднял палец к потолку Давид. — Особенно хорошим манерам, которые, надеюсь, культивируются и в вашем уважаемом учреждении.

Молодой Сидоров шагнул к нему. Давид зажмурился в ожидании удара. Но тот к нему не прикоснулся. В раскаленной атмосфере 211-го вдруг раздался начальнический окрик Циклопа:

— Капитан Петров, приказываю вам: возьмите себя в руки. Нынче не старые времена. — Сказав эти вещие слова, Циклоп обратился к Давиду, тому даже показалось, что голос офицера в штатском прозвучал отечески-ласково: — А вы, гражданин Шмундяк, не дразните быка.

Он снова погрузился в чтение. Давид вперил спокойный взор в бешенные глаза молодого Сидорова. Он чувствовал себя победителем, хотя и понимал, что защитник и обвинитель — лишь две стороны одной медали, они заранее распределили между собой роли в тщательно обдуманной игре по психологической обработке жертвы: один с пряником, другой с кнутом.

А время шло. В номере стало темно. Молодой Сидоров поднялся и включил верхний свет, настольную лампу. Резко зазвонил телефон. Давид рванулся к аппарату, но молодой Сидоров решительно преградил ему дорогу. Телефон надрывался, моля ответа. Потом вдруг умолк. Но минут через десять снова зазвонил. Давид обратился к Циклопу:

— Разрешите ответить, товарищ... офицер. Я ничего такого не скажу. Честное слово.

Циклоп с ноткой сочувствия в голосе терпеливо объяснил:

— Видите ли, гражданин Шмундяк, это у нас не принято. Пока мы здесь, потерпите. — Он помедлил и добавил, явно

щеголяя осведомленностью. — Мы знаем, кто вам звонит. Ничего, она тоже немного потерпит.

В этом разъяснении содержалось недвусмысленное обещание в скором будущем освободить его, Давида, от своего присутствия. Давид поэтому стиснул зубы и больше не настаивал на желании взять трубку, хотя аппарат все звонил и звонил... Но от нетерпения, от напряжения, от страха, наконец, его жутко потянуло в одно место. Он снова осмелился оторвать Циклопа от увлекательного чтения:

— Товарищ офицер, товарищ офицер, можно мне оправиться?

— Сиди, пока не усрешься, гад, — злобно хохотнул молодой Сидоров.

Тут и в Давида вселился бес. Он повысил голос:

— Не имеете права! Я такой же советский гражданин, как и вы. И буду протестовать...

Молодой Сидоров расхохотался, ткнул в него пальцем из своего кресла:

— Ты — протестовать? Против чего? Против советской власти?

— Вы — не советская власть. И горе ей, если станете!

— Эй, петухи, уймитесь, — подал голос Циклоп. — Идите, гражданин Шмундяк, спокойно делайте свое дело.

Телефон умолк.

Давид победоносно взглянул на молодого Сидорова и помчался в туалет. Он стал над унитазом и со вздохом начал облегчаться. Увы, за прошедшие часы, видать, он столь основательно перетрухал, что превратился в сплошной мочевой пузырь. Желтоватая влага лилась и лилась из него, будто вода из водосточной трубы во время затяжного дождя. Давид пытался усилием воли перекрыть сток, но ничего не получалось, моча продолжала струиться, теперь уже узенькой, умирающей струей. Это тянулось так долго, что молодой Сидоров, не выдержав, вскрикнул, полный дурных предчувствий:

— Эй, контрик, ты чего там так долго сидишь?

— Воображаю, что писаю на тебя, — озлясь огрызнулся Давид, понимая, что вновь переходит границу, но не в силах сдержаться.

Наконец он иссяк и вернулся в салон. Циклоп укоризненно покачал головой:

— Вы непозволительно себя ведете, гражданин Шмундяк. Если так будете продолжать, я не смогу вас защищать.

Теперь молодой Сидоров торжествующе поглядел на Давида. Давид счел нужным извиниться:

— Простите, товарищ офицер, я бы никогда такого себе не позволил, если бы этот... человек меня не провоцировал. —

Он заметил, что Циклоп захлопнул папку, и дерзко поинтересовался. — Ну как, товарищ офицер, вы находите мою писанину?

Тот вперил в него задумчивый взгляд единственного глаза и после недолгой паузы заметил:

— Вообще-то мы читаем литературу под определенным углом зрения.

— Ну и как под этим крайне острым углом?

— Есть материал для изучения. И для выводов. Таково мое мнение.

Циклоп поднялся со стула, приблизился к Давиду.

— Послушайте внимательно, что я вам скажу, гражданин Шмундяк...

* * *

И снова Давиду показалось, что неподдельная сочувственная нотка звучит в его голосе.

— Мне придется взять ваши рукописи с собой, — продолжал Циклоп. — Надеюсь, недоразумений у нас с вами по этому поводу не возникнет?

Давид ответил, тоже стараясь вложить в свой голос нотку тепла:

— У меня никогда не было и не будет такого внимательного читателя, как вы, товарищ офицер.

Циклоп дернул уголками губ, что, очевидно, означало улыбку. Он сказал затем:

— Но это только одна сторона нашей с вами работы. Другую давайте обсудим. Садитесь.

Оба заняли свои прежние места — Давид у окна, Циклоп — у письменного стола. Телефон давно перестал звонить, и Давид с беспокойством думал о том, что предпримет Наташа в связи с его молчанием. С нее станется прибежать и ворваться в номер в самую неподходящую минуту, а ей лучше не быть свидетельницей или — того хуже — участницей скверной заварухи, в которую он влип. Хоть бы они побыстрее убрались, эти двое незванных гостей. Но чем обернется для него такое близкое знакомство с ними? Похоже, именно это ему предстояло сейчас узнать из уст пожилого чекиста.

И вот заговорил Циклоп, и с первых же его слов Давиду стало предельно ясно, что дело пахнет керосином, что отныне и во веки веков он будет жить на манер подопытной инфузории в капле бульона на стеклышке под объективом мощного микроскопа.

— Мы не арестуем вас, гражданин Шмундяк, даже не задержим. С миром отпустим домой, но с единственным условием:

вы сегодня же покинете Москву. Возможно, дома вас встретит наш человек... — Он обратился к молодому Сидорову: — Когда уходит ближайший поезд или самолет?

Тот порылся в толстом блокноте.

— Самолет — через час, не успеет. А поезд уходит в двадцать два пятьдесят. Пускай едет поездом.

— Капитан Петров прав, — кивнул Циклоп, вытирая единственный глаз белым платочком. — Вы поедете поездом. Если не достанете билета, обратитесь в воинскую кассу, я распоряжусь. Как я уже говорил, на месте, может быть, вас встретит наш человек... Не знаю, посоветуюсь с начальством. Если не встретит, явитесь в известное вам здание на проспекте Ленина, около милой белой церквушки. Небось, знаете его?

— Кто смеет не знать?! — с бодренькой вопросительно-утвердительной интонацией в голосе воскликнул Давид.

— Вот и прекрасно, гражданин Шмундяк, — кивнул седой головой Циклоп. — Зайдете в бюро пропусков и по внутреннему телефону попросите майора Телицына. Впрочем, я почему-то склонен думать, что вас все-таки встретят...

С каждым словом одноглазого чекиста сердце Давида все ниже опускалось в область пяток. Он прекрасно понимал, что означает этот визит и каковы будут его последствия. Наглухо закроются перед его носом двери всех редакций. Не то что книгу издать — статейку он отныне не сможет тиснуть в газете. По всей вероятности, и в школе получит крутой от ворот поворот, так как совершенно исключается возможность доверить ему, антисоветчику, воспитание молодой поросли строителей светлого будущего. Впрочем, если сотрудничать с органами... Но это исключалось начисто. Лучше голодная смерть. Нищета. Прозябание. В конце концов, можно приобрести другую специальность. Был же он когда-то наборщиком... Ах черт, и в типографию его не возьмут, там ведь бумага, шрифты, печатные станки, к которым контриков советская власть на пушечный выстрел не подпустит. Открыта дорога в слесаря, токаря, шоферы. Ну, и есть добрая молочница... Может, завтра утром к ней в уютный домик явятся с обыском нехорошие дяди, все перевернут вверх дном, конфискуют его бумажки и без обиняков дадут понять, что она, лояльная гражданка, к сожалению, связала свою светлую судьбу с крайне опасным, ненадежным субъектом. Как воспримет Тамарка такое сообщение? Нет, она не отвернется, но...

Голова у него шла кругом, в затылке стало побаливать. Но он остался верен себе. Он сказал:

— Я все понял, товарищ офицер. Все будет исполнено согласно вашему приказанию. Только, пожалуйста, дайте знать

вашим коллегам в Кишиневе, чтоб почетного караула на перроне не выстраивали. Не надо также ни оркестра, ни цветов...

— Шутник, мать твою... — презрительно прервал его молодой Сидоров.

Но Циклоп мило скривил свои ленточки.

— Ах, капитан, когда вы научитесь ценить остроумное слово?

Затем он обратился к Давиду:

— Я знаю, вам неприятен этот разговор, вся эта катавасия. Что поделаешь, — он вздохнул, — служба есть служба. И потом, вы ведь сами на себя накликали беду. Ничего, не падайте духом, я уверен, все войдет в свою колею.

„Войдет, но при одном условии, — лихорадочно думал Давид, — при одном условии, которое я не в силах буду выполнить, а потому отныне пойдет совсем другая жизнь. Подамся в токаря. Или в сапожники. Всегда будет верный кусок хлеба, и если Тамарка даст мне коленом под зад... Ах, черт, но ведь есть еще Наташа! До чего ж некстати эта внезапная любовь. Но... люблю ли я ее?"

Боль в затылке усиливалась. Одно из тяжких московских облаков словно ворвалось в его 211-й номер и давило на его бедную головушку. Он потер виски, лоб, затылок. Циклоп, казалось, заметил его состояние и сделал нужные выводы. Он поднялся, аккуратно собрал Давидовы папки и сунул их подмышку.

— Ну, вроде все обговорено. Отдохните пару часиков и отправляйтесь с Богом. Следить за вами не будем, невыполнение нашего уговора может повредить только вам. Пойдемте, капитан Петров.

Молодой Сидоров лениво поднялся с кресла, ехидно ухмыльнулся.

— Дешево он от нас отделался, этот контрик, товарищ майор. Я б на вашем месте...

„Пряник и кнут, кнут и пряник", — соображал Давид. Он тоже поднялся на ноги — гостеприимный хозяин, провожающий дорогих гостей. Теперь, когда они, наконец-то, уходили, он почувствовал себя чуть лучше, поэтому решил побаловать себя последней дерзостью:

— А ведь капитан Петров очень скоро будет на вашем месте, товарищ майор. Он и моложе, и землю копытами под собой роет.

Циклоп вздохнул.

— Что поделаешь. Молодым везде у нас дорога... Я уж скоро в отставку уйду. — Он вдруг встрепенулся. — А кстати, чисто личный вопрос: как вам удалось получить в „Будапеште" этот люкс?

Давид состроил непроницаемую мину.

— О, у меня есть влиятельные покровители.

Молодой Сидоров не преминул уцепиться за кончик протянутой нити.

— Я могу выяснить его связи, товарищ майор.

Но Циклоп устало от него отмахнулся.

— Стоит ли, капитан. У каждого советского человека сотня добрых знакомых в столице. Не вижу пока необходимости заниматься этим вопросом, есть дела поважнее. Ну, гражданин...

Он вдруг осекся, уставившись единственным глазом в дверь. Давид повернул раскалывавшуюся голову и тоже замер: в дверях — в светлом плаще, с расписным зонтиком подмышкой — стояла Наташа. Она неотрывно смотрела на Циклопа, и выражение животного ужаса отчетливо стыло в ее агатовых глазах.

— Ну, прощайте, стало быть, Давид Семенович, — мягко сказал Циклоп, впервые за весь вечер назвав Давида по имени и отчеству. Тут же, словно внезапно что-то такое важное вспомнив, он дружески подхватил его под руку, увел в угол салона и шепнул: — Вы, конечно, вправе все рассказать вашей подруге, но я лично советовал бы вам попотчевать ее сообщением о визите московских друзей... Зачем зря волновать женщину, а?

„Еще один пряник'', — мелькнуло в голове Давида. Он кивнул. И тогда Циклоп пошел к выходу, за ним, многообещающе ухмыльнувшись Давиду напоследок, последовал молодой Сидоров. Наташа посторонилась, пропуская их в прихожую. Но пока они надевали плащи, она все с тем же выражением ужаса в глазах продолжала стоять в дверном проеме. Открывая дверь в коридор, Циклоп вежливо попрощался также и с нею. Молодой Сидоров не последовал доброму примеру старшего товарища.

Прошло несколько секунд после их ухода, пока Наташа обрела дар речи, покинувший Давида на еще более продолжительное время.

— Что здесь происходит, Давид?

А может, не произнесла ни слова? Может, Давиду только показалось, что она задала этот вопрос, потому что она должна, обязана была его задать? Он крепко потер затылок и откликнулся:

— Приходили два моих старых товарища...

И сам скривился от фальши своего голоса. Наташа шагнула в салон, приблизилась к нему, ладонями сжала его пылающие щеки.

— Зачем ты меня обманываешь?

Он протестовал, но слабо, вяло, неубедительно, избегая ее взгляда.

— Я не обманываю. Два товарища, я их когда-то знавал...

* * *

И тогда произошло неожиданное. Она отошла от него, плюхнулась в кресло и, закрыв лицо руками, завыла. Не заплакала, а именно завыла — как раненная волчица на бескрайнем заснеженном просторе, как деревенская плакальщица на похоронах уважаемого односельчанина перед неизменным речитативом: „И на кого же ты меня покинул...?" Давид бросился к ней, упал на колени и обеими руками попытался заставить ее открыть лицо. Удалось ему это не без труда, и тогда он увидел тонувшие в слезах агатовые зрачки, слипшиеся от влаги длиннющие ресницы и мокрые-премокрые щеки.

— Ну что это ты, голуба, — быстро забормотал он, — ничего же не случилось. Я жив-здоров, я здесь, с тобой, а ты вот так вот, ни с того, ни с сего... Ну не надо же, прошу тебя, успокойся.

Он целовал ее мокрые ладони, потом, поднявшись с колен и примостившись на подлокотнике кресла — все ее мокрое от слез лицо. Он любил ее в эти минуты, наверное, больше, чем когда-либо прежде, но где-то глубоко-глубоко в душе зерна отчуждения, порожденного безысходностью, уже пускали отростки, „Боже, — мысленно стонал он, — зачем мне сейчас еще и это испытание?"

До чего же медленно она успокаивалась! Пока он снимал с нее плащ, она беспрестанно всхлипывала, утирала платочком глаза, потом на нее напала икота — частая и громкая, и лишь когда он, как в далеком детстве, трижды скороговоркой выдал ей заклинание: „Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого", она, наконец, вяло улыбнулась и на несколько минут притихла. Молчал и Давид, боясь неосторожным словом задеть ее вновь. Он сидел на подлокотнике, рассеянно гладил ее волосы и думал о том, как преподнести ей весть о внезапном отъезде без того чтобы объяснять все, что произошло. Ему предстояло убедиться в том, что все его старания напрасны. Когда она заговорила, первыми ее словами были те самые, что прозвучали до ее истерики:

— Ты не имел права меня обманывать, Давид.

— Но с чего ты взяла, что я тебя обманываю, голуба? — растерянно пробормотал он.

— Я знаю, — прозвучало в ответ. — Я знаю больше, чем ты

можешь вообразить. Мне знакомо, например, лицо этого... Циклопа.

От неожиданности Давид вскочил с подлокотника и пристально поглядел ей в глаза.

— Ты его знаешь?

— Да.

— Любопытно. Откуда?

— Ах, не устраивай мне допроса. Знаю — и все тут. Этого мало?

— Достаточно. Но... какое странное знакомство!

— Но ведь он и твой знакомый, не так ли?

Давид едва не задохнулся от внезапно нахлынувшей злобы.

— Кой черт! В гробу видал я таких знакомых. Явился, заграбастал все мои папки...

Внезапно вспомнив о заветном блокноте, он стремительно кинулся в прихожую. Ощупал пальто, убедился, что блокнот на месте, облегченно вздохнул и вернулся в салон. Наташа встретила его словами:

— Ты обманул меня дважды, Давид.

— В чем еще, Боже мой?

— Ты сказал, что преподаешь.

— Но, клянусь, это правда. Три раза в неделю я даю уроки географии в школе.

— А в остальное время? Почему ты не сказал мне, что пишешь?

— Ах, разве это профессия? На эту тему я не люблю распространяться. Ты удивлена? Само слово „писатель" меня бросает в дрожь. Этакое чудище, идолище поганое! Стоит только перенести ударение со второго слога на первый...

— Не смешно, — замогильным голосом отозвалась она. — Дело не в слове, а в его значении, и ты это прекрасно понимаешь. Ты просто не имел права утаивать от меня, что ты писатель.

Давид даже застонал от несправедливости обвинения.

— Но разве ты меня об этом спрашивала?

— Я спрашивала о твоей профессии. Ты сказал — учитель.

Она говорила спокойно. Слишком даже спокойно после недавнего шокового состояния. И ее спокойствие, и все еще бушевавшее в нем бешенство против насилия, которому он недавно подвергся, усугублявшееся к тому же не проходившей головной болью, оказались чувствами с одним и тем же зарядом, а потому взаимно друг друга отталкивавшими. Неудивительно, что отчуждение между ними росло, что от былого влечения друг к другу ничего не осталось, что оба, изредка даря друг другу поцелуй, ласковое прикосновение, словно выполняли какой-то тягостный долг. Это

было невыносимо, вот почему минут двадцать спустя Давид, уже без видимой муки, оказался в состоянии сообщить Наташе жесткое предписание Циклопа.

— Мне придется сегодня же уехать, таковы условия игры.

— Когда именно? — Она спросила так, словно была заранее подготовлена к его сообщению.

— Без десяти одиннадцать.

Снова на несколько минут воцарилось тягостное молчание. Его нарушила Наташа.

— Да... Ты уедешь. И мы никогда больше не встретимся.

Сказала она это так буднично, словно речь шла о покупке в магазине, культпоходе в кино. Давид горячо запротестовал, слишком, впрочем, горячо, чтоб хотя бы самому уверовать в сказанное:

— Да ты что, голуба? Мы обязательно встретимся! Тысяча двести километров... По нынешним временам — пустяк, четыре часа лета. Не пройдет и двух месяцев, и все пойдет по-прежнему.

Наташа вдруг вскинула голову, в глазах ее загорелся огонек яростной надежды.

— А что товарищ Чуркин, а? Он не в силах нам помочь?

— Товарищ Чуркин, — грустно покачал головой Давид. — Он силен, наш дорогой и любимый товарищ Чуркин, но не в таких вопросах. Не будем осложнять ему и без того не легкую жизнь.

Агатовые глаза потускнели. Чувствуя свою вину, Давид неуклюже старался загладить ее. Он пытался расстегнуть ей блузку — движением скорее механическим, нежели страстным. Но она отстранила его руку, отчего лишь углубилось чувство отчужденности. С отчетливой мукой он вдруг понял, что бывают в жизни ситуации, убивающие любовь — навсегда или на время, что для нового взрыва чувств необходимо очищение от грязи, а оно, очищение, — процесс длительный, сопряженный с страданиями умственными и телесными. Он твердо знал: не было и никогда не будет у него женщины более любимой, чем вот эта мулатка с вороными волосами и агатовыми глазами — кем бы она в конце концов ни оказалась — страдалицей земли русской или ординарной шлюхой, но... всему свое время. Сейчас он не в силах был ни доказать свою любовь к ней, ни выяснять ее прошлое. Все в нем было убито. Требовалось время для восстановления каких-то клеток, каких-то нервов, чувств. Терпения требовалось, и как раз об этом он и сказал ей:

— Потерпи немного, милая, ладно? Мы не можем не встретиться, потому что мы — это ты и я. Глупости я говорю, правда? Но много ли ума надо, чтобы любить? А я люблю тебя,

ты любишь меня, значит, мы обязаны встретиться.

Она ответила тихо, покорно:

— Да, мы встретимся. Не знаю только, где и когда. А сейчас отпусти меня, пожалуйста. Я приду на вокзал, обещаю. И еще клянусь тебе: до нашей встречи никого я любить не буду. Верь мне, родной!

Последние слова прозвучали с такой убежденностью, с такой страстью, что Давид — в который уже раз — почувствовал неловкость за свое столь малое, незаметное чувство к ней.

Он помог ей надеть плащ, вернул ключ от квартиры. Поцеловал. Она тоже его поцеловала. Легко, по-братски.

И ушла.

* * *

Давид минуту постоял, бессмысленно глядя в пустоту. Надо было хорошенько обдумать положение, но... не думалось. Словно выпотрошили ему голову и вместо мозгов набили ее опилками.

Вдруг он ощутил нестерпимый зуд подмышкой. Яростно почесался. Зуд перескочил в пах, пришлось пустить в ход вторую руку. Потом забегали мурашки по спине. Он пристроился к дверному косяку и стал тереться о него. Еще через две минуты зачесалось все тело. Ощущение было такое, словно его окунули в бочку с дерьмом, вынули и неделю запретили купаться. Тут-то он и вспомнил, что по-настоящему так и не воспользовался своей великолепной ванной. Зашел туда, включил свет и открыл краны. Горячая вода вперемешку с холодной хлынула в белоснежную ванну, пар взвился к потолку.

Давид вернулся в салон, беспрерывно раздирая кожу ногтями, стал снимать верхнюю одежду. Оставшись в трусах и майке, вновь рванулся к ванной. Его взгляд нечаянно упал на письменный стол: фотография черного принца и его прелестной дамы сверкала всеми цветами радуги. Он прихватил ее с собой. В ванной, с помощью мыла, пришлепнул фотографию к кафелю у изножья ванны, после чего влез во вместительную посудину и блаженно растянулся в ней во всю длину своего измученного тяжким днем и нестерпимым зудом тела.

Полегчало мгновенно. От наслаждения он даже вздохнул во всю ширь легких и зажмурил глаза. Прояснилась замороченная голова, и первое, о чем он подумал, было, конечно, все то же: катастрофа. Да, сомнений не могло быть: с ним произошла катастрофа, размеры которой определятся в ближайшем будущем. Чему удивляться? Что стенать? Ведь всю жизнь он шел к ней, кликал ее. Накликал на свою голову! Какое утешение мог он почерпнуть в ясном понимании того

факта, что он не один, что таких, как он, — тысячи, десятки тысяч, и места для рандеву у них все те же, что в старину: за Полярным кругом, в Мордовии, Якутии, на Алтае? Перевоспитание ему подобных продолжалось — пусть в меньших масштабах пока и несколько иными методами, но беспрестанно, с маниакальным упорством и систематичностью часового механизма. Глупо было даже на секунду вообразить, что этот процесс когда-нибудь может прекратиться. Система власти не зря называется аппаратом, аппарат — та же машина, бесчувственная и безжалостная, однажды запущенная и с тех пор не выключавшаяся на миг, неуклонно устремленная вперед, в заданном направлении, и движущаяся к цели по гладкому ли асфальту, по кочкам, по трупам... Колесница Джаггернаута!

Давид открыл глаза. Белоснежные зубы африканского принца буквально ослепили его. Пришлось начать диалог с ним.

„Ну что, ваше высочество, ты и твоя прелестная спутница были живыми свидетелями происшествия. Теперь ты должен знать: российский народ прошел великий путь из домостроя в темное царство, из темного царства в город Глупов, из города Глупова в палату № 6, из палаты № 6... в раковый корпус... Славный путь!Но знаешь ты нынче также и другое: в стране насилия существуют только два класса — насильники и насилуемые. Как тебе такое деление? Приемлешь? Нет? Ну конечно, ты ведь и сам, ваше высочество, числишься в насильниках в своей благословенной стране. Твой „Мерседес" куплен ценой голодной смерти двух тысяч ребятишек, не поживших на земле и года. Где ж тебе признать мою правоту?.. Но, может, ты согласишься с другой максимой, а, ваше высочество? С этой вот: „Приступая к строительству коммунизма в СССР, проектанты ошиблись — вместо чертежей рая выдали прорабам и рабам чертежи ада, возведение которого благополучно завершено?" Морщишься, да? Тогда слушай третью: „Есть неизвестные солдаты и есть неизвестные писатели; первым ставят памятники, вторым — клизмы". Ах, да, ты ведь и сам в своей стране преследуешь любого, кто осмелится сказать о тебе дурное слово. Увы и ах, ваше высочество, мы с тобой говорим на разных языках. И все-таки есть истины, которые даже ты отрицать не сможешь, хоть и запродался с потрохами нашим коммунистам".

Давид принялся намыливать голову, едкое мыло попало в глаза, пришлось крепенько сомкнуть веки. Спор он повел теперь с зажмуренными глазами.

„Говорят так: партия — наш рулевой. Убежден, что и ты, ваше высочество, взял на вооружение в своей стране этот

чудненький лозунг. Что верно, то верно: партия и в самом деле рулевой. Но это особый рулевой — не знающий ни звездного неба, ни секстанта, ни законов навигации, ни даже конечной цели плавания, вдобавок нередко закладывающий за воротник. Что ж удивительного в том, что его корабль так часто наскакивает на рифы, садится на мели, в штормах теряет паруса вместе с мачтами? Кораблекрушение неизбежно, ваше высочество. Ты и с этим не согласен? Ах, ты вообще не желаешь говорить со мной о политике! Понятно, тебе не по нутру мои откровения... Ты повел свой народ по социалистическому пути. Бедный твой народ, ему предстоят тяжкие испытания. Что? Ты протестуешь? Заткнись, ваше высочество, твой протест отклоняется. Протестовать будешь у себя дома, а здесь мы заказываем музыку..."

Давид нырнул в ванну с головой, потом поднялся на ноги и стал намыливать тело. Теперь он снова мог открыть глаза. Принц насмешливо пялил на него голубоватые белки и попрежнему скалился в ослепительной улыбке. Давид укоризненно покачал головой.

„Весело тебе, да, ваше высочество? Еще бы: такие, как ты, черные не только телом, но и душой, ныне в большом почете во все мире. С вами флиртуют, с вами заигрывают... Попробовал бы ты, подобно мне, взвалить на себя и, сгибаясь, спотыкаясь, нести тяжкий крест еврейства... Стоп! Что я сказал! Я ж произнес гениальную фразу: „тяжкий крест еврейства". Ха-ха-ха! „Крест" и „еврейство" — понятия несовместимые, а все же как здорово... Впрочем, тебе этого не понять: ты ж коммунист, а, стало быть, безбожник. Коммунизм — религия без Бога, его вожди — боги без религии. Ты выбрал свой путь, значит, ты живой труп, ваше высочество. На родине тебе, наверное, соорудят мавзолей вроде ленинского, но падаль остается падалью даже в мавзолее... Ты опять протестуешь? Ну что ты, миленький, ваше высочество! Против чего? Вот как? Против упоминания твоего живого имени рядом с именем исдохшего гения человечества? Ну, знаешь, это уже тотемизм. Отсталый ты человек, ваше высочество... Впрочем, в чем-то ты прав: когда о живом упоминают одновременно с мертвым, создается впечатление, что живущего списывают в мертвецы. Но твоя правота относится только к подобным тебе, ничтожным и жестоким. В применении к подлинно великим на дело можно и нужно глядеть под противоположным углом зрения. Каким? Вот, слушай: когда мертвого упоминают рядом с живыми, возникает ощущение, что его причисляют к живым. Бери эту мыслишку на вооружение, ваше высочество, я человек щедрый, дарю ее тебе... У тебя своих мыслей предостаточно? Гм... Вот уж по-

истине, редкий ты человек, единственный в своем роде. Какие ж у тебя мысли, позволь узнать?''

Пришло время смывать мыло. Давид плюхнулся в ванну, нисколько не обеспокоившись тем, что изрядная масса воды при этом хлынула на шахматный пол ванной. Он снова вытянулся во всю длину и, блаженствуя, отдыхал, ведя душеспасительную беседу с именитым гостем.

,,Ты любишь красивую жизнь... Понятно. Я тоже. Но какой ценой она тебе достается, ваше высочество? Вот эту прекрасную женщину, так похожую на мою, ты покорил силой своих мужских чар или просто-напросто купил? Купил. Я так и думал, потому что задаром ни одна порядочная девушка такую образину, как ты, не полюбит. Сколько же ты за нее заплатил? Секрет. Ладно, не так уж и важно мне знать. Наверное, цену, равную жизни еще двух или трех тысяч малышей, покинувших юдоль земную в двух-трехлетнем возрасте. Люби ее, ваше высочество, она ужасно дорогая женщина... Ха-ха-ха! Смешной вопрос ты задаешь: какая разница между любимой женщиной и продажной. Разницы, по-твоему, нет. Это ошибка, ваше высочество. Разница колоссальная. Сказать? Так ты ведь не поймешь... Ну ладно, бери задаром еще одну гениальную мыслишку великого Давида Шмундяка. Записывай: ,,Есть наслаждение с любимой женщиной. Есть наслаждение с женщиной продажной. Вот разница: с первой — это ангельское наслаждение, со второй — дьявольское''. Ха-ха-ха! Хоть бы сотню долларов подкинул, жмотина, за просвещение твоих темных мозгов! Нет? В банке держишь? Ну и черт с тобой, оставайся тогда при своих интересах. Привет!''

Давид выскочил из ванны, стал вытираться полотенцем. Надо было поторапливаться на вокзал.

Нервная чесотка исчезла, он вновь почувствовал себя в боевой готовности.

18 октября, ночь

Суматоха спадала. Пассажиры успели получить у проводника постельное белье, устроиться на ночь. В вагоне становилось все тише. К полуночи угомонились все. Только Давид стоял в коридоре, бессмысленно уставившись в кромешную тьму за окном, курил папиросу за папиросой и вновь переживал события тридцати минут, предшествовавших отъезду.

В обычной кассе билетов, конечно, не оказалось. Пришлось воспользоваться ,,блатом'' с Циклопом. Девушка, сидевшая за окошком воинской кассы, едва услышав его фамилию, вежливо осведомилась: какое место товарищу Шмундяку угодно получить — в купейном, мягком? Давид скромно

выбрал купейное. Потом, с чемоданом в руке, он вышел на перрон. В царившей там сутолоке, казалось, немыслимо было кого-то найти. До отхода поезда оставалось не больше двадцати минут. Он прошел вдоль состава — туда, обратно. Наташи не было. Тогда он стал ее поджидать у ступенек своего вагона. Она появилась минут за семь до отъезда. Запыхавшись, она с минуту приходила в себя, а когда заговорила, понесла что-то совсем уж несуразное насчет троллейбуса, которым добиралась на вокзал, насчет толпы, запрудившей перрон... Сердечного прощания явно не получилось, вокзалы ужасно не подходящее место для излияния чувств. За минуту до свистка Давид обнял ее и поцеловал в губы. Он увидел родные глаза, они плавали в слезах. Снова острая жалость пронзила его, но времени для утешений не оставалось. Он отошел, встал на ступеньку вагона. И лишь тогда она вручила ему свой подарок — что-то, напоминавшее книгу, обернутое бумагой и перехваченное крест-накрест голубой ленточкой. Поезд тронулся. Давид спросил:

— Что здесь?

Следуя за медленно плывшим вагоном, она ответила:

— В дороге посмотришь.

Поезд пошел быстрее. Наташа тоже убыстрила шаги. Потом вдруг остановилась и застыла с поднятой рукой. И в свете станционных фонарей он в последний раз увидел ее глаза, черные, агатовые глаза, в которых тлело такое отчаяние, что у него мурашки пошли по телу. И все. Киевский вокзал остался позади. Поезд уходил в ночь, уносил его на далекий юг, а с Киевского в это время, наверное, уходила прочь женщина, которую он знал всего пять дней, но которую будет помнить всю жизнь, даже если никогда больше не увидит.

Он оторвался от окна. Заглянул в купе. Трое попутчиков уже спали. Его чемодан лежал на нижней, не застланной еще простынями полке, на нем — пакетик, обернутый ленточкой. С тяжелым чувством тоски он взял пакетик и вышел в узкий коридор. Развязал ленточку, разорвал бумагу. В руках у него оказалась толстая тетрадь в черном коленкоровом переплете. Он раскрыл ее, перелистал. С начала и почти до конца тетрадь оказалась исписанной красивым, довольно крупным почерком. Листки слегка пожелтели, что свидетельствовало о давности записей. Впрочем, судя по состоянию листков, переплета, по сохранности чернил вряд ли записи были сделаны ранее чем пять-шесть лет назад.

Не прочитав еще ни слова, Давид почувствовал инстинктивную антипатию к тетради. Ему почему-то совсем не хотелось читать то, что в ней было написано. Одновременно те-

традь притягивала, властно требовала внимания. Он сунул ее подмышку, закурил очередную беломорину, взглянул на часы. Половина первого. Пуская дым в окно, он еще какое-то время оттягивал знакомство с необычным подарком. Потом тяжко вздохнул, пристроился на откидном стульчике у окна, под неярким плафоном, и, снова вздохнув, открыл тетрадь. С первых же слов рукопись захватила его, так как, странное дело, была адресована ему, ему одному и никому более. Нелепость такой уверенности была более чем очевидной, и все же не оставалось сомнений, что к нему, понятия не имевшему о существовании автора тетради и самой тетради еще неделю назад, были обращены все те глубоко интимные признания, которыми полны были, из одних которых, можно сказать, и состояли эти записи. Через несколько минут Давид, потрясенный написанным, так углубился в него, что уже ничего не видел и не слышал.

„Милый, родной, любимый!

Когда же ты придешь? Когда вырвешь меня из пучины страдания, из бездны отчаяния? Когда, выслушав мою горькую исповедь, ты, высший мой судья, успокоишь меня своим добрым, человечным приговором: „Не терзайся, голуба, ты чиста перед Богом и людьми!"? Приходи же быстрее, спаси меня от самой себя, ибо нет у меня и не может быть другого спасителя, кроме тебя, где-то тоскующего по моей ласке, по моей чистой, нерастраченной любви!

Я сижу в маленьком кабинетике на двоих на пару с Галкой, моей ровесницей. Мы заняты одним и тем же делом — чтением и распределением по отделам писем трудящихся. Какая это муть! Какая мура! Ты только послушай, милый:

„На Ваш № 456 сообщаю. Похоронный трест в штате духового оркестра не имеет ввиду того, что ассигнований на его содержание не отпускается. Мы имеем договоренность с организациями, если кто и к нам по этому вопросу обращался, мы оказывали помощь кто желал. Обивка гробов тканью, хотя нашим планом и не предусмотрено и кто к нам обращался, не отказывали.

Гробы в настоящее время мы делаем вручную и полностью все потребности трудящихся обеспечить не можем, автомашины для перевоза тел умерших имеется только одна.

Какие намечены меры для улучшения обслуживания похорон:

1. В мае месяце получаем деревообрабатывающий стан, будем иметь возможность полностью удовлетворить потребность в обивке и окраске гробов.

2. Трест похоронного обслуживания обратился с просьбой к АТК о дополнительном выделении автотранспорта для перевоза тел умерших.

Директор треста похоронного обслуживания
(А. Соловей)"

Тоска. Что ж удивительного в том, что уже через часок такой работы Галка с отвращением отпихивает от себя стопку непросмотренных писем и, приладив перед собой зеркальце, принимается наводить марафет?! Подводит свои ощипанные бровки, подкрашивает тонкие губки — вообще строит перед зеркальцем преуморительные рожицы, разглядывая то редкие, но крепкие зубки свои, то тени под глазами, то завитки рыжеватых волос... Зараженная ее кокетством, я тоже вытаскиваю из сумочки зеркальце и с минуту разглядываю себя в нем. И к горлу подступает ком, когда я вижу новую крошечную морщинку в лучистом снопике у глаз, и с горечью и болью душевной я думаю: „Господи! А ведь мне только двадцать шесть!"

Хочется чем-то утешить себя, и я принимаюсь разглядывать свой высокий, чуть выпуклый лоб, свои толстые губы, не познавшие еще вкуса и цвета помады, свои коротко остриженные, слегка кудрявые волосы... Я и похожа на негритянку, или на мулатку, или на полинезийку. В кого я, такая, пошла? Родители мои — вполне нормальные люди, ничем не выделяющиеся из миллионов других. А я — особая, меченая, и это обстоятельство всегда вызывало и продолжает вызывать нездоровое любопытство ко мне, и если ты, мой любимый, обратишь на меня внимание, то, конечно же, прежде всего из-за моей дурацкой экзотической внешности.

Мой хороший, мой единственный! Пусть она, эта внешность, привлечет ко мне и тебя, как привлекала и привлекает других. Ради тебя я даже нацеплю на голову свой роскошный шиньон — подарок матери, тот самый шиньон, благодаря которому моя голова, как утверждал бедный Саша, увеличиваясь чуть ли не вдвое, принимает царственно-прекрасный вид. Впервые я нацепила его в день нашей свадьбы, и с тех пор каждый раз надеваю в годовщину этого злополучного события, словно Саша, оттуда, может видеть меня и своим глубоким, теплым, проникновенным голосом еще раз шепнуть мне на ухо незабываемые слова: „О, моя черная королева! Как мне хочется преклонить перед тобою колени и поцеловать подол твоего платья!"

Но только моя внешность, если она действительно тебя привлечет, пускай не вводит тебя в заблуждение. Вы, мужчины, похожи на бабочек, вы сломя голову летите на свет,

цвет и запах, словно нет в мире иных, более постоянных, более глубоких, что ли, не столь эфемерных и обманчивых ощущений, чем те, что воспринимаются зрением или обонянием. И белый свет для вас символизирует непорочность и чистоту, а красный — любовь, а желтый — разлуку... Вы слепо верите в магию цветов, в безошибочность первого взгляда, и в этом смысле вы куда наивней, легковерней нас, женщин, более расчетливых и хитрых, чем вы в состоянии себе вообразить даже в глубокой старости, ибо и в старости вы остаетесь теми же восторженными юнцами, и любой вертихвостке ничего не стоит вскружить вам седую голову так, что из нее, по железному закону центробежного движения, мигом вылетают все накопленные за десятилетия мудрые умозаключения — плод долгого-предолгого жизненного опыта...

Не сердись, мой единственный, на меня за это, быть может, не столь приятное для вашей мужской гордости суждение. Вдумайся в него, и ты поймешь, что оно не такое уж обидное. Оно — лестное. Потому что есть, в самом деле, нечто благородное, возвышенное, мужественное, беззаветное в той решимости, с которой вы, поддавшись первому порыву, бросаетесь в омут, что-то трогательное, умилительное в детской доверчивости, которую вы проявляете к нам, словно мы не молодые тигрицы, устроившие жестокую облаву на вас, ягнят, а добрые старые матери, пекущиеся исключительно о ваших удобствах.

Конечно, рассуждая подобным образом, я, наверное, утрирую: где-то что-то преувеличиваю, где-то что-то притупляю. Извини меня, дорогой, но все дело в том, что я в мои, в общем-то, довольно еще молодые годы чувствую себя старенькой-престаренькой старушкой, прожившей свой век с безалаберностью проститутки и в конце своего земного существования подводящей его невеселые, но поучительные итоги. У кого-то иной опыт, иные впечатления и иные выводы, но я-то, хоть и вовсю расхрабрилась, — всего лишь слабая женщина, а женщина, в отличие от мужчины, крайне редко способна на обобщения более серьезные, чем те, что подсказывает ей собственный опыт. А мне он подсказывает, что любви, воспетой поэтами, на свете не было и нет. Таково мое личное твердое, непоколебимое мнение, но, странное дело, я же сама в корне с ним не согласна, а потому продолжаю мечтать о большой и чистой любви. Пожалуйста, не лови меня, мой единственный, на противоречиях, ведь благодаря им ты и существуешь в моем воображении в том виде, в каком я тебя приму, если ты появишься, и не приму, если придешь в ином обличьи, благодаря им, моим противоречиям, рождается эта исповедь, предназначенная для одного тебя,

так как никогда, — слышишь меня? — никогда в жизни я не осмелюсь поведать тебе с глазу на глаз то, что содержится в этой тетрадке и что ты волен принять за чистую правду и беречь в память обо мне — простив или осудив меня, — или счесть вредной ересью и — листок за листком — сжечь с помощью одной-единственной спички.

Итак, внимание, любимый, исповедь начинается, и начало ее довольно банальное: я росла как все советские дети. Была сначала пионеркой, потом комсомолкой. Не скажу, чтоб меня совсем не увлекали пионерские сборы, отдых в лагерях, походы по родному краю, комсомольские поручения и собрания. Нет, порой эти мероприятия очень даже нравились мне и, помнится, я как-то с огромной ответственностью готовила, а затем прочла перед всей школой большой доклад о подвигах чекистов в гражданской и Отечественной войнах. Меня даже премировали за отличное выступление, и премию эту — книгу о жизни и деятельности Феликса Эдмундовича Дзержинского с дарственной надписью от нашего комитета комсомола — я два года берегла как зеницу ока. Потом кто-то ее у меня стащил...

И все же эта кипучая пионерско-комсомольская суетня была всего лишь рябью морской, проходившей по поверхности моей жизни и никак не колыхавшей ее глубины. А там, внизу, шла совсем-совсем другая жизнь, не только ничего общего с верхней не имевшая, но, по-моему, даже глубоко ей чуждая, даже чуть-чуть враждебная. Как бы это лучше объяснить? Нарочитый шум и грохот, показной оптимизм верхнего этажа моего существования отвлекали внимание родных и близких, учителей и подруг от мечтательной тишины и романтического порыва этажа нижнего, подземного. Но именно там, внизу, как я быстро поняла, и происходило то неповторимое, что составляло мое естество и о чем только и можно говорить, если о чем-то вообще говорить стоит. И даже то лучшее, светлое, что происходило на верхнем этаже, в конце концов тоже аккумулировалось там, внизу: несокрушимая, безоговорочная вера в партию, Ленина, Сталина, в светлое будущее человечества.

Попытаю свои силы в художественной прозе, попробую в нескольких коротких рассказиках описать „нижнее'', то есть скрытое от посторонних глаз, глубоко личное, только мое, что ни с кем делить не стоило.

ГОНОЛУЛУ

Когда мне было двенадцать, я случайно набрела на истрепанную подшивку дореволюционных журналов, где из номе-

ра в номер печаталась чудесная повесть о гавайской королеве Лилиукалани. Подданными королевы были смелые, мужественные, необычно красивые люди с мускулистыми, гибкими бронзовыми телами. Жили эти люди в маленьких бедных хижинах, но были самыми счастливыми на свете, потому что никогда ни нужды, ни горя не знали. Щедрая природа насыщала их дарами своими. Стоило руку протянуть — в руке оказывался душистый, сочный ананас или наполненный живительным молочком кокосовый орех. Стоило в море сеть забросить — она мигом наполнялась диковинными рыбами. Стоило в лесную чащу забрести — с каждого дерева приветным щебетом встречали путника райские птицы, и дикие, но совсем не хищные звери доверчиво окружали его.

И от привольной безбедной жизни обитатели острова были добрыми, ласковыми, невинными, словно малые дети. И когда на легкокрылых парусниках приплывали чужестранцы, все, от мала до велика, высыпали на берег и восторженными криками встречали гостей. Суровых морских волков обвешивали гирляндами невиданных цветов, с почетом приводили в крохотные селеньица и в их честь устраивали пышные празднества. И на этих празднествах, под темным тропическим небом, у жарко пылающих костров, плясали грациозные девушки и ладно скроенные парни. На вертелах жарились туши диких животных, рекой лилось вино...

Но прекраснее всех своих подданных была молодая королева Лилиукалани. Как и положено королеве, жила она в столице своего государства — городе Гонолулу.

Гонолулу!

Гоно-лулу!

Го-но-лу-лу!

Сколько света, радости, очарования заключало в себе это слово! Оно ласкало слух, как сладостные звуки тех неведомых инструментов, под музыку которых плясали жители далеких островов. Оно будоражило воображение, вызывая из дальних далей сказочные видения — коралловые рифы, тихие лагуны, вечно голубое небо, ветвистые пальмы, огромные папоротники...

Гонолулу!

Это дивное слово само по себе рождало грезы о необычайных подвигах, невероятных приключениях. Ты в опасности, тебе грозит гибель, но в последнюю секунду появляется смельчак, которому никакие преграды не страшны. Он вырывает тебя из когтей смерти, влюбляется и женится на тебе...

Гонолулу!

Одним бы глазком взглянуть на чудесную страну, потом и умереть не страшно.

Чем больше думала я о ней, тем яснее мне становилось, что судьба жестоко посмеялась надо мной. Мне бы родиться там, на сказочном острове, а не в шумном городе с многолюдными улицами, бесчисленными автомобилями, жарким, пыльным летом и влажной, грязной, дождливой зимой. Мне бы дочерью королевы Лилиукалани быть, а не этих двух скучных, вечно занятых людей, которые, неизвестно почему, зовутся моими родителями.

И, думая обо всем этом по ночам, я, бедненькая, обливалась слезами, оплакивая то, что могло бы быть, но чего, волей злой судьбы, не случилось.

Была я в ту пору девчушкой с большими черными глазами, вьющимися черными волосами и смуглой золотистой кожей и внешностью уже тогда походила на маленькую мулатку или полинезийку. И хотя все прекрасно понимала, упрямая склонность к фантазии вновь и вновь заставляла возвращаться к сладостной нелепой выдумке.

Кто-то из девочек спросил меня однажды, где я родилась. И я ответила, не моргнув глазом:

— В Гонолулу.

— Где, где?

— В Гонолулу.

Сбитая с толку подружка поинтересовалась, где находится это село. Я лишь загадочно улыбнулась. Присутствовавшая при разговоре Лида Сиротина возмутилась:

— Но ты же врешь, Наташка! Ты же здесь, в городе, родилась.

Я возразила упрямо:

— А вот и нет! В Гонолулу!

Лидка расхохоталась. Засмеялись и другие девчонки, привлеченные необычным спором. А я топала ножкой и с глазами, полными слез, как попугай твердила:

— В Гонолулу! В Гонолулу!

Чем яростнее отстаивала я свою ложь, тем громче, заливистей хохотали девчонки. Они начали хлопать в ладоши и, приплясывая, скандировать:

— Гоно-лулу! Гоно-лулу! Гоно-лулу-лулу-лулу!

А я, дуреха, стояла и ревела. Крупные слезы катились по щекам, и в голове билась одна-единственная мысль: „Не поверили!"

На выручку поспешил Васька-штангист, мой неизменный заступник. Он вывел меня, зареванную, в коридор, своим грязным носовым платком вытер мне слезы и рассопливившийся нос и с затаенной нежностью в грубоватых словах сказал:

— Ну чего разревелась, глупая? Разве так уж важно, где человек родился?

— Важно! — все еще всхлипывая, настаивала я.

— Гонолулу... Вот же выдумщица! Совсем не русское название.

— Ну и что, что не русское?

— Да ничего. По мне, ты хоть на Камчатке родись — все равно. А только врать незачем. Нет же на свете этого твоего Гоно... И не выговоришь ведь слово-то!

Я поглядела на него. Штангист! Покачала головой и бросила:

— И ты ничего не понял.

После чего повернулась и побежала к выходу. Спиной, однако, чувствовала его взгляд на себе и поклясться могу, что думка у него в ту минуту была такая: „Вот и заступайся за нее после этого!"

Он многого не понимал, мой юный рыцарь. Да и я многого не понимала. Того, например, что крайне важно уметь в иных случаях держать язык за зубами.

Следствием описанного происшествия была звонкая кличка, присвоенная мне однокласниками — Лулу: усеченное Гонолулу.

АЛЬБАТРОС

Потом отец подарил мне „Детскую энциклопедию", и моя розовая мечта заметно потускнела. Я узнала, что жители Гавайских островов были вовсе не так счастливы, как описывалось в прекрасной повести о королеве Лилиукалани. Чужестранцы захватывали их земли, заставляли тяжко работать, а при малейшем сопротивлении безжалостно истребляли. И за каких-нибудь сто лет туземцев на островах осталось в двадцать пять раз меньше, чем было до того, как туда высадился первый мореплаватель. Узнала я, что и город Гонолулу выглядит совсем не так, как мне представлялось. Рядом с хижинами местных жителей там сегодня высятся многоэтажные дома — совсем такие, как в наших городах. И улицы там асфальтированные проложены, и парки, скверы разбиты... От прежней дикой, манящей прелести осталось лишь романтическое название — Гонолулу...

Но мечты детства стойки, как чернильные пятна на платье. И грезы о далекой райской стране сменились девичьими снами о кругосветном путешествии. У меня был небольшой глобус, подаренный мне дядей Петей. И вот этот зеленоголубой шар стал моим лучшим другом и советчиком. Часами могла я сидеть у стола, легонько вертеть пальцем свою

крохотную планету и мысленно бороздить ее океаны на чудо-корабле с крылатым названием „Альбатрос''.

Вокруг земли летали мощные самолеты, моря бороздили быстроходные пароходы, а я предпочитала путешествовать на парусном бриге, подобном тем, на которых плавали все известные мне герои выдуманных и невыдуманных историй. То был белоснежный бриг со множеством больших и малых парусов на высоких, терявшихся в вышине мачтах. На палубе у штурвала, у всяких там бушпритов, марселей, бизаней, на баке, полубаке и в прочих местах, немыслимые названия которых вечно путались в голове моей, будут стоять опытные морские волки с обветренными лицами, грубыми руками и добрыми сердцами, все одетые в чистые робы и бескозырки с одной и той же золотой надписью: „Альбатрос''. А капитан...

О, капитан, конечно, будет молодой, очень молодой, хотя тоже испытанный, видавший виды моряк. Его бледное лицо, вьющиеся светлые волосы, то ласковые, то суровые синие глаза, его звонкий голос, порывистые движения — все это вместе даст ему полную власть над людьми и... надо мной. И, стоя с ним рядом на мостике, я буду наблюдать за тем, как уверено поведет он судно по коварным южным морям. Сингапур, Занзибар, Суматра, Тасмания, Новая Каледония, Барбадос, Тринидад...

Я уже знала, что женщина никогда не отправляется в дальний путь одна, а всегда с мужчиной...

Однако образ юного капитана „Альбатроса'' долго был лишь плодом моей фантазии. Я наделяла его теми чертами, которые, казалось мне, больше всего подходят капитану парусного судна. Я создавала капитана по образу и подобию героев морских рассказов и повестей, которыми в ту пору зачитывалась. Мне нужен был живой, всамделишный капитан.

И он явился.

Я никогда не дружила с Лидкой Сиротиной. А вот пришло время — подружилась. То была не бескорыстная дружба: я влюбилась в Лидкиного брата Колю и с помощью Лидки надеялась с ним познакомиться. Познакомиться — вот предел моих желаний. О том, что должно последовать после знакомства, я думала в том же возвышенном духе, что и прежде: белоснежный „Альбатрос'', синеглазый капитан, кругосветное путешествие... И какие-то неясные, волнующие, будоражащие слова:

„— Лулу, я за тобой пришел.

— Сейчас, Николай.

— „Альбатрос'' ждет нас, Лулу.

— Идем, Николай.

— О, Лулу!..”

Он совсем не походил на капитана. Этого голубоглазого, среднего роста, медлительного рохлю невозможно было себе представить на мостике трехмачтового брига. Но факт, что он учился в мореходке, щеголял в морской форме и через три года должен был уйти в первое дальнее плавание. Именно за это я его полюбила — за то, что он, единственный из всех знакомых мальчиков станет моряком. Так я думала.

Но иногда, не часто, но с тревожной, волнующей настойчивостью, в душе вместо невинных детских грез, вместе с ними возникало что-то новое, неведомое до той поры.

„— Лулу, я за тобой пришел.

— Я готова, Николай.

— Лулу, милая Лулу...

— О, Николай!..”

Он протягивал руку и прикасался к моим волосам. Он гладил мои щеки, шею, плечи. Потом легонько прижимался губами к моим губам.

Ловя себя на таких видениях, я вздрагивала и озиралась испуганно: а не заметил ли кто, не догадался? А у самой сладостно сжималось сердце, и слезы восторга навертывались на глаза. И, все смелее глядя на подруг, не ведавших о том, что со мной творится, я думала: „Что же это такое? Что бы это могло быть? Неужели... то самое...?”

У ТЕЛЕГРАФНОГО СТОЛБА

Долго, очень долго я никому на свете не признавалась в своих чувствах к Николаю. Но молчание мучило, бездействие терзало. И я немного осмелела: слова, которые просто невозможно было произнести, заменила символами. Нарисую, бывало, розу, огненно-красной акварелью раскрашу ее и через услужливую Лидку, с радостью участвовавшую в интрижке, передам своему возлюбленному. А то корабль парусный переснимую из книжки или пожатие двух рук — мужской и женской — изображу и опять-таки с Лидкой Николаю перешлю. Мне казалось, что рисунки эти полны тайного смысла, понятного лишь двум существам — ему да мне — и больше никому на свете. На другой день после очередного подарка Лидка взахлеб делилась со мной впечатлениями о реакции брата на эти сувениры. По ее словам, Николай радостно хохотал и долго потом ходил за ней по пятам, требуя привести к нему „эту милую, хорошую Лулу”.

Тогда я еще больше осмелела. Прекратив бомбардировку любимого рисунками, села за стол и сочинила следующее письмо:

„Николай! Я очень Вас люблю. Мне ничего от Вас не надо, но, пожалуйста, не смейтесь над моими рисунками, а если они Вам неприятны, то скажите прямо об этом, я больше не буду Вам посылать. И еще я хочу попросить Вас: напишите мне. Что-нибудь, все равно — что. Я буду ждать.

Наташа.

P.S. Вам не кажется странным, что и Ваше имя, и мое начинаются с одной буквы?"

Несколько дней я это письмо таскала с собой, не решаясь вверить его своей болтливой связной. Наконец отдала. И на следующий же день получила ответ:

„Наташа! Я несколько раз издали видел Вас, и Вы мне очень понравились. Готов с Вами встретиться. Буду ждать сегодня в шесть вечера на бульваре, у третьего телеграфного столба, считая от будки для мороженого, что возле музея. Обязательно приходите!

Николай.

P.S. В том, что наши имена начинаются с одной буквы, я вижу перст судьбы".

Я чуть в обморок не плюхнулась от этого письма. Свидание! Первое в жизни! Это превосходило все мои ожидания. Я расцеловала оторопевшую Лидку и стремглав помчалась домой. Надо было все успеть до того как родители вернутся с работы. И хотя до шести времени оставалось предостаточно, я, ни минуты не мешкая, принялась проделывать с собой все, что делали, отправляясь на свидание, героини книг и кинофильмов. Прежде всего разогрела мамины щипцы и стала завивать и без того курчавые волосы. Потом вытащила из ящика туалетного столика мамину пудреницу и густо припудрила щеки, лоб, кончик носа. Накрасила было и губы, но сообразила, что люди смеяться будут, и стерла помаду. Вылила на себя четверть флакона маминых духов „Москва", потом аккуратно сложила всю косметику в ящике и, накинув на плечи легкий плащ, помчалась на встречу с любимым.

Стояла осень, четырнадцатая осень в моей жизни. С моря дул порывистый ветер, в воздухе мелкой пылью носились дождинки. С деревьев под ноги прохожим падали последние ржавые листья.

А в моей душе цвела, благоухала, звенела весна. Словно на крыльях, я неслась вдоль улиц туда, где меня ждало неизведанное. Дождик усиливался, становилось холодней, но ничто уже не могло меня остановить. Случись в тот миг землетрясение, ураган, наводнение, я все равно упрямо проби-

валась бы к тому телеграфному столбу, у которого назначил мне свидание любимый.

Вот музей. Вот будка, где летом продавали мороженое, теперь, конечно, закрытая. А вот и телеграфные столбы. Первый... Второй... Третий!

Половина шестого. Он, конечно, еще не пришел. Я подошла к баллюстраде и глянула вниз. Подо мной, утопая в огненном мареве, как сказочное чудище, громыхал, стонал, гудел, вскрикивал порт. К причалам приставали корабли, корабли уплывали от причалов, но не было среди них ни одного парусного. Все — с толстыми трубами, из которых валили черные клубы дыма.

Залюбовавшись картиной вечерней гавани, я потеряла счет минутам. Резкий гудок вывел меня из оцепенения. Я испуганно глянула на висевшие неподалеку часы. Пять минут седьмого. Быстро побежала к „своему" телеграфному столбу, обошла его кругом, словно кто-то мог за ним укрыться: никого. Тогда я прислонилась к столбу спиной, зажмурила глаза и терпеливо стала ждать.

„— Лулу, это ты?

— Я, Николай... Я так ждала тебя.

— Я пришел, Лулу.

— Дай руку, Николай.

— Тебе не холодно, Лулу?.."

— Тебе не холодно, девочка?

Я испуганно открыла глаза. Передо мной стояла сгорбленная старушка с добрыми очками на красном носу.

— Нет, бабушка.

— Шла бы домой, милая. Неровен час, простынешь.

— Я жду подружку.

Бабуля покачала головой и заковыляла своей дорогой. Глядя ей вслед, я с тоской подумала: „Неужто обманул? Неужто не придет?" И опять смежила веки.

„— Лулу, милая Лулу!

— Я продрогла, Николай.

— Прости меня, я задержался не по своей вине.

— Ничего, милый, ты пришел, и мне хорошо...

— Лулу..."

Холодная капля упала за воротник плаща. Я вздрогнула, поглядела на часы: без четверти семь. Только теперь я почувствовала, что от холода вся дрожу. Посмотрела направо, налево — никого. Собаки на улице не было тем мерзким вечером, не то что человека. Неужели обманул?

Тугой ком подкатил к горлу: „Обманул, подшутил... Может, как это любят делать мальчишки, еще и понаблюдал за мной откуда-то со своими дружками, и все вместе здорово

посмеялись над глупышкой. Как это подло, как мерзко!"

Все шел и шел мелкий нудный дождь. Я всхлипнула, отошла на шаг от столба и обеими руками принялась выжимать мокрые волосы. Потом достала из кармана плаща платочек и смахнула с лица смешавшиеся со слезами дождевые струйки. И, продолжая тихонько скулить, медленно двинулась в обратный путь.

Внизу все так же громыхал, скрипел, гудел порт. Подходили и удалялись корабли. И не было среди них ни одного парусного.

На мгновение я остановилась и широко открытыми глазами уставилась вдаль. И вдруг там, в непроглядном мраке глухо рычавшего моря, явственно вырисовался лебединый силуэт трехмачтового брига. Он шел на всех парусах, но не в порт, а в открытое море, и с каждой секундой все больше удалялся. Вот он уже размером с рыбацкую лодку... С игрушечный кораблик... С ореховую скорлупу...

И прежде чем корабль окончательно скрылся во тьме, я, несмотря на расстояние, прочитала на его белой корме до боли знакомое название: „Альбатрос"...

Я улыбнулась. По крайней мере сейчас мне кажется, что я тогда улыбнулась. Повернулась спиной к морю и быстро зашагала в город.

ГОСТЬ С КАМЧАТКИ

— Приезжает дядя Петя, — объявила мама.

— С Камчатки?

— Да. Он привезет много кетовой и паюсной икры.

— Кучу денег и цынгу, — ехидно добавил папа, на миг оторвавшись от своих бумаг.

— Перестань, пожалуйста! — взъярилась мама. — Если уж на то пошло, то у тебя никогда не было и половины того, что есть у Пети. Ты просто завидуешь ему.

— Есть чему завидовать! За длинным рублем поехал твой Петя.

— Нам бы побольше этих длинных рублей. Вон пальто Наташке надо. За какие шиши купим? А мне ботинки, кофту на зиму?

Папа замахал на маму руками, схватил свои бумаги и поспешно удалился в смежную комнату.

Дядя Петя приехал через несколько дней. Это был огромного роста мужчина с багровым мясистым лицом и двумя рядами сверкающих золотых зубов. Веселый, подвижный, остроумный, он так и сыпал, так и сыпал словами, никому

не давая рта раскрыть. А рассказывал дядя Петя диковинные вещи...

В день его приезда на столе, как и предсказывала мама, появились две трехкилограммовые банки: в одной была красная кетовая икра, в другой — черная паюсная. На трех тарелках лоснились жиром какие-то странные копченые рыбины, названий которых ни папа, ни мама не знали. Сели обедать. Дядя Петя шумно выражал свой восторг мною:

— Вот так девка! В последний раз, когда я был здесь, она еще совсем сосунком выглядела! А сейчас хоть замуж выдавай! И такая раскрасавица! Дочь эфиопского царя, а? И в кого она только уродилась? Нет, нет, не в тебя, папаша. Ты тут не при чем.

Я краснела, прятала от него глаза. Папа вежливо улыбался. А мама смеялась всякий раз, когда хохотал дядя Петя, и мне страшно резал слух ее угодливый, заискивающий смех. Чтобы хоть как-нибудь сгладить впечатление от маминого поведения, я решила подладиться под грубоватую натуру дяди Пети. Улучив мгновение, схватила бокал с вином и заорала:

— Ну-с, дядюшка, тяпнем?

Дядя Петя вытаращил на меня глаза, потом громогласно захохотал и чокнулся со мной так, что едва не разбил вдребезги оба бокала.

— Вот это племянница! Подстать дяде, а? Едем со мной на Камчатку, Наташка! Такие, как ты, горы там сворачивают.

— Едем, дядя!

Я залпом выпила вино, шаря глазами по тарелкам с рыбой, я лихо крикнула:

— Которая из них цынга, дядя? Закусить хочу!

Дядя Петя зашелся хохотом. Засмеялись и мама с папой.

— Нет больше цынги на Камчатке, Наташка, — захлебываясь орал дядя. — Была, да вся вышла. Вот память о ней...

Он оскалил свои золотые челюсти и ткнул в них пальцем:

— Все зубы выбила, гадюка.

Поняв, что сморозила глупость, я покраснела и до конца обеда рта больше не раскрывала.

А между тем дядя Петя, уничтожив огромное количество рыбы, мяса, хлеба и вина, закурил папиросу и начал рассказывать о себе и о своих друзьях-товарищах из далекого камчатского городка. Это был волшебный рассказ, ничем не уступавший полузабытой повести о королеве Лилиукалани. Безмолвная снежная пустыня, долгая полярная ночь, страшная пурга, быстрая езда на нартах, запряженных собаками или оленями, вырастающие, словно по щучьему велению, города и поселки, заводы и фабрики. И люди... Все, как на подбор,

здоровые, сильные, смелые, они не казались потусторонними, фантастическими существами. Нет, то были близкие люди, и я думала, что стоит лишь мне захотеть, как и я без труда стану такой же, как они.

Ну что такое все эти Занзибары, Тасмании, Тринидады, Тобаго, Барбадосы? Тринидад в переводе на русский — троица. Да, всего-навсего — троица. Остров Троицы. Так есть и у нас в стране десятки городов с таким названием: Троицк, Троицкое, Троицкая... Барбадос — это бородачи, а Тобаго — табак. Умора — и только. Стоит лишь перевести звучные иностранные словечки на наш язык, как они тут же теряют притягательную силу. И тут-то наши русские, советские названия превращаются в сильно действующие магниты: Воркута, Камчатка, Чукотка, Братск, Норильск, Мирный... Мирный — это тебе не какой-то там Табак, а Братск — не Бородачи. Звучание не то, да и смысла побольше.

А дядя Петя все рассказывал об охотниках, рыбаках, геологах, строителях, старателях, о действующих вулканах, высоченных сопках, горячих источниках в снегах...

И, глядя на него, я находила, что, несмотря на редкие волосы, багровые щеки, вставные зубы, он очень симпатичный, даже почти красивый мужчина, и жалела, что мне пятнадцать и поэтому я не могу выйти замуж за дядю Петю и поехать с ним на Камчатку.

Две недели гостил он у нас. И две недели, день за днем, я приставала к нему с просьбами, чтобы он еще и еще рассказывал о своих приключениях, о своей работе на далеком полуострове. Дядя охотно рассказывал, брал меня с собой на прогулки, закармливал конфетами, пирожными, водил в кино, в театры. И только за день до его отъезда я решила задать вопрос, который давно уже вертелся у меня на языке.

— Дядя Петя, а почему вы не женаты?

Был вечер. Мы стояли у балюстрады бульвара, близ того места, где еще так недавно я ждала Николая, моего капитана. Дядя Петя вздрогнул, уставился на меня вдруг посуровевшими глазами.

— Это грустная история, Наташка, — необычным для него тихим голосом произнес он. — Был я женат, да вот характерами с женой не сошлись... Не захотела она расстаться с этим городом, когда я на Восток подавался. Осталась здесь и мужа себе другого нашла... Такое бывает, девочка.

— А вы ее видели? В эти дни видели?

Дядя Петя устало махнул рукой.

— Видел. Только лучше бы не видел.

Он с минуту помолчал, потом вдруг схватил меня за руку и горячо зашептал:

— Ты уже взрослая, Наташка... Без любви замуж не выходи! А полюбишь — на край света за мужем иди. Домашний уют, шубки, юбки, платья, другое тряпье из головы выбрось, не то счастье свое прозеваешь. Слышишь, девка?

Я молча кивнула. Широко открытыми глазами я пялилась на дядю, который еще пять минут назад весело и беззаботно балагурил. Ему было очень, очень больно, этому большому, сильному человеку, и я хорошо понимала его горе. Я погладила его шершавую волосатую руку и, жалостливо заглядывая ему в глаза, уверенно сказала:

— На ее месте я бы никогда вас не оставила, дядя. Никогда!

Дядя Петя, казалось, не расслышал моих слов. Отвернувшись, он упорно глядел вдаль, туда, где в синей дымке майского вечера переливалась огнями далекая окраина огромного города.

Мне показалось, что он плачет.

СИЛОМЕР

В Московском университете, куда я по настоянию мамы и папы ездила поступать, у меня ничего не вышло. Не прошла по конкурсу. И когда, вернувшись домой, я подала заявление в университет местный (мама и папа в конце концов решили снизойти до него), оказалось, что и здесь мест уже нет. Не помогли ни папины связи, ни мамины паломничества в храм науки. И тогда я заявила предкам:

— Поеду к дяде Пете на Камчатку...

Что тут началось! Мама чуть в обморок не плюхнулась, а папа обозвал меня соплячкой и строго-настрого велел мне впредь даже не заикаться о тех местах, где солнце один месяц в году светит и собаки вместо тракторов или лошадей тягловой силой служат.

Пришлось покориться. Но так как надо же было мне чем-то заниматься, предки, посоветовавшись, решили подыскать своей доченьке нетрудную работенку в каком-нибудь почтенном учреждении. В большом городе такую работу нелегко найти. Особенно для сопливой девчонки без всякой специальности, без рабочего стажа. Вот почему в бесплодных хлопотах прошли осень, зима, весна... Лишь в начале июня удалось маме забронировать для меня место. Надо было только выждать месяц-другой, пока уволится одна из сотрудниц.

Это золотое время я решила целиком посвятить отдыху. Как только установились теплые дни, я стала ходить на городской пляж. Ходила одна. Друзья-одноклассники разъехались кто куда: человек десять поступили в вузы, другие

махнули на Север, в Сибирь, на Дальний Восток и только трое-четверо остались, подобно мне, не у дел. Но жили они где-то далеко, да и интересы у нас были разные, так что я с ними совсем не встречалась.

Просыпалась я часов в восемь, завтракала, принаряжалась. Потом, прихватив с собой пару бутербродов, книжку и купальник ехала в дребезжащем трамвае к морю и часами валялась под палящим солнцем, думая о несбыточном, а то и вовсе ни о чем не думая.

Однажды я обратила внимание на молодую пару, расположившуюся на песке в двух-трех метрах от меня. Парня я вроде где-то видела. То был голубоглазый, круглолицый, полнеющий молодой человек лет двадцати шести. Он медлительными движениями сдавал карты своей подруге, себе и бородачу, присоединившемуся к ним. У его ног лежали китель и фуражка с золотым крабом.

Я узнала его: Николай, Лидкин брат, которого три года назад я так ждала на бульваре у телеграфного столба. Боже, и где были мои глаза! Туповатое лицо, бесцветные какие-то, ничего не выражающие глаза... За что я отдала ему свою самую чистую первую любовь? До чего ж я была неразборчива! Да, не зря говорят, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Молодец, Коля, что не пришел тогда. Я свысока, с сочувствием глянула на русоволосую подругу „капитана".

В другой раз, собираясь уже домой, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв глаза, увидела атлетически сложенного парня с широченными плечами и узкими бедрами. Он смотрел на меня серыми глазами и дружелюбно ухмылялся.

— Вася? — неуверенно спросила я.

— Узнала-таки! — засиял он.

— Васька-штангист!

— Штангистом тогда был, теперь — гимнаст.

— Ну и вымахал же ты! Таким заморышем был!

И я расхохоталась, вспомнив, как выглядел Вася пять лет назад, перед тем как перевелся в другую школу.

— А ты! — парировал он. — Сопливая плакса и лгунья. Одним словом — Лулу!

— Ты не забыл? А ведь друзья до сих пор так меня зовут.

— Ну! Шикарно. Лулу, — он трижды повторил кличку, прислушиваясь к ее звучанию, потом убежденно сказал: — Что ж, заметано. Я тоже буду называть тебя Лулу.

— А ты здорово изменился, — сказала я.

— Ты тоже, — получила в ответ вместе с откровенно мужским взглядом, оценивавшим мое тело, обтянутое красным купальником, мои голые плечи и ноги.

Взгляд был слишком откровенный, и я почувствовала, что краснею. А он уловил мое смущение и, чтоб как-то сгладить неловкость, сказал:

— Негритянка.

Мы встретились на другой день на том же месте. Я лежала на песке и сквозь дымчатые очки разглядывала темно-серое безоблачное небо. Вася сидел подле и рассказывал о подвигах ведущих спортсменов страны. И хоть мне это было совсем не интересно, я на всякий случай старалась запоминать имена, баллы, килограммы. А Вася меры не знал, все болтал о том, что такой-то толкнул столько-то, а такой-то выжал столько-то, что такая-то на брусьях набрала столько-то, а такая-то в вольных упражнениях — столько-то. Это длилось так долго, что мне стало невтерпеж, и я предложила пойти искупаться. После купания Вася возобновил свой нудный рассказ.

Может, я б в нем сразу разочаровалась, но на другой день он внезапным подвигом искупил свои грехи. Невдалеке от нас пристроился старичок-пенсионер с силомером. Вокруг этого аппарата собралась толпа мужчин и подростков, жаждавших на других поглядеть и себя показать. С коварным умыслом я заманила Васю к аппарату.

Аппарат был несложный. Следовало изо всех сил стукнуть деревянным молотком по рычагу, торчавшему над дощатым ящиком. Рычаг сообщался с ударником, приводившим в движение стрелку-указатель. В зависимости от силы удара стрелка скользила вверх по шкале. Если она достигала наивысшей точки, раздавался оглушительный выстрел.

Уже минут пять наблюдали мы с Васей за состязанием, но пока еще никому из силачей не удалось взметнуть указатель до заветной черты. Вот к аппарату подошел здоровенный дяденька с мощными, как у мясника, бицепсами. Самодовольно ухмыляясь, он зажал в правой руке молот, левой оттесняя назад передние ряды любопытных. Широченный размах, удар, который, казалось, земной шар расколоть мог надвое, и... указатель едва поднялся до середины шкалы. Гора родила мышь. Под смех и улюлюканье зрителей липовый богатырь удалился.

К силомеру приблизился сухопарый паренек лет семнадцати. От его удара стрелка взметнулась довольно высоко — застыла всего лишь в пяти сантиметрах от вершины. Потом без особого успеха пробовали свои силы мужчина лет сорока и парень лет двадцати пяти.

Я вопросительно взглянула на Васю. Он понял меня, пожал плечами, мол, делаю это только для тебя. Подошел к аппарату, зажал в руке молот, коротко размахнулся... Удар — выстрел!

Публика с уважением уставилась на него, я от радости даже в ладоши захлопала. Вася кивнул мне и снова размахнулся. Удар — и опять выстрел!

Возвращаясь с ним на место, я невольно подумала: „Вот это мужчина! С таким не пропадешь''. Я спросила его:

— А где ты работаешь?

Он только плечами повел.

— Числюсь, но не работаю.

— Как так? — удивилась я.

Он рассмеялся.

— Очень даже просто. Городу нужны спортсмены. Город платит, а мы защищаем его честь. Ферштеен?

— Но почему бы не работать заодно?

— Работать — значит ничего в спорте не добиться. Тренировки все время отнимают...

Он умолк. Уже несколько минут он не сводил глаз с моих длинных пальцев. Что он в них такого увидел?

— Лулу, — с усилием выговорил наконец он, погладив мою руку.

Конечно, я догадывалась, что он хочет сказать. Но мне не хотелось, чтоб он это говорил. За последние несколько минут между нами словно стена отчуждения поднялась.

— Лулу... — опять заикнулся он.

Надо было опередить его излияния. И я невинно спросила:

— А ты никогда не мечтал поехать в Братск?

Он отдернул руку и нервно захихикал.

— В Братск? Чего я там не видел? Мне и здесь неплохо...

— А на Камчатку?

— Да что это на тебя нашло, Лулу?

Он начал злиться, и мне это почему-то доставляло удовольствие.

— В Магадан, в Красноярск? К черту на кулички?

Вася вконец разобиделся.

— Ты смеешься надо мной?

Я грустно разглядывала его могучие плечи, грудь, живот, на которых, как у молодого Геркулеса, выделялся каждый мускул. Еще пять минут назад он казался мне настоящим мужчиной. Теперь я видела перед собой глупого, пустого, хвастливого бездельника.

„Такая силища, а пропадает зря, — думала я с печалью в сердце. — И я ничем не лучше. Через месяц засяду за бумаги и утону в них. Кто меня спасет?''

— Так встретимся вечером? — в третий раз уже спрашивал Вася.

Я очнулась, тряхнула головой.

— Тебе это очень хочется?

— Спрашиваешь!

— Что ж, можно встретиться.

— Где? Когда?

Давнее воспоминание кольнуло сердце. Озорная мысль мелькнула внезапно в голове и обрела форму в словах:

— В шесть часов на бульваре, у третьего телеграфного столба, считая от будки с мороженым, что возле музея.

— Ладно, — слегка опешив, кивнул Вася. — У третьего столба, стало быть... Я буду ждать.

Он, кажется, всерьез воспринял мои слова. Что ж, тем хуже для него.

* * *

Ты улыбаешься, милый. Вижу, и улыбаюсь с тобой вместе. Да, ты прав: я не Жорж Санд. Но в этих бесхитростных рассказиках — весь мой жизненный опыт до того момента, пока не появился Он. А как появился, все былое полетело в тартарары, отошло куда-то далеко-далеко назад: дом родной, папа с мамой, друзья и подруги, предстоявшая работа... Словно вихрем нас бросило в объятия друг друга и, однажды обнявшись и поцеловавшись, мы уже почти не расставались и постоянно были заняты поисками укромных местечек, где можно было всласть, беспрестанно обниматься и целоваться. Нас знали все ночные парки города. Все каштаны и акации, сгущавшие тьму его тихих улиц, все потайные полуночные скамьи, гостеприимно предлагавшие нам свои жесткие спинки и сидения, и только нескромные ночные фонари едва ли нас запомнили, потому что мимо них Саша, ведя меня под руку, прошмыгивал быстро-быстро, точь-в-точь как преступник, боящийся быть опознанным. А днем, на морском берегу, мы были несчастны, как дети, лишенные любимых игрушек в наказание за шалости. Там нельзя было обниматься и целоваться, и шептать друг другу слова нежности и страсти. Так, по крайней мере, считал Саша. Меня-то никто, кроме него, не интересовал, я-то и не замечала шумных сопляжников, плотным кольцом окружавших нас, и охотно, без малейшего смущения продолжала бы и здесь то, чем мы занимались по ночам в тиши аллей. Но мой Саша, мой милый старичок, считавший себя солидным мужчиной на том основании, что был на целых девять лет старше меня, отличался девичьей застенчивостью, нелепыми предрассудками прошедших веков. Однажды, от полноты чувств, я не выдержала и нарушила табу: прямо там, на людном пляже, чмокнула его в щеку. Боже, как он смутился, как покраснел! Как в великом стра-

хе стал озираться кругом — не заметил ли кто моего святотатственного поцелуя?!

— Ты с ума сошла, — шепотом корил он меня, с трудом оправляясь от шока. — Разве так можно?

Я молчала. У меня не было никаких сомнений, что „так" не только можно, но и нужно, что только „так" и нужно и никак иначе, что любовь — не постыдное преступление, а светлое озарение, подарок неба, а потому бессмысленно, глупо скрывать ее невинные внешние проявления от глаз людских. Ничего такого я, однако, ему не сказала, чтобы, не дай Бог, он не понял, что я в свои восемнадцать куда больше женщина, чем он — мужчина в двадцать семь.

В другой раз, в начале сентября...

Произошло это уже после того как он сделал мне так называемое официальное предложение (Боже, какое ужасное словосочетание!) и после того как он попросил моей руки (опять!) у родителей, слишком поспешно и, на мой взгляд, даже с нескрываемой, неприличной радостью давших согласие (ну не радость ли — сбыть с рук своенравную, слишком налитую соками жизни девчонку, на которой лифчики лопались и которая, того и гляди, сломя голову бросится в объятия первого встречного афериста и „погубит себя"?). Так вот, в ту теплую сентябрьскую ночь, последнюю перед его отъездом домой, в Москву, мы лежали в укромном уголке Пионерского парка и, начисто сгорая от страсти, сжимали друг друга в объятиях и целовались, целовались, целовались... И в какой-то миг, не выдержав, я горячо прошептала ему на ухо:

— Не могу больше ждать... Возьми меня, мой милый! Ведь все равно уже все решено...

Он порывисто наклонился надо мной, впился губами в сосок моей голой груди. Я застонала и запустила пальцы обеих рук в его волосы. Но он внезапно отпрянул,стал серьезным, даже мрачным, и назидательно проговорил:

— Нельзя. Я стал бы себя глубоко презирать, если б тебя, именно тебя... Ведь мало ли что еще может случиться до свадьбы.

От неутоленного желания, обиды и злости я даже зубами заскрежетала. Он, он хотел сохранить до брачной ночи то, что я сама в грош не ставила! Ну не смешно ли? Но вместе с тем его несомненная честность, его стойкость, его, хоть и ненужная, но безусловно трогательная забота о моей девичьей чести (опять и опять идиотские словосочетания!) не могли не импонировать мне, и я тогда, хорошо помню, впервые подумала, что мое нетерпение, моя готовность немедленно отдаться любимому мужчине — если и не постыдны, то во вся-

ком случае и не достойны похвалы. Но окончательно убедить себя в этом я не могла и, на целый месяц оставшись одна-одинешенька после Сашиного отъезда, я не переставала сожалеть о том, что э т о не произошло, и только о том и думала, когда, через месяц, после проклятой непременной регистрации, э т о, наконец-то, освободит меня от постылого девичества и превратит в женщину, целиком и полностью принадлежащую своему любимому. Мысль о том, что я порочна, порочна от рождения, пришла значительно позже, но я ли одна такая, не таковы ли все или почти все женщины, а если таковы, то справедливо ли называть порочностью то, что, по сути, составляет наше естество? Ибо, если уж быть до конца откровенной, что такое наша пресловутая девичья честь и кто прежде всего заинтересован в ее сохранности? Да конечно же мужчины, воспевшие ее в бесчисленных стихах и песнях, рассказах и романах с единственной корыстной целью — сберечь и первыми получить то, что они так высоко ценят, но что на самом деле гроша ломаного не стоит. И в этом вопросике, как и во многих других, идеализм мужчин, их предрасположенность к древним предрассудкам, их консерватизм и эгоизм просто выше всякого разумения. Хочу верить, мой хороший, что ты вылеплен из другого теста и подобные „проблемы" тебя не занимают. А поэтому — ну их подальше!

Вместе с родителями я прибыла в Москву за четыре дня до свадьбы. Мы остановились у знакомых, где мама и занялась последними приготовлениями к торжеству, в то время как мы с Сашей большую часть дня бродили по городу или же платонически безумствовали на широкой тахте в его комнатушке. Он был верен себе, мой долговязый очкарик, такой умный и сведущий в вопросах философии, литературы, искусства, истории, экономики и такой наивный, беспомощный в житейских делах, он был верен себе, и за три дня, и за два дня, и за день до бракосочетания все еще геройски охранял мою честь от самого себя, и это было так смешно...

Когда мы теряли силы в столь приятном, но невинном, бесплодном барахтании на тахте, я выходила отдохнуть на кухню, где попадала в материнские объятия лучистоглазой Софьи Матвеевны, симпатичной женщины лет пятидесяти, вместе с мужем, Иваном Афанасьевичем, занимавшей две другие комнатки коммуналки. Она принималась сокрушаться по поводу моей молодости, взахлеб расхваливать Сашу, восторгаться моей фигурой. Она пичкала меня поучительными историями из своей далекой молодости, и я, из вежливости, слушала, одновременно поедая необыкновенно вкусный

яблочный или сливовый пирог ее собственного изготовления. Изредка на кухню заглядывал ее супруг — солидный товарищ с брюшком, занимавший, по словам Софьи Матвеевны, весьма важный пост, — какой именно,я так и не узнала. Он улыбался мне жирными маленькими губками, и его глазки становились масляными, когда я улыбалась ему в ответ, и в уголках рта скапливались слюнявые пузырьки. Он называл меня „невесточкой'', покровительственно, по-отечески похлопывал по плечу, а я-то понимала, что все это лишь предлог, чтоб прикоснуться ко мне, и Софья Матвеевна тоже понимала и добродушно гнала его прочь:

— И ты туда же, греховодник! А ну ступай домой, старый хрен, у нас тут с Наталочкой женский разговор.

И все-то мне нравилось, и я была счастлива и чувствовала себя пупом земли, средоточием вселенной, идолом толпы. Мне в самом деле льстили, угождали в самых неожиданных местах — на улицах, в троллейбусах, в метро, в магазинах, и не знаю уж, что было тому причиной — мое ли положение молоденькой невесты или моя знойная африканская внешность. Мама даже говорила мне в те дни:

— Натка, смотри, не шали! Блюди себя, а то, неровен час, глупость сморозишь. С тебя ж этот, как его... секс прямо-таки электричеством прет. Ой, боюсь я за тебя, девка.

— Ну что ты, мама, — ханжески лицемерила я. — Какой еще такой секс, о чем ты говоришь. Неудобно даже, краснеть меня заставляешь.

А самой приятно такое было слушать!

Я и на свадьбе оставалась пупом земли. Свадьба состоялась 13-го октября в одном из залов ресторана „Будапешт''. Саша смущался, чувствовал себя не в своей тарелке, и, боясь показаться смешным, умеренно ел, не пил и с великой робостью наклонялся ко мне всякий раз, когда захмелевшие гости орали „Горько!'' Что касается меня, то в этой первой в моей жизни ресторанной вылазке я плыла, как рыба в воде. Хлебнув шампанского, я слегка опьянела, и все, решительно все казалось мне тогда прекрасным, непреходящим, вечным — и милые гости, и блеск люстр, и грохот оркестра, и мой чудный робкий муженек, и, конечно, моя ослепительная молодость, отражавшаяся в двух зеркалах от пола до потолка. На мне было белое нейлоновое платье, белые же туфельки, но не было фаты, потому что невозможно было прикрепить фату к роскошному шиньону, возвышавшемуся на моей голове в виде замысловатого конуса с широким основанием и усеченной вершиной, конуса, украшенного барельефами и горельефами множества завитков, обильно посыпанных сверкающими блестками. На пальцах левой ру-

ки, которую я гордо старалась выставлять напоказ, крикливо заявлял о себе массивный свадебный обруч — подарок мужа, поблескивало колечко с александритом и пламенело еще одно — старенькое, с крупным рубином, завещанное мне бабушкой и врученное мамой за день до свадьбы. Все приглашали меня танцевать, кроме, разумеется, Саши, считавшего танцы занятием крайне несерьезным. И, проплывая мимо зеркал в объятиях очередного кавалера, я с наслаждением разглядывала себя в них, и во мне крепла вера в свою исключительность, в предопределенность моего неповторимого счастья, счастья огромного, невиданного, всепоглощающего... Что удивительного, ведь я была пупом земли!

А потом... Голенькие, как ангелочки, мы с Сашей лежали на тахте и... ничего не было. В решающую минуту мой милый, добрый, хороший муж потерял всю свою силу, и ничто — ни страстные поцелуи, ни горячие объятия, ни нежные слова, — ничто в ту ночь не помогло. Но все равно мне было ужасно хорошо с ним. Из интимных предсвадебных бесед с мамой и Софьей Матвеевной я знала, что с мужчинами такое нередко случается и не следует из этого делать трагедию. Никакой трагедии я и не делала, а ласково, без слов, поглаживанием щек и материнскими поцелуями утешала его, давая понять, что ничегошеньки страшного не произошло, что я охотно подожду и день, и два, и месяц, и не следует ему вовсе переживать из-за этой досадной, но такой понятной осечки. А он и не пытался скрыть, что невыразимо страдает, и трижды во мраке нашей комнатушки раздавался его шепот:

— Черт побери, вот так штука! Ведь никогда прежде такого со мной не бывало...

Милый, милый, милый! Чудный мой муженек! Как бесподобно звучало твое „никогда прежде"! Сколько чисто мужского трогательного гонора содержалось в этих двух словечках! Ты, хвастунишка, ясно давал мне понять, что до меня у тебя было ой сколько женщин и ни одна из них не уходила от тебя разочарованной, потому что ты парень хоть куда и силенок у тебя побольше, чем у какого-нибудь Ловеласа или Казановы. А разреши мне не поверить тебе, мой хороший. Я не хочу сказать, что никого ты до меня не знал, но количество этих женщин, конечно же, исчислялось не сотнями и даже не десятками, а единицами. Надо же было совершенно тебя не знать — твой тонкий интеллект, твою воспитанность, деликатность, стеснительность, доброту, — чтобы представить тебя в образе лихого Дон Жуана, никакими иными заботами не обремененного, кроме как бесконечной погоней за юбками. Да будь ты таким, я бы наверняка крепко-крепко подумала, прежде чем за тебя замуж выходить, ибо какое же постоян-

ное, глубокое и безмятежное счастье может дать женщине неисправимый бабник!

Э т о наступило на третью ночь. Я внезапно ощутила резкую боль, но тотчас же за нею, пожалуй, даже вместе с нею — и нечто такое, чего никогда прежде не испытывала. Меня вдруг всю затрясло, как в приступе лихорадки, и сладкий электрический разряд пронизал тело от кончиков пальцев на ногах до самой макушки, и я застонала, замычала по-коровьи. И сразу же надо мной точно так же затрясся и застонал Саша, и когда я услышала его стон, электрический разряд снова, во второй раз всколыхнул меня и, кажется, я вцепилась зубами в плечо любимого. А потом оба мы молча лежали рядышком, тяжело дышали, и я мысленно вновь и вновь переживала произошедшее и с трепетом и ликованием думала: так вот оно какое, э т о, вот почему ради него идут на жертвы, страдания, преступления...

Так я стала женщиной, а Саша — мужчиной. И с той ночи мы будто с цепи сорвались. Оба жадные, ненасытные, мы и днем, и ночью искали друг друга и до изнеможения, до полной потери сил друг друга любили. Иногда у меня даже возникало такое чувство, будто в своей прыти мы, одновременно, хотим и наверстать ту любовь, что нами была упущена, и налюбить на пять, десять лет вперед, словно в страхе перед тем, что их у нас кто-то отнимет, эти пять или десять будущих лет. О, зрелая мудрость юных влюбленных! К тебе как нельзя лучше применима древняя поговорка: „Не оставляй на завтра то, что можешь сделать сегодня".

Саша нигде не работал. Он был литератором, пишущим человеком, переводчиком. В комнате у него стоял письменный столик, заваленный бумагами, вырезками из газет и журналов, книгами. Однажды он показал мне стопку толстых и тонких журналов, где были напечатаны его произведения. Со стыдом признаюсь: меня тогда не заинтересовали его труды. Иным были заняты мои мысли, стыдно сказать — чем. Да ничегошеньки я и не поняла в той статье, которую он рекомендовал мне прочитать.

По утрам он садился за работу, а я отправлялась за покупками. Потом я готовила — любезная Софья Матвеевна терпеливо учила меня мелко нарезать лук, жарить отбивные, варить компот. Обедали мы с Сашей в два. Он без устали хвалил мою стряпню, но я-то знала, что до звания отличной хозяйки мне еще ой как далеко и что Сашины комплименты поэтому — не более чем простая любезность. После обеда он снова брался за работу, а я мыла посуду. С трех пополудни и до вечера делать мне было нечего, и я, укрывшись одеялом, валялась на тахте и читала. Но чтение добрых книг

тоже не шибко увлекало меня тогда, и уже через полчасика книга выпадала из моих рук, и тоскливые мои глаза утыкались в спину пыхтевшего за письменным столом Саши. Наверное, из моих глаз исходили какие-то горячие флюиды, потому что очень скоро Саша начинал беспокойно ерзать на стуле. Еще минут через пять он оборачивался, смотрел на меня с шутливой укоризной, качал головой и, демонстративно, с выражением презрения на овальном, заостренном в подбородке лице махнув рукой на свою писанину, шел ко мне и быстро нырял под одеяло, запуская жадные руки под мой халатик. И снова — полное отключение от окружающего мира с его мелочными, скучными заботами и — трепет тела и восторг души.

Однажды, в конце ноября или в начале декабря Софья Матвеевна, как бы невзначай, спросила, известно ли мне, что Сашины родители сидят. Мне, конечно, все было известно, не мог же такой человек, как Саша, скрыть от меня столь важную деталь своей биографии. Я сказала об этом Софье Матвеевне, но, вероятно, в моем голосе прозвучали нотки недовольства ее нескромным вторжением в данную, ее лично не касавшуюся область, потому что она тут же стала меня утешать, говоря, что ничего страшного в том нет: Сашины родители сидят не „за политику", а за какие-то, якобы, махинации с золотом.

Несчастье с родителями, получившими по десять лет каждый за „спекуляцию драгоценностями", было открытой раной Саши, и он часто с глубокой обидой говорил об этой „мерзости", заключавшейся в том, что отец и мать всего-то навсего хотели продать старинный массивный золотой браслет по цене, превышающей смехотворную государственную, чтоб дать возможность сыну спокойно закончить университет. И — какое издевательство! — говорил Саша, — мало того, что конфисковали у них этот браслет, а заодно и все мамины кольца, и цепочку золотую, и папин серебряный портсигар, — послали их, уже пожилых людей, в Магаданскую область, на Колыму, туда, где это самое проклятое золото добывают.

Должно быть, семейное горе пошатнуло его веру в справедливость сущего, ожесточило его доброе, мягкое сердце. Он нередко рассказывал анекдоты, да не какие-нибудь, а политические, причем не только наедине со мной, но и порой в присутствии соседей и, как видно, также в редакциях, в которых сотрудничал. Я люблю анекдоты, хотя и не запоминаю их. Не помню, какие именно рассказывал Саша, знаю только, что в них едко высмеивался колхозный строй и, кажется, еще кто-то из героев гражданской войны. Я хохотала до слез,

слушая их, и даже не представляла себе тогда, как опасно не только рассказывать, но также и слушать этот фольклор. Конечно, я знала о самоотверженной борьбе коммунистической партии со всевозможными вредителями, врагами народа, предателями родины, всякими там зловредными акмеистами и космополитами — кто этого тогда не знал? — и душой целиком была с родной партией, на плечи которой ложилась вся тяжесть этой бескомпромиссной борьбы за счастье народа, но козни врагов я представляла себе не иначе как в виде поджога зернохранилищ (отчего несколько лет назад страну поразил голод, саботажа на заводах (следствием чего была хроническая нехватка промтоваров), вредительства в армии (приведшее, как хорошо известно, к крупным неудачам в начале Великой Отечественной войны). Я тогда и представить себе не могла, что один-единственный смешной анекдот в глазах наших вождей являлся едва ли не более страшным грехом, чем любое из вышеперечисленных преступлений, и что виновник, сочинивший, пересказавший или слушавший его, приговаривался к тому же наказанию, что и поджигатель, и диверсант, и дезертир, и вредитель. Если б я это знала... Хотя нет, ничего бы не изменилось, если б и знала!

...Они пришли ночью. Сквозь дикий вой метели, бушевавшей за единственным окном нашей комнатушки, в мои сонные уши вдруг, будто из далекого далека, стали прокрадываться настойчивые звонки: один, за ним второй... Два звонка, значит, к нам. Я оторвала голову от подушки и стала слушать. Несколько секунд было тихо, потом снова, теперь уже с отчетливой резкостью раздались два продолжительных звонка. Саша спал мертвецким сном. Я тронула его за плечо, он вздрогнул, и послышался его ленивый шепот:

— Что случилось, голуба?

— Звонят, — помертвевшими губами ответила я.

В те страшные годы даже малые дети знали, кто именно, бодрствуя по ночам, охраняет мирный сон народа, врываясь в квартиры его врагов. Конечно, случалось и так, что „врага" ожидал сюрприз: вместо недремлющих опричников в гости к нему жаловал кто-то из близких или дальних родственников, отчаявшийся найти пристанище в негостеприимных московских гостиницах. Но такие случаи считались редким курьезом и передавались из уст в уста в виде анекдотов. Кстати, я знала: в родном городе один наш знакомый получил разрыв сердца от такого вот ночного звонка, оказавшегося вполне невинным сигналом прибывшего издалека друга.

Саша пулей выскочил из постели и метнулся к письменному столику, на ходу бросив мне:

— Поди узнай, кто там, да не торопись открывать.

Я накинула на себя халатик, влезла в шлепанцы и вышла в холодный коридор. Подойдя к двери, с замершим сердцем спросила:

— Кто там?

— Вам срочная телеграмма! — прозвучал в ответ мужской голос.

На миг блеснула надежда: а может, это правда? Помню, подленькое желаньице мелькнуло в голове — чтоб тяжело заболел отец или мать (или даже умер!) и чтоб об этом извещала ночная телеграмма. Вот на что я была готова в ту минуту в своем эгоистичном животном стремлении сберечь для себя любимого. Памятуя Сашину просьбу, я отозвалась:

— Одну секунду, только халат на себя накину.

И вернулась в комнату на ватных от дрожи ногах. На фоне светлого окна, отделанного ледяной мозаикой в виде елочных ветвей, я увидела Сашин силуэт и услышала характерный звук комкаемой бумаги.

— Кто? — сдавленным голосом бросил он мне, и я поняла, что он проглатывает комки бумаги.

— Говорит — срочная телеграмма, — прошептала я сквозь давившие меня слезы. — Может, дома что-то случилось?

— Черта с два! — со злостью прошипел он в ответ и судорожно проглотил очередной комок. — Ну ладно, иди открывай, да не спеши.

Снова раздался душераздирающий двойной звонок. Я прошлепала к двери, на ходу бормоча:

— Иду, иду...

А сердитый голос торопил меня снаружи:

— Что это вы так, гражданочка? Мне еще по девяти адресам топать надо.

— Уже открываю.

Все еще надеясь на чудо, я нашарила в темноте цепочку, откинула ее, отодвинула засов. Под напором извне тяжелая дверь отворилась, едва не стукнув меня по лбу, и в свете тусклой лампочки, горевшей в подъезде, я увидела троих „почтальонов". Так как я стояла на их пути, первый, врываясь в коридор, движением руки оттолкнул меня, да так, что я отлетела к стене, потеряв шлепанец.

— Что резину тянешь? — рявкнул он на ходу.

Ночные гости, волоча за собой шлейф алкогольного аромата, проследовали в комнату. Трепещущей ногой я нащупала шлепанец, надела его и, от внезапно наступившей слабости держась за стену, последовала за ними. Когда я вошла, уже

горел свет. Саша, как ни в чем не бывало, лежал в постели, а перед ним, с какой-то бумагой в руке, вероятно, ордером на арест или обыск, стоял один из непрошенных визитеров. Саша был бледен, но вроде совершенно спокоен. Он даже слегка улыбался. Но улыбка эта напоминала оскал затравленного волка. Зато удивительными были его близорукие серые глаза: они пылали огнем под высоким лбом с залысинами, и я могу поклясться, что видела бесстрашный огонь непримиримой ненависти и откровенного презрения к ночным птицам и их ремеслу, то есть огонь мужества, которое трудно было заподозрить в моем ученом, таком мягком, благодушном, робком, деликатном муже.

Двух пришельцев я не запомнила: бумажная бесцветность и трупная стертость их физиономий просто-напросто не позволяли памяти хоть что-то запечатлеть. Третий резко отличался от коллег. Высокий, лет сорока, с хищным крючконосым лицом, с одним-единственным зрячим — диким, красным — глазом. Другой глаз ему, видать, выбили враги народа, и пустую глазницу прикрывала черная нашлепка, придерживаемая черным же шнуром, наискось, как линия экватора, пересекавшим его довольно пышную каштановую шевелюру. Он-то и обратился ко мне, когда я переступила порог.

— Вы жена гражданина Соболя? Садитесь вот здесь. Не вставать и не вступать ни с кем в разговоры. Понятно?

Я опустилась на указанный стул у двери. Теперь я вся дрожала — от страха и от холода и, в попытке унять расслаблявшую дрожь, все сильнее сжимала отвороты халатика на груди. Саша, между тем, по приказу второго чекиста одевался. Он хотел было подойти ко мне, но ему тотчас же велено было сидеть на тахте и не шевелиться, что он и исполнил. Мы не могли переговариваться, зато нам забыли запретить друг на друга смотреть. О, как много в подобных ситуациях можно друг другу сказать!

Один из тройки, старший по возрасту и, видать, по званию, уселся за наш обеденный стол, предварительно грубо смахнув с него на пол парочку „Огоньков'', пластмассовую вазочку с бумажными цветами и китайскую скатерть с вышитыми пагодами — свадебный подарок моей тети. Сюда, на чистую поверхность стола, двое других подавали ему на просмотр все, что казалось им хоть в малейшей степени подозрительным. Конечно, прежде всего они занялись изучением Сашиных рукописей, извлеченных из ящиков письменного стола и из книжного шкафа. Разрозненные страницы и целые папки, а также фотографии подавали подчиненные старшему, и тот с каменным выражением лица просматривал каждый листок, и порой его губы складывались в торжествующую

ухмылку, и он понимающе хмыкал, словно все заранее знал, словно был провидцем, еще до Сашиного рождения предсказавшим, что ничего путного из будущего человека Александра Соболя получиться не может, а потому и не стоило его на свет производить, но, поскольку волей непредвиденных обстоятельств он все же появился и целых двадцать семь лет прожил безнадзорно и за это время до донышка обнажил свое гнусное нутро, то теперь уж ему покажут, где раки зимуют.

„Мне страшно! — плавающими в слезах глазами вопила я, оборачиваясь к любимому. — Я умираю от ужаса!"

„Не бойся, голуба, — успокаивал меня Саша, и теперь взгляд его, обращенный на меня, был ласковый и нежный. — Не бойся. Не так страшен черт... Авось все обойдется".

„А если не обойдется? — содрогаясь от сдерживаемого рыдания вопила я. — Что тогда? Как я останусь одна, без тебя? Я погибну!"

„Не плачь, родная, все будет хорошо, увидишь. Ничего такого они не найдут. Все самое опасное я успел проглотить, а то, что осталось, против меня не может быть обращено".

„И все-таки мне страшно, любимый. Разве ты не видишь гадкую ухмылку этой жабы за столом, не понимаешь, что ничего доброго она нам не сулит?"

„Вижу, все вижу, голуба. Ну что ж, может, и возьмут меня, продержат денька три или даже месяц... Так что ж? На этом ведь жизнь не кончается, верно? Главное, чтоб мы друг друга не забывали, чтоб жила, не ослабевая, наша любовь. Ты ведь любишь меня?"

„О, как ты можешь в этом сомневаться! Что бы ни случилось, я буду любить тебя и ждать, ждать, ждать!"

„Правильно, милая. Верь в меня, как я верю в тебя..."

В этот миг Циклоп, проходя мимо с очередной стопкой бумаг, вдруг остановился. Он, одноглазый, заметил наш немой диалог. Он с удивлением в красном циклопьем глазу посмотрел на меня, потом на Сашу, снова на меня и вдруг грубо приказал:

— Эй ты, кукла, а ну-ка повернись лицом к стене. Живо!

Я не успела выполнить его приказание, как внезапно вновь вспыхнули ненавистью Сашины глаза, и он, порывисто наклонившись вперед, взвизгнул:

— Не смейте так разговаривать с женщиной!

В мгновение ока на его запястьях оказались металлические наручники, и грубый голос Циклопа прозвучал насмешливо-издевательски:

— Еще раз каркнешь, гад, — кляпом глотку заткну!

Я отвернулась, как мне было велено, поднесла ко рту

кулак и, чтоб не завыть от ужаса и боли, впилась зубами в мякоть ладони у корня большого пальца. Вот тогда я окончательно поняла, что дело плохо — хуже быть не может, что Саша прекрасно это знает, и только великодушие, любовь и жалость ко мне диктовали ему те утешительные, ласковые слова, что я прочитала в его глазах.

Теперь я сидела лицом к окну, но боковым зрением видела кое-что из того, что происходило в комнате, а остальное мне досказывал слух. Ищейки рылись в Сашиной библиотеке, каждую книгу в отдельности перелистали, кое-какие старые издания передали старшему. Они не трудились складывать книги обратно в шкаф, а, просмотрев, бросали их на пол, топтали ногами, отшвыривали носком ботинка, если мешали. Затем они принялись за платяной шкаф и тумбочки. Потом выстукивали пол и стены в поисках тайников, рылись в старых чемоданах, в моей сумочке.

А я, не переставая, плакала. Я еще не была в состоянии осмыслить случившееся, но мне уже было ясно, что творится великое беззаконие, что страдает невинный — добрый, милый, умный человек, мой муж, с которым мне довелось прожить всего-навсего два месяца и шесть дней. И слезы обильными ручьями лились из глаз по щекам, падали на крашеную половицу, и я сама, и, наверное, Саша и даже трое безжалостных чекистов слышали звон этой необычной капели. Но что могла изменить соленая влага моих глаз в железной поступи событий?

— Прощай, голуба! — вдруг услышала я голос милого.

Его уводили. Я вскочила на ноги и, не помня себя, как тигрица, у которой отнимают детеныша, кинулась следом за ним. В дверях Циклоп преградил мне путь. Я вцепилась ногтями в его предостерегающе поднятую руку, он вскрикнул, выругался, влепил мне звонкую пощечину и втолкнул обратно в комнату. Я обо что-то стукнулась, упала, он воспользовался этим и быстро удалился. Я снова поднялась, выбежала в коридор, оттуда — на лестницу. Быстрые шаги Циклопа уже звучали внизу. Семеня ногами я, как была, в одном халатике, что есть духу сбежала вниз по гулким лесенкам. Да не поспела. Когда, истерзанная, задыхающаяся, заплаканная, выбежала на пустынную улицу, „воронок" уже набирал скорость и быстро удалялся в серебристом вихре снежной пыли.

Не помню, как я вернулась в наше разгромленное гнездо. Но, вернувшись, без сил свалилась на тахту и разревелась. И тут ко мне неслышно вошла Софья Матвеевна. Присев рядышком, она привлекла меня к себе, и я доверчиво уткнулась головой в ее пышную, горячую грудь и теперь уже запла-

кала навзрыд, всхлипывая, задыхаясь в собственных слезах.

— Плачь, плачь, Наталочка, — шептала мне на ухо добрая соседка, — слезы облегчают горе. Какое несчастье, Боже мой, какое несчастье! Мы с Иваном Афанасьевичем все-то из-за двери слышали... Да разве тут поможешь чем? Плачь, плачь, милая...

И я плакала. В ту ночь, наступившим днем, и на следующий день, и на третий, четвертый. Казалось, неиссякаемы у меня те мешочки, что зовутся слезными железами. Не мешочки — мешки. Иногда я ненадолго успокаивалась, но едва вспоминались ласковые Сашины губы, руки, его горящие от ненависти глаза в ту последнюю ночь, наручники, в которые моего любимого, как вора, как убийцу, заковали, слезы опять одолевали меня, и я плакала, плакала, плакала, пропитывая влагой, а затем высушивая на радиаторе один платочек за другим. Милейшая Софья Матвеевна призвала на помощь Таню, свою дочку — разведенную тридцатилетнюю красавицу-блондинку, жившую где-то в Химках, и объединенными усилиями, в две смены, они не только утешали меня, но и потихоньку подкармливали. Они навели кое-какой порядок в разгромленной комнате, сложили валявшиеся на полу книги в шкаф, расставили стулья... И от их бесконечной доброты еще тоскливей ныло сердце и еще сильнее хотелось плакать. Даже Иван Афанасьевич пару раз ко мне заглядывал, подменяя выбившихся из сил жену и дочку, но утешителя из него не получилось, так как он все больше норовил утешать руками, а его прикосновения вызывали у меня дрожь отвращения.

Пока я плакала, рыдала, убивалась от горя, я не была в состоянии связать двух мыслей воедино. Но суток через пять, в течение которых я не отличала дней от ночей, произошел какой-то кризис в моем сознании, и я стала понемногу успокаиваться. Тут-то и наступила еще более мучительная пора в моей жизни. Я начала думать, осмысливать происшедшее, и передо мной постепенно стала открываться такая пугающая бездна, что всякий раз, при одной мысли о будущем, меня пробирала болезненная дрожь. Большей частью по ночам — днями два моих ангела-хранителя одну меня не оставляли — я вспоминала отдаленное и недавнее прошлое, сопоставляла слышанное, виденное, пережитое лично, несвязуемые, казалось бы, явления сплетались воедино, и новая картина сущего во всей своей отвратительной наготе вставала передо мною.

Помню первый свой самостоятельный анализ и вывод. Я подумала: „Так вот какие они, эти самые враги народа!" В родном городе я знала четыре семьи, оставшиеся без муж-

чин, точно так же, как Саша, „взятых" поздней ночью. Один из них исчез бесследно, трое других писали письма с далекого Севера. Я рассудила: „Если каждый советский человек, подобно мне, знает четыре такие семьи, то сколько же у Советской власти врагов?" Судя по моему Саше, мне совсем нетрудно было составить себе приблизительное представление о характере этих сотен тысяч или миллионов репрессированных, осознать, наконец-то, что никакие они не шпионы, диверсанты или вредители, а обыкновенные люди, что-то не рассчитавшие, что-то опрометчиво нарушившие в своих отношениях с властями и за то заплатившие такую дорогую цену. Я догадалась: „Это „что-то" — не поджог, не взрыв, не покушение на жизнь вождя. Это — слово. Но, Боже мой, какие же весы у нашего правосудия, если на их чашах нематериальное, бесплотное слово тянет на десять лет лагерей или даже на высшую меру?"

Вот так, постепенно, я шла от незнания к знанию, от детской доверчивости к зрелому скепсису, от восторженной веры к полному отрицанию. Это было только начало тернистого пути, в конце которого меня ждало черное опустошение...

От Саши, между тем, весточек не приходило. Каждый день я с трепетом ждала звонка почтальона. Иногда он приносил письма, но не от моего бедного муженька, а от мамы, которой я слала в ответ бодрые открытки, ни словом не заикаясь о своих муках. Зачем ей знать?

Подругами в Москве я не успела обзавестись. Были у меня здесь родственники по линии отца. Но им я тоже ничего не сообщила о случившемся. Более того, я вообще перестала поддерживать с ними какую бы то ни было связь. Кто же в нашей стране не знает, что жена, или сын, или сестра, или отец „врага народа" — прокаженные, что с ними опасно не то что дружбу водить, но даже словом перекинуться? Вот я и избегала кого бы то ни было ставить в неловкое положение, а потому была ужасно одинока. Спасибо еще, что милые соседи от меня не отворачивались и, пренебрегая возможными крупными неприятностями, делились со мной куском хлеба и неиссякаемым душевным теплом.

— Тебе бы уехать отсюда, Наталочка, — говаривала Софья Матвеевна. — Вернуться к родным, что ли, или куда-то в Сибирь, на великие стройки податься. Там никто о твоем прошлом знать не будет, сможешь начать новую жизнь.

— Это ужасно, конечно, — вторила ей Таня, — ужасно то, что случилось. Но верно мама говорит, подружка, лучше тебе уехать. Ведь твоему горю, к сожалению,не поможешь.

Они были правы. Умудренные жизненным опытом, они все знали, все понимали, все предвидели. Одного только не

дано было им узреть: моей великой любви к Саше, любви, не позволявшей мне бросить его в беде, толкавшей на естественный, хоть, может, и совершенно безнадежный шаг.

В один из первых дней нового, 1953-го года я, впервые за месяц, приоделась, напудрилась и вышла из дому, сказав Софье Матвеевне, что отправляюсь на прогулку. По крепкому морозцу, пробиравшему до костей сквозь шубку на рыбьем меху, побежала к метро и минут через тридцать вышла из подземелья на площади Дзержинского. В дальнем ее конце, прямо передо мной, стояло не столь высокое, сколь длиннющее здание, то самое, одно упоминание о котором вызывало у людей священный трепет. Стоя на четырех ветрах, дрожа от холода, напряжения и страха, я автоматически пересчитала этажи, а затем количество окон верхнего этажа. Потом, чувствуя, что коченеют пальцы ног и рук, немеют щеки и кончик носа, я двинулась вперед, поднялась по ступенькам и толкнула тяжеленную дверь. Тотчас, в холле же, путь мне преградил немолодой усатый старшина.

— Вам куда, гражданочка?

Я понятия не имела, куда, к кому обратиться, и честно призналась в этом старшине. Тогда он внимательно на меня поглядел и, как мне показалось, взгляд его слегка смягчился. Он спросил:

— А по какому делу?

И снова я со всей возможной откровенностью открылась ему. Слушая меня, он понимающе кивал, а когда я выговорилась, вздохнул и покачал головой.

— Да, дела-а-а, — протянул он и задумался и, размышляя, продолжал говорить: — К кому ж это вас направить? Вот незадача-то... Конечно, девушка, вам бы лучше вообще отказаться от вашей затеи, но коли вы твердо намерены... Да, вот что я вам посоветую: сходите-ка домой, изложите свою просьбу письменно, — так лучше, — а завтра приходите снова, да не сюда, а в бюро пропусков, так будет вернее.

Я поблагодарила и вышла. Той же ночью, с одиннадцати до трех, я строчила свое прошение. О, это был настоящий панегирик милому Саше. На десятке тетрадных страниц я с упоением описывала его достоинства, напоминала, что он — бывший фронтовик, награжденный одним орденом и двумя медалями, писатель, печатавшийся в журналах, прекрасный муж, друг, добрейшей души человек...

Господи, прости мне мою наивность!

Утром следующего дня я вошла в бюро пропусков здания на Лубянке. Это было просторное помещение с высоченным потолком и внушительными окнами. Вдоль одной его стены стояли в ряд несколько телефонных будок, на противополож-

ной стене висел зеленый ящик вроде почтового, а в стене против входа виднелось несколько окошек, забранных занавесками. Больше ничего не было в этой зале, отчего она производила тягостное впечатление необжитости и запустения. Это впечатление еще усугублялось ее безлюдностью, никого, кроме меня, там не было и, похоже, никто и не собирался сюда приходить. И то сказать: что делать здесь порядочным людям, занятым своими повседневными делами — работой, беготней по магазинам, стряпней, учебой?.. Я ошиблась. Были все-таки охотники и до услуг этого учреждения или служившие ему... Пока я в полной растерянности стояла, гадая, в какое окошко постучать, вошел тип в пальто с серым каракулевым воротником и такой же шапке-папахе. Не оглядываясь по сторонам, как завсегдатай, походкой твердой и решительной он проследовал к ящику на стене слева, вытащил из-за пазухи конверт, просунул его в щель, заглянул в нее — не застрял ли конверт и, убедившись, что все — о'кей, повернулся и так же уверенно, я бы даже сказала, в полном сознании исполненного патриотического долга, пошел к выходу. На меня он даже не взглянул, я же, как зачарованная, следила за ним, пока он не скрылся за массивной дверью. Тогда я снова бросила взгляд в сторону ящика и с удивлением прочитала на нем надпись: „Для жалоб и заявлений трудящихся''.

Никогда прежде эта невинная надпись не вызвала бы у меня даже тени подозрения. Но ведь вот уже скоро месяц, как я сама перестала быть прежней, поэтому пять слов, намалеванных белилами по жести, навели меня на внезапное открытие. Я вдруг поняла, что любая жалоба и любое заявление могут быть откровенными доносами или содержать в себе элементы доноса, и если те, кому эти „весточки'' адресованы, захотят... Уж не так ли действовал неизвестный, „заложивший'' моего бедного Сашу?

— Эй, гражданка, что вы там делаете? Ну-ка подойдите сюда. Быстро!

Окрик исходил из третьего окошка. Значит, недреманное око наблюдает за всем, что происходит в приемной пропускного бюро?!

Я подошла к окошку. Из него на меня подозрительно пялились рачьи глаза человека в военной форме с ледяным лицом Борея. Он задал еще один недружелюбный вопрос:

— Вы что это здесь высматриваете?

И я начала торопливо оправдываться. Со страху проглатывая окончания слов, я принялась объяснять ему цель своего визита. Он слушал с явным недоверием, но под конец спросил, где мое заявление, а когда я протянула свои листки,

брезгливо от них отмахнулся, швырнул мне на подоконник конверт и сказал:

— Вложите сюда ваше заявление и опустите вон в тот ящик. Обратный адрес есть?

— Есть. Но я хочу поговорить...

— Делайте, что вам говорят. Вас вызовут... если найдут нужным. Да не задерживайтесь, здесь вам не зал ожидания.

Окошко захлопнулось. Делать было нечего, я вложила свои листки в конверт, слюной заклеила его и направилась к ящику. В этот момент с улицы явился еще один заявитель, на сей раз молодая женщина. Быстрые карие глаза зыркнули на меня с любопытством, я улыбнулась их хорошенькой владелице, но она, презрев мою улыбку, вызывающе гордо прошествовала мимо, сунула в ящик свое письмо и, не оглядываясь, удалилась. Когда я, наконец, подошла к ящику, мне пришлось заталкивать в него свой конверт чуть ли не силой: ящик оказался доверху набитым жалобами и заявлениями трудящихся. А ведь было всего одиннадцать утра...

Наступила пора безрассудных, мучительных надежд. Поскольку я не поделилась своим планом с двумя моими добрыми феями, мне оставалось в одиночку томиться в ожидании, скрашиваемом только вот этими отчаянными надеждами, рисовавшими в моем страстном воображении самые фантастические, ireальные картины вызволения Саши из темницы, трогательной встречи с ним и бурных объятий в первую ночь после освобождения. Но тянулись, тянулись строем унылых черепах холодные январские дни, и не было мне никакого письма „оттуда", а Софья Матвеевна с Таней, видя мое состояние, все настойчивей возвращались к предложению об отъезде из Москвы, обещая даже ссудить меня деньгами на дорогу. Кстати, о деньгах. В начале февраля я истратила последний оставшийся от Саши рубль. Поскольку я по рукам и по ногам была связана своим лихорадочным ожиданием, о работе я и думать не могла. А вот два своих колечка — с рубином и с александритом — я продала, только обручалку оставила — память о Саше. Так я обеспечила себе еще два месяца безбедного существования.

И вот он, наконец, ответ! Сухой, лаконичный, холодный, но не грубый, не увертливый, не темный. Простой ответ, содержавший приглашение на беседу в такой-то день, в такой-то час, в такую-то комнату, к такому-то работнику. Фамилия работника была Счастливцев, имя — Александр, и мне, готовой поверить во что угодно, лишь бы не угасла глупая надежда, в счастливой фамилии и в родном имени виделись несомненные признаки промысла некоей высшей силы, решившей мне покровительствовать.

В то памятное утро я встала рано. Есть не могла. Выпила только чашку чаю, потом, по вполне осознанной, хоть и автоматической женской привычке принялась прихорашиваться. Я обязана была произвести наилучшее впечатление на таинственного Счастливцева, ведь от него зависела Сашина судьба. Несмотря на крепкий морозец, я выбрала темновишневое шерстяное платье и демисезонное пальто с рыжим лисьим воротником (старую шубу на рыбьем меху с негодованием отвергла), такую же пышную лисью шапку, поверх обычных чулок натянула черную сеточку, а на ноги надела светлые югославские полусапожки. Предварительно я тщательно вспушила расческой лисий мех, проутюжила платье. Покрутившись перед зеркалом, решила, что все в норме, что не устоять этому Счастливцеву передо мной. Когда же я вдобавок припудрила лоб и щеки и, вопреки обыкновению, слегка подвела губы, — увидела в зеркале такую знойную африканскую диву, что даже засомневалась: а не слишком ли вызывающий у меня вид? Да что уж там, тут же решила, не каждый же день я такая, а только сегодня, ради великого, святого дела. Пусть пялят на меня глаза этот Счастливцев и его товарищи по работе, пусть падают к моим ногам...

Ничто так не возвышает женщину в собственных глазах, ничто не может придать ей больше уверенности в себе, в своих силах, чем внешний вид. И я еще больше возомнила о себе на улице, когда, подгоняемая морозцем, торопилась на станцию метро: я видела, чувствовала, как ошалело оборачиваются мне вслед молодые и пожилые мужчины, какими задумчиво-медовыми глазами меня провожают. Ну а на подземном перроне, где мне пришлось погулять, потому что, во избежание встречи с Софьей Матвеевной, я слишком рано вышла из дому, — в этом муравейнике, где сонмы москвичей, спускавшихся по эскалатору, с боем брали вагоны, покидаемые сонмами прибывших, я и вовсе задрала нос после того как средних лет, весьма симпатичный мужчина, вежливо приподняв фетровую шляпу, поинтересовался у меня:

— Девушка, нам с вами не по пути?

Ослепительной улыбкой одарила я его, прежде чем ошарашить ошеломляющим ответом:

— Если вам на Лубянку, то пойдемте.

Получив такое приглашение, он, бедняга, понятно, мигом поскучнел, стушевался и, забыв попрощаться, растворился в толпе без остатка.

Пришлось снова побывать в бюро пропусков, где мне выдали пропуск к товарищу Счастливцеву. По этому пропуску я и прошла в святая святых государственной безопас-

ности, сдала пальто в гардероб и смело, уверенно зашагала по лестницам и коридорам на третий этаж. В вылизанном здании царила пустынная тишина. По пути я встретила не более трех человек, у всех был напряженно-деловитый вид, и ступали они так, словно боялись потревожить сон тяжело больного товарища. Звуки моих шагов поглощала бархатная дорожка, а рабочий шум многочисленных кабинетов — толстая дерматиновая обивка на дверях. Я и подумала, что эта больничная стерильность и тишина — тоже часть некоего ритуала, призваннного внушать почтение и трепет посетителям, предупреждать, подавлять в зародыше их неорганизованность и расхлябанность, внушать им мучительную мысль об огромной дистанции, отделяющей их, простых смертных, от священнослужителей этого храма нашего всемогущего советского Зевса-громовержца... А вот и „мой'' кабинет. Я постучала пальцем в мягкий дерматин, и так как изнутри никто не отозвался, приоткрыла дверь и сунула голову в щель.

— Можно?

За небольшим письменным столом, спиной к окну, в крошечном кабинетике сидел молодой мужчина с погонами капитана на плечах. Он поднял голову, и я увидела узкие щелочки его пронзительных калмыцких глаз, чуть срезанный, но твердый подбородок и тонкие губы со слегка загнутыми вверх уголками, отчего создавалось впечатление, что он неизменно улыбается. Не знаю, прочел ли он что-то в моих глазах, но я-то сразу заметила в его щелочках вспышку интереса ко мне, и мой упавший было в решающее мгновение дух воспрянул, и я, не дожидаясь разрешения, переступила порог кабинета.

Он не поднялся мне навстречу, только спросил:

— Вы ко мне?

Вместо ответа я протянула ему письмо за его подписью и пропуск.

— Ах, да, — кивнул он. — Что ж, садитесь.

Я присела, быстрым движением головы окинув кабинет. Письменный стол, стеклянный шкаф, металлический сейф и три стула — вот и вся обстановка, если, конечно, не считать всенепременного в этом учреждении портрета тушью человека с мефистофельским профилем, висевшего на стене.

— Ваше имя? — тут же услышала я голос своего визави.

Мое имя значилось в письме и в пропуске. Но, вероятно, здесь были свои особые, недоступные нашему убогому пониманию правила, поэтому я решила послушно отвечать на все вопросы.

— Соболь Наталья Георгиевна.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот тридцать пятый.

— Национальность?

— Русская.

— Партийность?

— Член ВЛКСМ.

Задавая свои глупые, никчемные вопросы, он неотрывно смотрел мне в глаза, и я, смутившись, в конце концов отвела свои. Последовала довольно долгая пауза, потом вновь прозвучал его сухой голос:

— Что ж, Наталья Георгиевна, я ознакомился с вашим заявлением и с делом вашего мужа. К сожалению, мы не в силах вам помочь.

Я вскинула голову и горячо, чересчур даже горячо ему возразила:

— Как? Человек ни в чем не виноват, а вы говорите...

Мгновенный щелчок по носу поставил меня на место. Жестким, суровым голосом капитан Счастливцев оборвал мои возражения:

— Что вы хотите сказать? Что мы сажаем ни в чем не повинных людей, а?

Я покраснела, растерялась, низко опустила голову и забормотала что-то совсем уж несуразное: что, конечно, я так не думаю, что, напротив, я, как комсомолка и советский человек, высоко ценю... Уж и не знаю, до чего бы я докатилась в этом бреде сивой кобылы, если б он надо мной не смилостивился.

— Ладно, не будем об этом, — вновь прервал он меня. — Я верю в вашу искренность, понимаю ваше горе. Вы мне симпатичны, и мне хотелось бы вам помочь? Вот скажите сами: чего вы от меня ждете?

— Чтоб вы во всем разобрались и освободили моего мужа, — тут же выпалила я.

Приподнятые уголки его губ дрогнули. Кажется, в этот момент капитан и в самом деле улыбался.

— Какая вы горячая, однако, — отметил он и стал задумчиво барабанить пальцами по столу.

Я ждала, затаив дыхание, чтобы, не приведи Господь, не нарушить священного хода его мыслей, занятых, как думалось мне тогда, исключительно поисками наиболее рациональных путей для вызволения Саши. Мое бедное сердечко колотилось и ныло, и все-то оно было сплошной надеждой, как и мой слегка помутневший разум и каждая клетка изнывавшего от тоски и боли тела. Долго же он молчал, этот потомок зауральских кочевников, судя по фамилии, однако, не меньше русский, чем я сама. Хоть бы Господь просветил его разум! Подсказал ему единственно правильный выход!

— Да, трудная задачка, — пробормотал он, не глядя на меня и по-прежнему барабаня пальцами по столу. — Можно сказать, невыполнимая...

У меня даже слезы к горлу подступили. Еще минута такого невыносимого ожидания — и я разрыдаюсь. Капитан Счастливцев вдруг поднял голову и потребовал:

— Ну-ка поглядите на меня, Наталья Георгиевна.

Я уставилась в его холодные косые глазки. Тогда он задумчиво спросил:

— А если ради спасения вашего мужа потребуется жертва, вы принесете ее?

Не задумываясь, пылко и страстно, я кивнула:

— Ну конечно! Жизни не пожалею!

Еще шире улыбнулся капитан Счастливцев, подался вперед и сказал:

— Вот и прекрасно. Тогда давайте сделаем так: адрес ваш мне известен, ждите меня сегодня в двадцать ноль ноль, тогда обо всем и переговорим подробно.

Я была так настроена на немедленную жертву, что воскликнула:

— Зачем же так долго ждать? Я готова сейчас же, немедленно сделать все, что требуется.

— Нет, — возразил он, несколько удивленно на меня зыркнув, — не будем торопиться. Ждите меня. Договорились?

Он поднялся. Я кивнула и тоже встала со стула. Он подписал мой пропуск и протянул мне его. С этой бумажкой в руке я благодарно попрощалась с милым капитаном Счастливцевым и вышла в коридор. Новые надежды окрыляли, и я торопилась прочь из этого стерильного здания, чья удручающая тишина давила на барабанные перепонки. Мне хотелось на воздух, на мороз, в уличную суетню, где можно было звонко топать по асфальту, смеяться и слышать чужой говор и смех.

Я пересекла площадь по подземному переходу и на свет Божий вышла напротив громады „Детского мира". И тут внезапно по спине забегали мурашки: только сейчас до меня дошло, о какой такой жертве говорил милый капитан. Я почувствовала, что густо-густо краснею. Это, прежде всего, был стыд за свою наивность, глупость. Но была то, конечно, и краска сильнейшего негодования, дрожью затрясшего все мое тело. „Сейчас вернусь и надаю наглецу пощечин!" — в порыве праведного гнева решила я. Но пропуск я отдала дежурному при выходе, стало быть, в здание меня уже не впустят. „Ну ничего, сделаю это, когда подлец явится ко мне", — тут же утешилась я. „Подлец", однако, не был рядовым подлецом, а человеком, владевшим ключом к освобождению Саши,

и я быстро дошла до простого умозаключения, что мне никак нельзя ни оскорблять, ни тем более бить его, особенно если учесть, что я сама так по-глупому дала ему повод твердо рассчитывать на то, что он желал. Что же было делать? Попросить его, когда он придет, проявить благородство души, пожалеть мою молодость и не делать того, на что имеет право только мой муж? Ой, какой же это будет детский писк!

Милый, ты, конечно, догадываешься, что произошло в тот вечер. Уже через час после прихода капитана я лежала в его объятиях на той самой тахте, где провела столько счастливых ночей с Сашей. Странная вещь случилась. Бурная борьба между чувством и долгом, разыгравшаяся в моем сознании, закончилась позорным поражением долга, то есть совсем не так, как требует наша коммунистическая мораль. А впрочем, в тот день все перепуталось в моей бедной головушке. Долг перед мужем повелевал мне блюсти верность ему. Но разве тот же высокий долг не обязывал меня сделать все-все-все для его спасения? Точно такая же петрушка получалась и с любовью, с чувством, то есть. Я любила Сашу, стало быть, не имела права отдаваться другому. Все ясно. Ну а как быть, если Саше грозит смертельная опасность, и единственное, что может его спасти, — это как раз мое „падение'', мой „позор''? Неужто ради своей „женской чести'' я пошлю его на муки или на гибель? Да пропади она пропадом, эта самая „честь'', если ее ценой можно купить свободу любимому человеку! Пусть он сто раз плюнет мне потом в лицо за мое непрошенное самопожертвование, пускай бросит меня, уйдет к другой, только пусть выйдет „оттуда''. Можно ж до поры до времени ничего не открывать, я ж ведь отдам свое тело, но не душу, принадлежавшую только ему одному...

Капитан Счастливцев пришел в штатском, с портфельчиком в руке. Поздоровался, чинно снял пальто, шапку, вошел в комнату и вытащил из портфеля бутылку водки, пакет с колбасой и ветчиной и коробку конфет. Видать, таков был этикет в их ведомстве... Мне ничего не оставалось делать кроме как накрыть на стол. Он плеснул мне водки в рюмку, себе налил полстакана и, подняв стакан, жадно заглянул мне в глаза нетерпеливым взглядом шкодливого кота. Приподнятые уголки губ создавали видимость издевательской улыбочки.

— Ну что, за успех нашего предприятия? — предложил он двусмысленный тост.

Я пригубила, а он выпил до дна. А выпив, сразу почувствовал себя как дома, перешел на „ты'' и пустил в ход руки. Я еще пыталась что-то из себя корчить, отбивалась, увертывалась в надежде, что, быть может, он захмелеет и завалится

спать. Но капитан был крепок, как молодой дубок, и, выпив еще полстакана водки, сбросил пиджак и пододвинул свой стул к моему. Руки у него были сильные, цепкие, и когда он меня обнял за плечи и, запрокинув мне голову, поцеловал в губы, я сполна почувствовала хватку изнывающего от похоти самца. Я попыталась вырваться, да куда там! Он держал меня, как в железных тисках, и медленно, но настойчиво валил на тахту, стоявшую под боком. Желая если и не предотвратить, то хотя бы отдалить роковой момент и одновременно получить подтверждение заключенного договора, я прошептала ему:

— Но как же с вашим обещанием?

Он ответил, тяжело дыша:

— Обещание свято, девочка. Ты не сомневайся.

В этот момент я уже лежала на тахте, а он — рядом. Его неумелые, дрожавшие от нетерпения руки рыскали в поисках пуговиц и застежек. Я сказала ему:

— Я сама. А вы погасите свет.

В комнате стало темно. Я раздевалась. Сгорая от страсти, он торопил меня:

— Ну, ради Бога, быстрее, девочка, ты ж меня до обморока доведешь...

И, не выдержав, не дождавшись конца моих приготовлений, он внезапно подмял меня под себя и в коротком, но буйном набеге грубо овладел мною.

Я испытала боль, но и мстительное удовлетворение. „Вот так, — думала я, довольная собой, словно одержала Бог весть какую победу. — И только так. Ты хотел мое тело — ты имел его. Больше ничего тебе не видать. А теперь катись!"

Я думала, что, получив свое, капитан уйдет. Ничего подобного. Он отвалился к стенке, и вскоре раздался его легкий храп. Видать, он решил остаться у меня до утра. Я лежала без сна, без мыслей и прислушивалась к его храпу. Саша не храпел. И никогда не был так нетерпелив и груб. Для Саши любовь являлась не отправлением естественной надобности, а священнодействием, поэмой в ритме губ, рук и тел, симфонией вздохов и стонов и торжествующим криком плоти, воспарившей к высотам духа и слившейся с духом воедино. Поэтому столь волнующим было любое слияние с Сашей, моим любимым, поэтому столько счастья и наслаждения он мне дарил. А этот? Медведь, лапоть сибирский, идущий к женщине с бутылкой водки и жеребячьей похотью... Интересно, счастлива ли с ним его жена, если она у него есть? Едва ли. Такие мужчины могут только брать, хватать, но никак не давать что-то взамен.

Незаметно я стала засыпать, но уснуть капитан Счастливцев мне не дал. Я снова ощутила на себе его топорные руки, они шарили, шарили по моему телу, задерживаясь на бедрах, на грудях... Потом он снова навалился на меня, на этот раз уже не так жадно, и более методично, продуманно владел мною минут десять.

— Ты почему такая безучастная? — спросил он меня, во второй раз отвалившись к стене.

Я ответила контрвопросом:

— Разве в нашем уговоре шла речь о каком-то моем участии?

Он разозлился.

— Ты брось мне это, а то... Ясно, что ты соучастница, а то как же! Ну да ничего, уж я тебя расшевелю.

„Черта с два! — с ненавистью подумала я. — В этом поединке тебе не победить. С нелюбимыми женщины бесчувственны".

Капитан был полон молодых жеребячьих сил. К тому же, наверное, я сильно задела его мужское самолюбие, подхлестывавшее его активность. Не прошло и часа, как он снова владел мною — еще более продолжительное время. А потом я дремала, и он еще дважды брал меня во сне, все более медленно, все более настойчиво, но я героически лежала, как чурбан, и никак не реагировала на его ласки. Но уже под утро, когда он в шестой раз принялся меня любить, произошло то, чего я никак не ожидала. Вдруг где-то там, в ногах, что-то завибрировало во мне, поднимаясь все выше и выше — в бедра, живот, грудь, я поймала себя на том, что одной рукой глажу затылок ненавистного мне человека, хотела было отдернуть мерзкую свою руку, вышедшую из повиновения, но в это самое мгновение дрожь наслаждения, знакомая сладостная лихорадка затрясла меня, я застонала и той самой провинившейся рукой прижала к себе голову капитана и — Боже мой! — дикими губами впилась в его губы...

Потом, одеваясь, торопясь на работу, он, весьма собой довольный, похваливал мои достоинства, точь-в-точь как барышник хвалит стати продаваемый лошади:

— Ну вот, девочка, видишь, как под конец у нас с тобой здорово получилось? А ты знатная женщина! Ноги у тебя, как у арабского скакуна, а шея просто-таки лебяжья. Породистая ты... Не дрейфь, все будет хорошо. Сегодня же переговорю о твоем деле с подполковником Шадриным.

Я лежала с закрытыми глазами. Слушала его и не слушала. Я пребывала в полном смятении. Мысли путались, чувства стихийно бунтовали. Я была напугана, подавлена, поражена, уничтожена случившимся, презирала и ненавидела себя и

ненавидела этого человека, швырявшего мне в лицо свои пошлости, но все-таки больше ненавидела себя — за что, разобраться вот так, сразу, я еще не могла, но так мне было стыдно, и больно, и обидно, и муторно, что хотелось, не открывая глаз, умереть и никогда больше никого не видеть.

Я продолжала лежать и после того как капитан Счастливцев, на прощание поцеловав меня и пообещав вечерком вновь заглянуть, ушел. Долго лежала. Может, час, а может, два. Бессонная ночь измотала меня, и время от времени я погружалась в короткое забытье, чтобы тут же — через пять или десять минут — вздрогнуть в испуге и вновь отдаться горячке неосознанного самобичевания. Мне надо было во что бы то ни стало уснуть, надолго погрузиться в бездну, избавляющую от всяких терзаний, но спать я не могла. Тогда я поднялась, надела халатик и отправилась в ванную. Холодная вода слегка освежила меня, я побрела обратно, но тут из кухни раздался суровый оклик Софьи Матвеевны:

— Наталка, поди-ка сюда.

Я безвольно шагнула в кухню, где моя добрая соседка стояла у плиты рядом со своей дочерью. Она уставилась на меня совсем не лучистыми глазами и, укоризненно качая головой, молвила так:

— Ты что ж это, барыня-сударыня, уже хахаля заимела? Быстро же забыла нашего Сашу! А ну-ка собирай свои монатки и мотай домой, не то родителям обо всем напишу... Ишь ты, непутевая какая!

Таня, не отрывая глаз от жарившейся на сковороде колбасы, тряхнула крашенными перекисью волосами:

— Да, уезжай, а то ведь совсем скурвишься здесь, дура!

Это я-то дура? Боже, да что они воображают? И какое право имеют так со мной разговаривать? Не знаю уж, почему, но в тот момент мне вспомнился короткий диалог мой с искателем приключений на станции метро „Арбатская" и, недолго думая, я ляпнула:

— Этот товарищ оттуда, с Лубянки.

Последовала долгая, томительная пауза. После чего глаза Софьи Матвеевны вновь стали лучиться и из ее уст вырвался непроизвольный вздох:

— Да? Чего ж сразу не сказала?

А ее блондинистая дочка выразилась еще определеннее, предварительно бросив на меня мимолетный и, как мне показалось, завистливый и уважительный взгляд:

— О, это совсем другое дело!

Несмотря на мое дикое состояние, я едва не расхохоталась им в лицо. Подумать только, просто иметь любовника — это в их курином понятии предосудительно, греховно, преступ-

но. Совсем иное дело „хахаль" с Лубянки. Прелюбодеяние с ним, оказывается, не только не позорит тебя в глазах людей, а как бы облагораживает, возвышает и, кем бы ты ни была, автоматически переносит из грязи прямо в князи. Чудеса!

Я тут же нагло решилась на дополнительное испытание своей благоприобретенной княжеской власти.

— А нет ли у вас снотворного, Софья Матвеевна?

— Есть, как же, конечно есть, — защебетала милая соседка. — Для тебя, Наталочка, все у нас найдется...

Она побежала к себе и через несколько секунд вручила мне целых два тюбика таблеток.

— Вот тут — обыкновенное, а тут — сильнодействующее... Смотри, Наталочка, больше одной не принимай, а то...

Я поблагодарила, вернулась в свою комнату, проглотила таблетку обыкновенного. Вскоре благодатный сон на целых шесть часов избавил меня от всех переживаний.

Я проснулась отдохнувшая, посвежевшая, припомнила пережитое и тотчас поняла, что... с мерзким нетерпением жду прихода мерзкого капитана Счастливцева. Невероятно, но факт! Впрочем, нет, не я его ждала, тосковало по нем мое тело, я же, именно по этой причине, еще сильнее ненавидела его и себя. Вот какое может быть раздвоение у женщины.

Он пришел, как и в первый раз, с бутылкой водки и домашней колбасой, и на этот раз я выпила и, пожалуй, не менее нетерпеливо, чем он, по первому же его грубому намеку, разделась и легла в неприбранную с утра постель. И опять он грубо овладел мною, но на сей раз его грубость показалась мне не грубой, а ласковой, и я уже после первых его движений испытала то самое, а потом еще раз, и еще... Потом он уснул, и я тоже задремала, но ненадолго. Разыгравшаяся за окном февральская вьюга разбудила меня, какое-то время я прислушивалась к ее стенаниям, а также к легкому храпу моего „хахаля", второго в моей жизни мужчины. На душе было тоскливо, и внезапно мне страшно захотелось, чтобы кто-то меня утешил, приласкал. Мой капитан все храпел, а я тихо злилась на него за то, что он такой бесчувственный, и как-то само собой получилось так, что сначала мои пальцы, а потом и ладони в тихой ласке начали скользить по его голой спине и скользили до тех пор, пока он не проснулся и не привлек меня к себе. Я прижалась к его мускулистой, жаркой со сна груди, прижалась плотно, давая ему понять, что очень хочу слиться с ним воедино, и он немедленно отозвался и со всей своей жеребячьей силой вонзился в меня, а я подалась ему навстречу, с наслаждением принимая его в себя, и мы сплелись в одно трепещущее, задыхающееся, стонущее, захлебывающееся от нечеловеческого восторга целое...

Утром, с изумлением на меня глядя, капитан Счастливцев снова похвалил меня в своей пошловатой манере:

— Ну и девка... Кто бы мог подумать! Огонь с перцем! Спасибо, ублажила. Ну что ж, в награду сообщу тебе радостную весть. Я говорил с подполковником Шадриным, и он здорово заинтересовался твоим делом. Обещал на днях тебя навестить...

Я так и подскочила.

— Как! Он придет сюда?

— Ну да. А как же иначе.

— Но я не хочу, не хочу...

— Дурила, — мой капитан, уже одетый, присел на краешек тахты и поцеловал меня в голое плечо. — Ну чего ты боишься? Ничего плохого он тебе не сделает, а помочь может. Я ж всего-то навсего капитан, в моих силах было только дать ход делу, с чем я и справился... К слову, подполковник интереснейший мужчина, вот увидишь.

Я расплакалась, глядя на его тонкие, изогнутые в вечной улыбочке губы. Он утешал меня и, между прочим, сказал:

— Ну ладно, если ты так боишься, не надо, он не придет. Но тогда все пропало, твой муженек „оттуда" больше не выйдет.

Снявши голову, по волосам не плачут. Я успокоилась и молчаливо согласилась на визит подполковника Шадрина. Но согласившись, тут же, густо покраснев, позорно спросила:

— А вы... вы больше ко мне не придете?

Его загнутые кверху губы дернулись в улыбке, узкие глаза потеплели, и он, чисто по-солдафонски, успокоил меня:

— Не волнуйся, девочка, я не оставлю тебя, пока не произойдет смена караула.

Он сдержал свое слово. Я провела с ним еще три бурные ночи, а потом вместо него на жалкую сцену моей жизни вышел подполковник Шадрин.

Капитан Счастливцев нисколько не преувеличивал, назвав его интереснейшим мужчиной. Подполковник оказался писаным красавцем. С такой внешностью ему бы не в учреждении на Лубянке прозябать, а на „Мосфильме" сниматься. Высокий, стройный, хоть и чуть грузноватый мужчина лет сорока, с прекрасным лицом стареющего Адониса, с коротко остриженными, седыми, но необыкновенно густыми и жесткими волосами на гордо посаженной голове, он, конечно же, всю жизнь пользовался огромным успехом у женщин и, вне всякого сомнения, перевидал их на своем веку не десятками, а сотнями. В отличие от капитана Счастливцева, он не был солдафоном, каждое его движение отличалось какой-то спокойной, сытой ласковостью, а каждое слово — содержа-

тельностью, если и не всегда умной, то уж во всяком случае и не грубой или пошлой.

Он явился в полдень воскресного дня и, войдя, тут же белыми, гладкими, стылыми с мороза ладонями обхватил мои щеки и, проникновенно глядя мне в глаза, произнес:

— А ты действительно прекрасна, доченька.

Тут же он извинился, что беспокоит меня в выходной день, и откровенно признался, что сбежал из дому под предлогом срочной работы. Затем вручил мне свой портфель и попросил накрыть на стол. Соответственно его рангу, в портфеле оказалась бутылка пятизвездочного коньяка, палка московской летней колбасы, баночка красной икры. За столом подполковник мило развлекал меня. Он сыпал шутками, остроумными анекдотами, конечно, антисоветскими (им все можно!), и никаких признаков нетерпения не выказывал, подобно капитану Счастливцеву. Между прочим, он меня спросил:

— Как ты уживаешься с соседями?

— Да вроде неплохо, — сказала я, покоренная его вежливостью и добротой. — Они оказались довольно милыми людьми.

— Да? И совсем тебя не пилят, со свету не сживают?

— Нет. Только все настойчивей советуют мне уехать к родителям или еще куда-нибудь — мол, это в моих же интересах... А я ведь обязана спасти моего мужа...

— Да, да, конечно. — Мой новый поклонник ласково потрепал мои волосы. — Ты ведь у нас самоотверженная маленькая женщина. Выпьем еще по одной?

— С вами с удовольствием.

Мне нравилась его деликатность, и на вежливость я отвечала вежливостью, хоть и понимала, что в подоплеке моего нового романа, как и предыдущего, сплошная грязь. Да, я это отчетливо сознавала, и с каждым днем все больше убеждалась, что эта грязь — неотъемлемый, может, даже главный ингредиент человеческой природы, не исключая моей собственной. Я видела, как иногда в той черной, вонючей навозной жиже нет-нет да и сверкнет алмазик искренности, симпатии, доброжелательства, что отнюдь не делало ее более благоуханной или светлой, ибо вселяло в сердце обманчивые надежды, несбыточные мечты.

Мы чокнулись и выпили. Затем подполковник вытащил из кармана пиджака пачку „Казбека" и, откинув крышку, галантно предложил мне закурить. Я отказалась. Тогда он, извинившись, сказал, что покурит в коридоре, и вышел, предварительно чмокнув меня в щечку.

Я задумчиво доедала бутербродик с икрой. Внезапно

сквозь дверь до меня донесся приглушенный голос моего чекиста. Похоже было, что он сцепился на кухне с любезной Софьей Матвеевной. Уж не ляпнула ли она ему что-то в лицо? Распираемая любопытством, я подошла к двери и тихонечко ее приоткрыла. В щель тотчас же хлынул его баритон:

— ...потому что твой донос попал ко мне, старая стерва. Сука ты подлая! Площади захотелось, да? Так я тебе устрою площадь, а заодно и твоему мерзавцу-мужу и твоей блядовитой дочке... На Востряковском, по два метра каждому. Или в лагерях на Колыме...

Рыдающий голос Софьи Матвеевны прозвучал совсем слабо, как писк котенка:

— Да разве ж мы ради площади, товарищ начальник? Мы ж из патриотизьма...

Подполковник решительно пресек ее жалкий лепет:

— Молчать, ведьма! Запомни раз и навсегда: девочка будет жить здесь до скончания века. Ясно?

— Да я что ж... Да по мне пожалуйста... Я же к ней как к родной...

— Пасть закрой, падло! Не смей!

Задрожавшей вдруг рукой я тихонечко захлопнула дверь. Сердце колотилось в груди, к горлу подступала тошнота. Теперь я знала, все знала... Боже, какой ужас!

Я сидела на стуле прямая, бесчувственная, когда он вернулся. Он тотчас заметил, что со мной неладно, подошел ко мне сзади и, запрокинув мою голову, внимательно посмотрел в глаза.

— Что с тобой, доченька?

Я только головой помотала. Он поцеловал меня в губы, затем налил коньяку в рюмку и протянул ее мне. Кажется, он догадался о причине моей депрессии, но виду не подал.

— На, выпей!

Это был приказ. Я опрокинула коньяк и безмолвно попросила еще. После второй рюмки мне стало легче, и я признательно улыбнулась ему — его поступок, несмотря на форму, в которую был облечен, очень понравился мне, поэтому я без строптивости принимала его нежные, наполовину отцовские ласки. А он медленно, но настойчиво шел к цели. Поднял меня со стула и, держа на руках, как малышку, осыпал мое лицо поцелуями, то и дело приговаривая:

— До чего же ты прекрасна, доченька... Какие у тебя мягкие, покорные губы... И какие глубокие глазки...

Он поставил меня на ноги. Одна его рука соскользнула с моего плеча, и ловкие, натренированные пальцы принялись медленно растегивать пуговицы белой блузки. Я послушно отвела руки назад, чтобы ему легче было ее снять. После чего,

искренне желая избавить его от длинной и нудной, на мой взгляд, процедуры раздевания, сказала, плотно закрыв глаза:

— Я сама.

Он пришел в ужас.

— Что ты, что ты, доченька! Ты уж, пожалуйста, не лишай меня этого удовольствия. Я хочу видеть тебя всю, любоваться твоим телом.

Я безвольно покорилась.

Наступал вечер. В комнате становилось все темнее, но всетаки было еще достаточно светло, когда мой новый „хахаль" принялся за юбку. Он мигом нашел застежки и через несколько секунд черная юбка лежала у моих ног. Наступила очередь сорочки...

Я стояла с плотно зажмуренными глазами. Было ужасно стыдно стоять вот так перед совершенно посторонним человеком, все более и более оголявшим меня. Он это чувствовал и бормотал, продолжая свое дело:

— Ну чего ты стесняешься, глупенькая. Гордиться надо! Ты ж богиня красоты... А виданное ли дело — одетая Венера?..

Он опустился передо мной на колени, отстегнул мой пояс, стал снимать чулки... И вот я стою перед ним в чем мать родила, и он, отступив на три шага, осматривает меня всю, с ног до головы, и, словно в беспамятстве, бормочет:

— Совершенство, чудо природы... Воплощение весны... неувядающей молодости...

Тут он подошел ко мне и, легким движением снова подняв меня на руки, стал убаюкивать, как ребенка:

— Спи, моя любовь, усни, и я дам тебе такое счастье, какого ты никогда не знала...

Ни о каком сне, конечно, не могло быть и речи, но я смирно, с закрытыми глазами лежала на его руках и трепетно думала о том, как разнятся между собой мужчины на подступах к одной и той же заветной цели.

Вот подполковник бережно положил меня на тахту. Затем на минуту наступило странное затишье. Не понимая, что случилось, я разомкнула веки. В этот самый миг раздался легкий щелчок и сверкнула ослепительная молния. Подполковник, уже без пиджака, стоял у противоположной стены и фотографировал меня крошечным фотоаппаратиком, похожим на те, какими в детективных фильмах пользуются разведчики. Мгновенно сработал женский инстинкт, я обеими руками прикрыла „стыдные" места. Но дело уже было сделано, и он, опустив аппарат в карман висевшего на спинке стула пиджака, подошел к изножью тахты и опустился на колени.

— Зачем вы это сделали? — вяло спросила я, снова сомкнув веки.

— На добрую память, — последовал ответ.

И тут началось что-то невообразимое. Он принялся целовать пальцы моих ног. Да не просто целовать, а и облизывать каждый пальчик в отдельности. Дрожь отвращения пробежала по моему телу. Ощущение было такое, словно по ногам медленно ползет скользкая, влажная, теплая улитка. Она проползла по все десяти пальцам, щекотно опустилась к ступням, к пяткам, оттуда поднялась к щиколоткам, голеням... Наверное, не осталось сантиметра кожи, по которому она бы не прошлась. Пока она не поднялась до самых колен, я лежала бесчувственная. Но когда, побывав в ямочках на подколенках, эта проклятая улитка поднялась выше, скользя по нежной мякоти ляжек, я почувствовала, что во мне пробуждается дикое желание. И через минуту я уже мелко подрагивала от нетерпеливой страсти и ждала, с замирающим сердцем ждала начала мучительно-сладкой дрожи любви. Она наступила неожиданно, за несколько секунд до того как улитка проникла в меня. А когда и это произошло, уже во время трепета, я, кажется, вскрикнула и от остроты наслаждения на миг сознание потеряла.

Должно быть, так, потому что когда я пришла в себя, синие глаза моего нового любовника висели над моими глазами и, тесно обнявшись, мы беспрестанно целовались. Он лежал на мне, мой кудесник, и медленно, как в добром старом вальсе, двигался, понуждая и меня включиться в чудесный танец. И я включилась без лишних понуканий, и в течение битого часа мы, душа друг друга в объятиях, кружились на волнах вальса, которому не требовалась музыка. И не меньше двадцати раз я в тот раз умирала и воскресала под немолодым мужчиной, который был неутомим, как юноша, и изобретателен, как творящий Бог. Когда, наконец, затрепетал и он, я была истощена до дна. Не оставалось никаких сил. Ни у меня, ни у него. Даже говорить мы не могли.

Он уснул рядышком, лежа на спине, но не храпя. Сперва я ласково гладила его седые жесткие волосы. Вскоре, однако, отдернула руку. Простая, но страшная мысль пришла в голову: вот я лежу рядом с этим чужим человеком, а ведь он мой враг. Я нисколечко его не люблю, даже внешность его мне не по душе, потому что для мужчины он слащаво, безобразно красив. А вот, поди ж ты, именно с ним я испытала такое, чего с моим бедным Сашей за два месяца ни разу не довелось пережить. Да и ненавистный капитан Счастливцев в этом деле посильнее Саши оказался...

Что ж происходит? — думала я. — Значит, э т о можно

чувствовать с первым встречным? Но тогда что такое пресловутая любовь, воспетая в стихах и песнях? Обман, что ли? Химера? Дым?

Горько было на душе. Хотелось плакать от непонятной обиды. Я чувствовала себя обманутой, униженной: мне всю жизнь твердили, что я — человек, гордый, свободный, разумный человек, а вот при первом же серьезном испытании оказалось, что никакой я не человек, а животное, ничем не отличающееся от тех кошек, что крутят любовь со случайными котами на крышах домов, или от сук, сочетающихся с пришлыми шелудивыми кобелями...

Не случись с Сашей несчастья, я бы, может, всю жизнь прожила в высоком человеческом звании, с короной царицы природы на голове. Но пришла беда, и вот корона валяется в пыли, и сама я низложена, растоптана, унижена, и высокая цель, ради которой я пошла на жертву, как-то все более отходит на задний план, в тень, а на первом плане — они, эти могучие самцы...

Ай да чекисты! Всего каких-нибудь четыре года назад я с трепетом душевным, с вдохновением писала свой хваленый доклад об их подвигах в гражданской и Отечественной войнах. Теперь не верю ни в какие их подвиги, даже если таковые и были. Не могу верить. Не хочу. Вот их подвиги: аресты и казни безвинных и злоупотребление своим положением на любовном фронте, то есть, грубо говоря, насильное склонение к сожительству жен, сестер или дочерей своих жертв. Но, Боже мой, почему у них, в отличие от обыкновенных людей, так сильно, могуче мужское начало?

Подполковник Шадрин навестил меня еще раз, среди недели, днем, то есть в свое рабочее время, что вполне можно было расценить как некое исполнение служебных обязанностей. Он проявил в любви тот же такт, ту же изощренную медлительность, что и в прошедший раз, и снова довел меня сначала до белой горячки, а потом до исступленного блаженства. Когда он пришел в третий раз, в следующее воскресенье, утром, я едва узнала его. Где это он за три дня успел растерять все свои, казалось, врожденные качества: мягкость, вежливость, такт, терпение? В шинели и в папахе ввалившись в комнату, он с порога скомандовал:

— Поехали!

Я только что встала, еще и умыться не успела. Меня поразил его ранний визит, и тон, и какая-то неприятная суетливость движенй, ну и, конечно, его неожиданное требование.

— Куда? — вполне резонно поинтересовалась я.

Но эта резонность, по-моему, только взвинтила подполковника. Его баритон взметнулся вверх по пяти нотным линей-

кам, на целую октаву — от нижнего ре мажора до верхнего:

— Эй ты, поторапливайся! Он ждать не любит. Быстрее одевайся, и поехали.

Я разозлилась:

— Да говорите вы толком, в конце концов, куда я должна ехать и зачем!

Мой чекист передернул плечами, словно недоумевая, что есть на свете такие тупицы, как я. Он прошипел:

— Ну куда же еще... К Самому!

— Кто он такой?

— Его имя не положено называть.

— Тогда скажите, зачем я должна к нему ехать.

Доблестного чекиста этот вопрос привел в негодование. Его голос взмыл до визга:

— Как это зачем? Как зачем? Он видел тебя и хочет с тобой... говорить.

— Где он мог меня видеть?

Тут я вспомнила, что подполковник меня фотографировал, вспомнила, в каком виде, и мне стало очень жарко. Я подошла к окну, распахнула форточку и жадно глотнула воздуха. Затем обернулась, презрительным взглядом смерила подполковника с ног до головы и произнесла:

— Так вы тоже всего лишь лакей?

Меня одолевала невыразимая боль. Этот человек, к которому я успела проникнуться каким-то уважением за его смелую, решительную отповедь Софье Матвеевне, — такая же скотина, как его подчиненный, капитан Счастливцев, как, наверное, все они до единого там, в большом доме на Лубянке и во множестве других больших домов во всех крупных городах страны.

— Никуда не поеду, — решительно заявила я.

Он даже побагровел от негодования.

— Как это не поедешь? Ишь чего надумала! Да ты не знаешь,с кем дело имеешь... Не поедешь — тебя силком повезут. Если уж Сам чего-то пожелал, он ни перед чем не остановится.

Боль сменилась отчаянием. Я вдруг поняла, что участвую в какой-то спортивной игре, где выполняю недостойную роль эстафетной палочки.

— Плевала я на ваши угрозы! — завопила я в исступлении. — Пускай только попробует! Руки на себя наложу!

Мое заявление, кажется, произвело на него должное впечатление. Он подошел ближе и прошептал:

— Но ты забыла о своем деле... А ведь Сам — последняя инстанция. За ним — решающее слово.

Мне показалось, что у меня хрустнул позвоночник, и я

сломалась пополам. Несколько секунд я молчала, глотая горькие слезы, потом вскинула голову и решительно потребовала:

— Выйдите вон, мне надо одеться.

...У подъезда ждала большая черная машина. Подполковник Шадрин услужливо распахнул передо мной дверцу и впустил меня внутрь, после чего влез сам. Мы разместились на широком кожаном сиденьи, я — справа, стараясь держаться от него подальше, он слева. Машина тронулась.

Это был мощный заграничный автомобиль, не знаю уж, какой фирмы. Его мотор работал почти бесшумно, а рессоры скрадывали малейшие неровности асфальта. Переднее сидение отделялось от заднего стеклом, затянутым плотной зеленой шторкой, боковые и задние стекла также были скрыты за спущенными шторками, только узорчатыми, оранжевого цвета. Таким образом, я не видела ни шофера, ни улиц, по которым с воем сирены мчалась машина. Так как я все еще кипела, как самовар, я не стала отказывать себе в удовольствии пройтись на счет этих занавесок. Картавя, я насмешливо произнесла:

— Конспигация, конспигация и еще газ конспигация, да?

Подполковник поджал красивые губы, нахмурился. Он кивнул:

— Мы не имеем права рисковать.

Сказав это, протянул ко мне руку, явно намереваясь погладить мою щеку. Я решительно уклонилась. Тогда он бросил:

— Зря обижаешь меня, доченька.

А я мгновенно подала негодующую реплику:

— Не смейте меня так называть. Я вам не дочка, вы мне не отец. Вы — старый сводник.

— Нехорошо говоришь, — покачал он головой. — Нехорошо. Я ж к тебе всей душой... Признайся, ведь неплохо ж нам было...

Я молчала, до боли стиснув зубы. Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Конечно, я понимаю тебя, но что поделаешь? В армии существует такая штука, как субординация.

— Вы не в армии, — резко возразила я.

— Как не в армии? — искренне удивился он. — А где же я тогда?

— Сами знаете — где.

— Мы — тоже армия, да будет тебе известно.

Мне доставляло удовольствие измываться над ним.

— Армия бабников и сводников, да? А интересно, своих жен вы тоже фотографируете в голом виде, а их кар-

точки показываете начальству?

Теперь наступила его очередь отмалчиваться. Я не отставала.

— И если начальник пожелает переспать с вашей женой, вы ее уступите ему?

Молчание.

— И будете счастливы тем, что он снизошел до нее?

Наш лимузин, между тем, на большой скорости мчался по Москве. На опасных перекрестках шофер включал сирену. Он ни разу не остановился, а это значило, что регулировщики дают ему „зеленую улицу''. В конце концов мне надоело шпынять моего красавца-мерзавца, и я от него отстала, забившись в угол и закрыв глаза. Тогда печальный голос подал он:

— Не думай, что я от тебя просто так отказался. Я тебя люблю.

— Перестаньте, — потребовала я. — Вы — и любовь... это смешно.

— Да, люблю, — настаивал он. — Но у тебя ж дело, а я обещал помочь.

Я горько рассмеялась.

— Благодетель! Большое вам спасибо за неоценимую бескорыстную помощь. — И, понизив голос, скорее для себя, пробормотала: — Рыцари революции, ха-ха-ха!

Вскоре машина замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. Подполковник приподнял занавеску, выглянул наружу, открыл дверцу и вышел.

— Приехали, — объявил он торжественно, придерживая передо мной дверцу и галантно подавая мне руку.

Я брезгливо отвергла его помощь, сама выбралась из машины и не без любопытства огляделась. Сзади человек в ушанке и в серой шинели закрывал массивные зеленые металлические ворота, через которые мы только что въехали во двор. От ворот — вправо и влево — тянулся глухой трехметровый каменный забор, густо утыканный по гребню грозившими небу разноцветными осколками бутылочного стекла. А впереди, в окружении заснеженных сосен, стоял дивный домик, очень похожий на сказочный терем. Двухэтажный, из красного кирпича, сооруженный, наверное, в конце прошлого или в начале нынешнего века по прихоти какого-нибудь вельможи, он радовал глаз и декоративными средневековыми башенками, и необычными окошками — где круглыми, где свечеобразными, где небольшими, но широкими, зеркальными, увенчанными закругленными цветными витражами. За домом, по-видимому, тянулся парк.

Подполковник Шадрин кивнул мне, и мы двинулись к мра-

морным ступенькам, ведущим на крыльцо. Высокая дверь из резного дуба гостеприимно распахнулась, пропустив нас в небольшой светлый холл, где за столиком у окна сидел дежурный младший лейтенант. При нашем появлении он вскочил, щелкнул каблуками и резким наклоном головы приветствовал нас. Подполковник ответил ему кивком.

Три боковые двери вели в помещения нижнего этажа, на второй плавно взмывала неширокая мраморная лестница с изящными деревянными подставками-пьедесталами у основания, с этих пьедесталов два бронзовых Амура целились в меня своими отравленными стрелами. С потолка, над Амурами, свисала старинная хрустальная люстра.

— Дальше пойдешь одна, — негромко сказал подполковник Шадрин, помогая мне снять пальто с лисьим воротником и лисью шапку, а также отняв у меня сумочку. — Поднимешься по лестнице и войдешь во вторую комнату справа. Поняла? Ничему не удивляйся и... будь умницей. Ступай же.

Я медленно двинулась к лестнице. Сердце почему-то тревожно колотилось. Кто он, этот Сам, чье имя даже произносить вслух не полагалось?

Выше полковников, известно, стоят только генералы да маршалы. Если судить по этому сказочному особняку да по охране у ворот и в доме, хозяин тянул не меньше чем на маршала. Ну а маршалы, понятно, все старенькие-престаренькие. Зачем же я ему нужна, этому Самому? Что он со мной собирается делать?

Я миновала двух бронзовых Амуров и отяжелевшими ногами ступила на бархатную дорожку лестницы, красными водопадиками сбегавшую по ступенькам. Мне было жутковато — и от непривычной роскошной обстановки, и от таинственности этого охраняемого изгородью и часовыми дома и его хозяина. И, поднимаясь, я подумала, что вот уже скоро месяц, как я все восхожу вверх, вверх — от капитана к подполковнику, от подполковника — к маршалу или, на худой конец, генералу, но что на самом деле это не восхождение, а стремительное падение в пропасть, откуда не выбраться...

Мне вдруг нестерпимо захотелось бежать. Без оглядки, куда-нибудь, только бы подальше от этих хором, где, я знала, ничего путного меня не ждет. Но внизу стоял подполковник Шадрин и глазами подталкивал меня в спину, а сбоку, у двери, сидел младший лейтенант, а у ворот — часовой, да, может, не один... И я продолжала путь наверх и, наконец, добралась до темноватой верхней площадки лестницы — просторной, застланной огромным ковром и с несколькими акварелями на стенах. Мне было не до живописи, хотелось уже быстрее дойти до конца пути, чтобы... Я отыскала гла-

зами вторую дверь и робко в нее постучалась. На стук никто не откликнулся, тогда я взялась за начищенную бронзовую ручку в виде стилизованного льва и открыла дверь. А открыв, застыла на пороге с разинутым ртом.

Такого мне еще в жизни не приходилось видеть. Передо мной была комната, небольшая, всего раза в три просторнее той, что занимали мы с Сашей. Сквозь два круглых окошка в левой стене обильно струился дневной свет, но, кроме того, горела еще многоламповая тяжелая люстра, на толстой цепи свисавшая с потолка чуть ли не до пола, и сотни ее хрусталиков, преломляя естественное и искусственное освещение, сверкали алмазным блеском, слепя глаза. Пола не было, вернее, он был весь застлан невообразимой прелести персидским ковром, выполненным искуснейшими мастерами в подлинно восточном духе, то есть с головокружительными по замысловатости, с тончайшим вкусом расцвеченными орнаментами. Как бы дополняя эту явно музейную вещь, со стен на меня глядели античные и библейские героини в интерпретации старых мастеров... Я далеко не знаток живописи, но готова поклясться, что все эти обнаженные или полуобнаженные Евы, Венеры, Юдифи, Иродиады не были репродукциями.

Я робко ступила на ковер. Мои ужасные югославские полусапожки тотчас же чуть ли не по щиколотку погрузились в необыкновенно мягкую, пушистую шерсть. Нет, было бы просто варварством топтать такое сокровище грубой обувкой! Я наклонилась, один за другим сняла полусапожки и, оставив их у двери, в чулках протопала по ковровой ласковости в центр комнаты. И тут моим глазам предстало то, что прежде от меня скрывала низко свисавшая люстра. Встроенный книжный шкаф с золотыми корешками дореволюционных фолиантов, у шкафа — круглый столик со стеклянной столешницей, на которой, как на выставочном стенде, красовались экзотические вина и коньяки: „Мартини'', „Клико'', „Кьянти'', „Камю''... Стояли здесь также две огромные коробки с шоколадными конфетами, несколько плиток шоколада — все заграничных фирм, — хрустальная ваза с апельсинами, вазочка с арахисом, хрустальные рюмочки, бокалы, фужеры...

Я невольно хмыкнула, вспомнив презренную „Столичную'' и домашнюю колбасу капитана Счастливцева, пятизвездочный коньян и красную икру подполковника Шадрина. Сомнений быть не могло, Сам — неизмеримо выше этих пигмеев, и если он добрый старичок...

Но, Боже мой, зачем доброму старичку такая кровать?

Я оскорбила словом „кровать'' то, что, пожалуй, следует

называть не иначе как царским ложем. Мне трудно даже описать это сооружение из резного черного и красного дерева, золотистого бархата и голубого шелка, низенькое, широченное, с высоким балдахином, украшенным бронзовыми ангелочками... Что-то постыдное, мгновенно сосредотачивавшее все помыслы лишь на одном-единственном действе, таила в себе эта роскошная постель, и я, чувствуя, что краснею, быстро отвернулась и принялась рассматривать висевшие на стенах картины.

И тут легкий шорох за спиной заставил меня вздрогнуть и обернуться. В том самом месте, где только что красовался книжный шкаф, теперь зиял черный провал высокой и узкой двери. В этом черном проеме неподвижно стоял Сам.

Я невольно отступила на шаг, судорожно глотнула слюну и, в смятении и страхе, застыла на месте. Передо мной стоял человеко-зверь. Роста выше среднего, плечистый, с заметным брюшком, коротконогий, короткорукий и короткопалый, он был одет в полосатую пижаму, ее закатанные выше локтя рукава обнажали густую сизую шерсть, покрывавшую толстые, мощные гориль и лапы. Шерсть колечками торчала также между отворотами пижамы, под нею угадывалась твердая, как стена, гулкая, как барабан, грудь. Череп Самого был абсолютно лыс, тем не менее сразу бросалось в глаза, сколь необычно низок и узок его лоб, двумя резкими надбровьями — угрюмым обломком скалы — нависшим над выбритым до синевы лицом убийцы со сплющенным ноздреватым носом, твердыми тонкими губами и острым подбородком. Его глаза...

О, эти жуткие глаза! Темные, как глубины ада, кровянистые, неподвижные, ледяные, они излучали свет тяжелый, мрачный, гипнотический. То, несомненно, был взгляд параноика, он внушал страх, и я вся внутренне сжалась и мелко-мелко затряслась в дурном предчувствии, что отсюда мне живой и невредимой не выйти. Так мы оба стояли с минуту, показавшуюся мне вечностью. Потом вдруг Сам двинулся вперед. Потайная дверь автоматически закрылась за ним и снова стала книжным шкафом.

Он шел ко мне медленно, тяжеловатой походкой грузной, староватой гориллы. Шел молча, по-прежнему неотрывно на меня глядя, и только какие-то неопределенные, пугающе-хриплые звуки вырывались из его утробы:

— Кхм... Кхм...

Я хотела было отступить, но оказалось, что я не в силах это сделать. Похоже, страшный человек приковал меня к месту свинцовой тяжестью своего взгляда. Сердце сильно колотилось в груди, в горле стоял ком.

На расстоянии шага от меня он остановился. Ни слова не говоря, вытянул руку и ухватил меня за плечо. Я даже не успела сообразить, что, собственно, происходит, как вдруг раздался протяжный треск рвущейся ткани, и мое великолепное сиреневое платье, сорванное с меня чугунной лапищей Самого, жалкой тряпкой упало на ковер. Я очнулась, вскрикнула, защищаясь, вытянула вперед руки и, наконец-то, сдвинулась с места.

— Кхм... Кхм...

Человеко-зверь последовал за мной, настиг меня у двери и без всякого усилия, одним легким движением, сорвал с меня сорочку. Я осталась в лифчике, поясе, трусиках и чулках. В таком виде, жалкая, до смерти перепуганная, я увертывалась от него, отступая вдоль стены. Но он неумолимо меня преследовал, и на ковер одно за другим падали оставшиеся принадлежности моего туалета. И вот я — абсолютно голая перед ним. Стою и дрожу, а он неподвижным своим свинцовым взглядом разглядывает меня и по-прежнему издает утробные звуки:

— Кхм... Кхм...

Вот он дернул плечами, отвел назад руки: пижамный пиджак сполз с его плеч и упал рядом с моей сорочкой. Лишь тогда я увидела, до чего ж он волосат: клочка кожи невозможно было разглядеть под этой густой, вьющейся наподобие каракуля сизой шерстью, сплошь покрывавшей не только грудь и руки, но также и плечи его и спину. В то же самое время в его правой руке я заметила длинный кожаный хлыст, который до той минуты, видать, он скрывал за поясом пижамных штанов. Первый удар по спине застиг меня врасплох. От неожиданности и жгучей боли я жалобно взвыла и мигом метнулась в сторону — подальше от палача. Но он двинулся следом за мной, не спеша, будто прогуливаясь, и вторично занес надо мной хлыст. От второго удара мне удалось увернуться, что, конечно, разозлило его, потому что третий оказался настолько мощным и причинил мне такую невыносимую боль, что я, обезумев, заорала и метнулась к двери. Она оказалась запертой.

— Кхм... Кхм...

Теперь на меня посыпался град ударов, не очень сильных, но довольно-таки чувствительных, и я металась по жаркой комнате, по ласковому ковру, все ища и не находя спасения от кожаной жесткости хлыста, гулявшего по моей спине и плечам, по ягодицам и бедрам. Слезы ручьем текли из глаз, а по спине, — я это чувствовала, — из рассеченной в нескольких местах кожи струилась кровь.

И тут неожиданно разомкнулись тонкие губы человеко-

зверя, и я услышала одно-единственное слово, вылетевшее сквозь них:

— Защищайс!..

И только тогда вспомнила об оборонительном оружии, которым, как всякая женщина, обладала, — о своих длинных, острых коготках, и сообразила, что спастись от разящего бича я могу, лишь приблизившись вплотную к чудовищу, орудовавшему им, лишив его простора для взмахов, выцарапав ему ненавистные свинцовые глаза. Сломя голову я ринулась на него, получила напоследок еще один хлесткий удар, но уже в следующее мгновение была рядом с ним и, бешенная, дикая, как разъяренная тигрица, в беспамятстве рвала когтями дубленую шкуру его плеч под толстым волосяным покровом, в котором наполовину исчезли мои пальцы.

— Кхм... Кхм... — снова услышала я, и теперь что-то новое прозвучало в его гнусном хмыкании, отразившееся, впрочем, и в слегка расплывшихся губах, и, могу поклясться, было это неким выражением высшего блаженства, казавшегося мне тогда непостижимым, ибо ни сном, ни духом не знала я еще, что существуют на свете такие явления, как садизм, мазохизм и прочие, им подобные.

Теперь хлыст был ему не нужен, он выпустил его на ковер, обхватил меня двумя мощными горильими лапами и, приподняв, понес к постели с балдахином. Я отчаянно визжала, ногтями кровянила ему спину, колотила кулаками по лысой голове... Куда там! Он швырнул меня на царское ложе и всей своей стокилограммовой тушей пригвоздил к ней. Силы мои иссякли. Я еще брыкалась, слабо его отталкивала, но он уже был во мне и размеренно, методично, как бездушная машина, насиловал меня. И сначала мне было очень больно, и я плакала, но постепенно боль утихала и на ее место приходило равнодушие, и если б э т о продолжалось пять или десять минут, равнодушием все бы и ограничилось. Но, Боже мой! — машина насилия функционировала не как человек, а именно как механизм, то есть долго и безотказно. И постепенно я подключалась к ее ритму и сама превращалась в машину... Мне и сейчас становится тошно, когда я вспоминаю свое белое хрупкое тело, автоматически, без, казалось бы, моего участия, идущее навстречу горильей мощи, вгоняемой в меня, просящее горильей грубой ласки и наслаждения, которое только горилла способна дать. О, какое это было нечеловеческое наслаждение! Стыдно признаться, но я вроде была создана для такого вот звериного насилия, продолжавшегося, наверное, часа полтора и выжавшего из меня все соки, все силы...

Потом мы отдыхали на простынях, пропитанных его и моей кровью, сочившейся из ран на спине, потом, уже без всякого сопротивления с моей стороны, он брал меня снова и снова. Он требовал от меня и сам выделывал такое, о чем невозможно писать. И не только из страха перед ним я выполняла уже все его желания, но также из любопытства, потому что чем изощреннее были дотоле мне неведомые способы любви, тем острее, пронзительнее наслаждение.

Ну откуда, откуда даже у этого старика такая неукротимая мужская мощь, и почему не обладал ею мой бедный, робкий Саша?"

* * *

Давид скрипнул зубами, зажмурил глаза и долго сидел так, пошатываясь из стороны в сторону в такт вибрации цельнометаллического вагона. Из ближайшего купе доносился мощный храп. Звенели колеса вагонов на стыках рельс. Побаливала голова. „Проклятье! — думал он. — Зачем она дала мне эту чертову тетрадь? Какое мне, в конце концов, дело до ее сексуальных забот? И что за проститутская манера вот так вот разоблачаться? До полнейшей наготы! До полного безобразия!"

Он почувствовал дьявольское искушение: открыть окно и швырнуть злополучную тетрадь под колеса ревущего скорого. Но вместо этого поднялся и, зажав тетрадь подмышкой, прошествовал в туалет. Там он прежде всего освежил лицо ледяной водой. Потом закурил и минуты две жадно втягивал в себя едкий дым. В конце концов закашлялся, вышвырнул окурок в унитаз и, хватаясь за поручни, двинулся в обратный путь. Уселся на прежнее место, снова закурил. Прикинул, сколько еще осталось до конца тетради страниц, и, глубоко вздохнув, открыл ее и вновь погрузился в чтение. Первые же строки поразили неожиданным созвучием с его собственным настроением.

„Милый, любимый! Я вижу сейчас твое лицо. Ты хмуришься. Ты гневаешься. Ты думаешь: „Только вконец испорченная баба, только проститутка способна так бессовестно обнажаться, в таких деталях выставлять напоказ свое самое потаенное, сокровенное..."

Не надо. Не смей делать подобные выводы, ибо, придя к ним, ты неизбежно должен будешь признать, что в таком случае самые искренние, самые честные из женщин — проститутки. Погоди осуждать. Посиди и поразмысли. И постарайся вместе со мной пережить ужас того февраля, когда мне,

восемнадцатилетней, так грубо дали понять, как сильно в человеке темное биологическое начало и как ничтожно в сравнении с ним ясное начало духовное, когда вместе со мной насиловали, рвали в клочья мою веру, мой идеал, все-все втаптывали в такую грязь, из которой, кажется, ничего, кроме отчаяния, не извлечь. В одном лишь я бесконечно виновата перед тобой: что у меня, трижды оскверненной, не хватило духу открыться тебе с самого начала. Прости, но мне так хотелось еще хоть капельку любви...

Продолжу, однако, свой рассказ, его концовка, может, смягчит твое ожесточение.

...Когда человеко-зверь, казалось, насытился мной и задремал, за двумя круглыми окнами уже стояла ночь. Лишь хрустальная люстра по-прежнему ярко освещала комнату, его и мою наготу, и я, устыдившись, решила выключить ее. Я тихонько поднялась. Меня заметно лихорадило, наверное, сказывались дикое напряжение последних часов и полученные раны. Мне, конечно, больше всего на свете хотелось выбраться из этого ада, но вся моя одежда была разорвана, а дверь — заперта.

Две простыни оказались изрядно перепачканными его и моей кровью. Странно, но невозможно было различить, где его, а где моя. Будто и та, и другая — из одного источника...

В этот момент во второй раз прозвучал его голос. Он произнес всего одну фразу — коротко, с заметным кавказским акцентом:

— Дэвочка, принэсы коньяк.

Оказывается, он не спал. Я послушно двинулась к столику с напитками, налила полфужера „Мартини" и вернулась к Самому.

— Пэй! — приказал он.

Я отхлебнула три глотка крепкого ароматного напитка, после чего протянула фужер ему. Он принял фужер одной волосатой рукой, другой больно ущипнул меня за ягодицу и изрек:

— Ти кароши дэвочка. Будэм много-много тэбя лубит. Кхм...

Сказав это, залпом выпил коньяк. Мне стало ясно, что Сам — в преотличном расположении духа, хотя, судя по его морде, по его неподвижным свинцовым глазам, с уверенностью утверждать это было бы рискованно. Как бы то ни было, я решила попытать счастье. И тихо, робко, просительно произнесла:

— Выполните теперь, пожалуйста, свое обещание.

Он протянул мне пустой фужер, снова ущипнул:

— Какую обещание?

— Освободите моего мужа, Александра Соболя. Вам же это ничего не стоит... Я прошу вас...

Наступила долгая пауза. В его голове, видать, происходило сложное коловращение мыслей. Потом в свинцовых глазах внезапно загорелась искра любопытства. Он схватил трубку с аппарата, стоявшего на тумбочке, и что-то залопотал на непонятном гортанном языке. Похоже, кому-то что-то приказывал. Меньше чем через минуту он положил трубку на рычаг, заграбастал меня могучей рукой и вновь повалил на тахту. Теперь он уже не насиловал меня. Теперь я добровольно ему отдалась, в полной уверенности, что выполнила свою священную миссию и могу не только отблагодарить спасителя моего мужа, но и, в последний раз, испытать то нечеловеческое наслаждение... Истерзанная, опустошенная, я уснула рядом со своим зверем далеко за полночь.

Мы проснулись почти одновременно, когда в два круглых окошка заглядывал уже дневной свет. Откуда на столике появился завтрак? Не знаю, но факт остается фактом: кто-то побывал здесь незадолго до нашего пробуждения и оставил нам этот ароматный кофе, эти булочки, эту ветчину, черную икру, яичницу. Ели мы молча. Мой зверь время от времени одаривал меня испытующим взглядом свинцовых глаз, но за все время не произнес ни слова. После завтрака он снова долго меня любил, но, в лихорадке ожидания, на сей раз я мало что испытала. Отлюбив, он поднялся и снова взялся за трубку. Что-то спросил, получил ответ, что-то рявкнул — лающе, гортанно. И, бросив трубку, повернулся ко мне и сказал:

— Смотри туда, дэвочка.

Толстым, коротким указательным пальцем он ткнул в круглое окошко. Я неуверенно посмотрела на него — правильно ли поняла то, что он от меня хотел. Да, он продолжал мне указывать на окошко, расположенное довольно высоко от пола. Я поднялась, голая, как была, прошлепала к окошку, по дороге подхватила стул. Дойдя до цели, поставила стул и взобралась на него. Передо мной, на расстоянии двадцати метров, была проходная будка у ворот. Из нее как раз вышел часовой в ушанке. Он повозился с засовом, широко распахнул металлические ворота. Тотчас же в них въехала легковушка и остановилась рядом с будкой. От великого напряжения я, забыв, в каком виде нахожусь, поднялась на цыпочки. Сейчас появится Саша, мой Саша...

Открылась дверца машины. Вышел человек в овчинном полушубке и в ушанке. В руке он держал какой-то черный предмет. Вслед за ним вылез другой — в шинели без погон и без ремня, с непокрытой головой, длинный и тощий...

— Саша! — не помня себя закричала я и вся подалась впе-

ред, грудями упершись о холодную стенку.

Глаза затуманились, я плохо соображала и плохо видела. Человек в полушубке что-то сказал Саше, Саша кивнул и пошел по тропинке, держа руки за спиной. Его конвоир последовал за ним. Всего пять-шесть шагов сделал Саша, и тут вдруг конвоир поднял руку с зажатым в ней черным предметом. Я видела, как из этого самого предмета словно что-то вырвалось, огонек или дымок какой-то, как дернулась назад рука конвоира и как Саша, мой Саша, внезапно рухнул лицом в снег...

Я дико закричала. В комнате стало темно, стул ушел из-под ног. Я полетела в черный бездонный колодец. И — все? Нет. Человеко-зверь насиловал меня в бесчувственном состоянии. Может, то было кошмарное видение. Но почему тогда так болели бедра, низ живота, когда я очнулась в небольшой светлой комнатке с одним-единственным окном, сквозь которое заглядывал приветливый луч солнца? Эта боль, а также боль от ноющих ран на спине заставила меня вспомнить все, что со мной произошло, и, еще не открыв как следует глаз, я почувствовала себя разбитой, и больной, и опустошенной зряшными хлопотами, оплаченными столь дорогой ценой.

А через несколько секунд я заметила подполковника Шадрина. Он сидел, забросив ногу на ногу, вполоборота ко мне и читал газету. Его красивый профиль четко выделялся на фоне белоснежной двери. У его ног, на полу, стоял солидный кожаный чемодан. Наверное, увидев мерзкого чекиста, я передернулась, потому что он вдруг глянул на меня, понял, что я очнулась, и, отбросив газету на столик, встал и подошел к моей кровати.

— Ну, как дела, доченька? — улыбнулся он мне.

Я не ответила. Тогда он присел на краешек постели и, понизив голос, продолжал:

— Ты, доченька, того... не распространяйся о том, что было, а то неровен час... Кстати, тот человек — не твой муж.

Первое слово правды. Еще там, в комнате зверя, стоя голенькой на стуле, перед обмороком, я поняла, что расстрелянный на моих глазах человек — не Саша. Другой у него был цвет волос, да и рост, и походка другие. Теперь я твердо знала: Саши давно нет в живых, может, с той самой ночи, когда его оторвали от меня. А этот, которого принесли в жертву ужасной похоти человеко-зверя... Боже, легче ли мне, что его, а не Сашу прикончили на моих глазах, что на помин его, а не Сашиной души со мною, бесчувственной, справлял свою греховную тризну чудовищный маньяк? Я была игрушкой, паяцем, куклой, которой поиграли всласть. Теперь выбросят, потому что я сломана...

Подполковник Шадрин, между тем, продолжал нашептывать мне на ухо какие-то слова. Не сразу я догадалась, что он имел в виду, когда сказал, что может меня обрадовать. Он стал услужливо разжевывать:

— О, доченька, я ж говорил, что ты женщина высокого класса. Сам в восторге. Приказал мне немедленно тебя к нему доставить, как только ты чуть поправишься. А пока, в доказательство своего расположения, велел передать тебе вот этот чемодан с вещами и вот этот сувенирчик.

Подполковник вытащил из кармана крохотную коробочку, открыл ее и поднес к моим глазам: внутри, на розовой шелковой подушечке, лежал искусно выполненный золотой листочек сирени, сплошь обсыпанный сверкающими бриллиантами.

Подари мне такую вещичку родители или муж, я бы с ума сошла от счастья. Сейчас же, в руках пса-чекиста, драгоценное изделие являлось всего-то навсего платой за известного рода услуги, было напоминанием перенесенного стыда и позора, поэтому я крепко зажмурила глаза, выражая тем свое презрение как к благорасположению Самого, так и к вещественным знакам его благорасположения.

— Ладно, — сказал подполковник Шадрин, — я вижу, ты еще очень слаба. Вот я кладу коробочку сюда, на тумбочку, и ухожу. Завтра навещу тебя снова. Учти, Сам сгорает от нетерпения, и я его понимаю... Поправляйся быстрее...

Он вышел. Я осталась лежать с плотно закрытыми глазами. „Трусы! — думала я. — Мерзавцы, подонки, скоты! Шкодят и не хотят огласки. Боятся, но шкодят. А ведь все они, все трое, с самого начала знали, что Саши давно уже нет в живых... Потешились, свиньи, использовали, поиздевались... Все, баста! Пускай он сдохнет, этот поганый, отвратительный Сам, но моего тела ему больше не видать".

В палату вошла полненькая голубоглазая сестричка в белом халатике. Она приветливо улыбнулась мне, поставила градусник, дала таблетку.

— Не переживай, милая, все будет хорошо, — подбодрила меня. — Еще денек или два, и домой потопаешь. А кто это тебе так спинку исполосовал? Ай били?

Я сжала губы, промолчала. Сестра на ответе не настаивала. Больница, конечно, была особая, „закрытая", персонал — вымуштрован. Когда она вышла, я, кряхтя, поднялась и подошла к окну. Под ним покачивались на зимнем ветру прутики кустарника. Дальше стлался рыжий снег, прочерченный узкой полоской асфальта, еще дальше высилась каменная ограда. А вон и проходная будка.

Снова вошла голубоглазая сестра, предложила пообедать. Я поела, съела все, что было на подносе, не ощущая запахов

и вкуса пищи. Потом открыла чемодан и стала рыться в его содержимом. Да, Сам был кем угодно, только не скрягой. Впрочем, утверждать это с уверенностью никак нельзя, ведь, скорее всего, барахло, которым был набит чемодан, он приобретал не на кровные денежки. Я нашла там дорогостоящую каракулевую шубку, пару чешских сапожек, два шерстяных финских платья, две пары венгерских туфель, шапку из чернобурки, несколько пар французского белья, лифчиков, чулок, перчаток... Была тут и моя сумочка, оставленная вместе с пальто в холле особняка Самого. Я открыла ее: паспорт, комсомольский билет, ключи от квартиры, кошелек с несколькими десятками — все оказалось в целости и сохранности. Я бросила в сумочку бриллиантовую брошь — подарок Самого, снова легла в постель и попыталась уснуть. После ужина я опять спала, но где-то за полночь проснулась и больше не смыкала глаз. Часа в четыре утра поднялась, в темноте сбросила больничное одеяние, напялила на себя все необходимое из приданого Самого — белье, платье, чулки, сапожки, шапку, шубу, кое-что из одежды еще связала в узелок, затем подошла к окну, осторожно отодрала от него полосы бумаги, которыми заклеили щели на зиму, отворила окно, швырнула узелок в снег, а сама, прикрыв лицо руками, прыгнула в куст. Ничего, обошлось. Поднялась, подхватила узелок, сунула его подмышку и твердой, уверенной походкой пошла прямо к проходной. Сонный дежурный не решился задержать элегантную деловую даму, быть может, приняв ее за врача. Я вышла на пустынную, продуваемую всеми ветрами улицу неведомого поселка (ни Москвы, ни Подмосковья я тогда, понятно, еще не знала), и двинулась наугад — куда глаза глядят. Мне повезло. Минут через сорок меня догнал грузовик. Пожилой дядечка-шофер сам вызвался довезти меня до станции „Сокол", куда он направлялся. В восьмом часу он меня там высадил, на метро я добралась до знакомой скупки, где сбывала свои колечки, и за цену, показавшуюся мне баснословной, продала брошку Самого. Видать, она стоила в два раза дороже.

Еще часа через два поезд Москва-Владивосток увозил меня из столицы.

Вернулась я через шесть месяцев, изъездив за это время Дальний Восток, Западную и Восточную Сибирь, где меня и настигали вести о феноменальных переменах в жизни страны. В тумане отчаяния, страха, душевной пустоты смешались воедино улицы и площади Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Читы, Красноярска, номера бесчисленных гостиниц, „углы", неуютные залы столовок и ресторанов, всевозможные вокзалы с их неизбывной преддорожной тоской. Я жила

как во сне, день да ночь — сутки прочь, нигде не работала, ни с кем дружбы не водила, пока чуток не успокоилась, пока, под влиянием добрых новостей, не улегся мой лютый страх, пока на смену пустоте не пришло что-то, похожее на слабый интерес к тому новому, что еще неясно, но настойчиво — в газетных сообщениях, в разговорах, слухах — заявляло о себе. Тогда-то, в конце августа, я и вернулась домой.

Софья Матвеевна встретила меня с распростертыми объятиями.

— Здравствуй, Наталочка! Куда это ты запропастилась? И что только я за эти месяцы не передумала! Да разве ж так можно? Хоть бы предупредила, а то ведь...

Я смотрела на нее свысока, я ведь все про нее знала. Спросила только:

— Кто-нибудь меня спрашивал?

— Как же, как же, — защебетала она. — Непременно! Тот самый симпатичный молодой человек... — она понизила голос. — Который с Лубянки. На второй же день. Уж очень огорчила ты его. А я тут твое имущество стерегла пуще собственного...

„Еще бы! — ехидно отметила я. — После того нагоняя ты к нему до конца дней не притронешься".

Я отперла дверь комнаты. В ноздри ударил затхлый запах. Всюду толстым слоем лежала пыль. Я посидела у стола, обозревая свое жалкое богатство, повздыхала, потом растворила окно, сняла платье и туфли, надела халатик и шлепанцы, взяла тряпку и принялась вытирать пыль. Покончив с этим, набрала ведро воды и, встав на колени, начала мыть пол. Терла половицы с каким-то тупым ожесточением, словно хотела смыть с них и ту грязь, свидетелями которой им довелось быть. Сдвинула тахту, залезла рукой под шкаф, под письменный столик.

Под единственной тумбой Сашиного рабочего стола, я и нашла тетрадный листок, исписанный мелким бисерным почерком моего покойного мужа. Как он там очутился? Наверное, тихо спланировал туда во время обыска, и никто этого не заметил, и пролежал он безмолвно целых девять месяцев, чтобы теперь, в конце-то концов, дать мне хоть крохотное представление о том, чем же занимался мой бедный Саша — философ, литератор, критик, публицист. Еще ни слова не прочитав, я прижала драгоценный листок к груди, и слезы затуманили мне глаза. Я встала с колен, вытерла руки о полы халата, подошла к окну. Когда волнение немного улеглось, я медленно, стараясь не пропустить ни единой точки или запятой, прочитала странные, необыкновенные строки. Сначала почти ничего не поняла. Прочла еще раз, затем еще. И до ме-

ня начал доходить смысл написанного, и тогда я поняла, до чего умен он был, мой дорогой муженек, до чего смел и прозорлив. Вот он, тот листок, я вклеиваю его в свою тетрадь — единственное уцелевшее свидетельство величия безвременно погибшего Александра Соболя:

— 27 —

искусств для нас является кино". Почему? А литература, музыка, живопись — искусства первичные, а не вторичные, синтетические, каким является кинематограф?

Еще афоризм: „Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Советская власть существует с 1917-го года, электрификация завершится максимум через 10—15 лет. А коммунизм — даже не за горами.

Он утверждал, что единственно верным решением еврейского вопроса может быть лишь ассимиляция евреев в массе населения страны их проживания. Но вот уже три года существует еврейское государство, созданное, кстати, не без участия его верных учеников и последователей. Такого решения проблемы он не предвидел, а оно чревато далеко идущими последствиями.

Что за хулиганская статья „Партийная организация и партийная литература"! Во-первых, абсолютно неясно: имеет ли автор в виду сугубо партийную литературу, как объявляет в заголовке, или же всю литературу в целом, включая художественную, как утверждают сегодня политики и псевдолитераторы. Но в любом случае — ненавистническая, выдержанная в духе жандармской нетерпимости и инквизиторского неприятия свободомыслия во всех, даже самых невинных его проявлениях, а посему она не делает чести ни ее автору, ни тем, кто ныне берет ее на вооружение в качестве основополагающего до-

Любимый! Я сижу в своем кабинетике. Галка глядится в зеркальце, выщипывает пинцетом парочку волосинок на подбородке. Я дочитываю очередное письмо. Послушай, о чем пишут „трудящиеся":

„...А посему хочу сообщить вам следующее: означенный Стогов, ворвавшись в мой кабинет, в присутствии двух по-

сетителей начал крыть меня нецензурными словами. Посетители еще ладно, черт с ними, так ведь на стенах кабинета висят портреты..."

Глядя на Галку, и я вытаскиваю зеркальце из сумочки и смотрюсь в него. И снова подступает ком к горлу при виде новой морщинки у глаз, и я с ужасом думаю: „Господи! А ведь мне уже двадцать шесть!"

Тоска. Восемь лет нескончаемой тоски. А ты все не приходишь. Я знаю тебя, вижу... Могу поклясться, что ты придешь в тот самый октябрьский вечер, когда я буду сидеть в памятном зале „Будапешта". И с этого начнется наша большая любовь. Только одно условие, милый: пожалуйста, не будь писателем. Будь слесарем, токарем, химиком, математиком... Но не дай тебе Господь оказаться писателем! Если ты будешь писателем, тогда..."

На этом рукопись обрывалась. Давид машинально перелистал несколько последних страниц тетради, они были чисты. Он снова перечитал последние строки и тут заметил пятно — внизу, под словом „тогда". Похоже, сюда капнула слеза.

Он закрыл тетрадь и уставился в невидимую точку на тряском полу вагона. Странное беспокойство все более овладевало им. Мысли — одна мучительней другой — теснились во внезапно очугуневшей голове. Была среди них одна, самая беспокойная, гнетущая, да не хотелось додумывать ее до конца, поэтому он, как за спасательный круг, ухватился за другие и стал их развивать, раздувать, словно они-то и были самыми важными и все-все объясняли, и стоит только в них разобраться, как тут же, немедленно, обретешь душевное равновесие.

Да, конечно, теперь Давид уже не воспринимал Наташину исповедь как смакование эротических сцен, теперь он явственно слышал отчаянный вопль нежной, верной, жертвенной души женщины, нет, девочки, пораженной до самых глубин отравленными стрелами, удивленной, смертельно напуганной и взрывами собственной чувственности от животных ласк откровенных насильников, и очевидной зряшностью той чистой, верной незакатной любви, о которой любая девчонка с зеленого отрочества мечтает как о самом возвышенном, самом святом, без чего жизнь теряет всякий смысл. К ее несчастью, в трудные дни не оказалось рядом никого, кто бы по-доброму разрешил ее сомнения, прогнал ее страхи, уберег от ужаса перед разверзшейся у ее ног пропастью.

Развивая эту мысль, Давид понял, что неуклонно движется к той, главной, от которой увиливал, а потому заставил

себя перейти на другую. Не без зависти он отдал должное искренности, ясности, последовательности, богатству языка — всем достоинствам, возводящим Наташину исповедь в ранг небольшого, но впечатляющего произведения искусства. Он покрутил носом, вспомнив собственные, всего несколько дней назад перечитанные автобиографические рассказы. Тогда они привели его чуть ли не в умиление, теперь же показались сыроватыми, несъедобными, как недоваренное жилистое мясо старого вола. А ведь ни словом не солгал он там, писал только правду и ничего, кроме правды. Что ж это получается? Женщина, в жизни не написавшая ни одного рассказика, впервые взявшись за перо, утерла нос ему, опытному литератору, автору двух изданных и четырех неизданных книг? Не в том ли причина, что он, в отличие от нее, пишет в расчете на публикацию, а, стало быть, сам того не желая, где-то слегка сглаживает острые углы, выкладывая правду-матку, о чем-то умалчивает, кое-где не совсем верно расставляет акценты, а порой, подобно Степану, даже убалтывает самого себя в необходимости веселого звона бубенцов ради сохранения похоронного звона...

В точности так, как он поступает сейчас в попытке увернуться от той, самой главной и самой неприятной, мысли. А она назойлива — не улетучивается...

Он вытянул вперед руку, тут же отдернул, вспомнив, что со вчерашнего дня звездолет у него конфискован. Не скрыться, не уйти! Но ведь ему ж, в конце концов, было приказано первым же поездом покинуть Москву, а такой приказ, несомненно, включает строгий запрет возвращаться в столицу спустя десяток часов! Да и вообще, не плод ли разыгравшейся фантазии его переживания по поводу одной-единственной недомолвки, сверлящей, собственно, лишь своей незавершенностью? В конце-концов, и денег у него в обрез. И смешон он будет безмерно, если...

Скорый мчался сквозь черную ночь в утро следующего дня. Был четвертый час, и Давид мог уже с полным основанием утверждать, что он-то до этого утра дожил. А сколько людей в огромной стране отдали Богу душу два часа, час назад или отдадут ее до рассвета!

Он резко поднялся. Откидной стульчик настырно устремился ему вслед, норовя шлепнуть его по заду, но, прикованный к стене, к ней и приник, глухо хлопнув сидением, обтянутым кожзаменителем. Давид подошел к графику движения поезда, висевшему на стене вагона: остановка в Брянске — через двадцать две минуты.

18 октября, день

В двенадцатом часу Давид выбрался на поверхность из подземелья „Смоленской" и направился к Плотниковскому переулку. Холодный дождь ведрами окатывал равнодушную, ко всему привыкшую Москву. Прохожие, прячась под зонтами, торопливо шлепали по лужам, проезжавшие автомобили по-змеиному шипели на залитом водой асфальте. Давид занес руки за шею, намереваясь поднять воротник пальто, при этом чуть задрал голову. С широких полей его зеленой велюровой шляпы тотчас же низвергся крохотный водопадик. Ледяная струйка попала в зазор между шеей и воротником пиджака и прошила его насквозь — до самого крестца. Он передернулся, мысленно выругался, отказался от намерения поднять воротник и, подгоняемый тревогой и, одновременно, тревогой сдерживаемый, едва заметно ускорил, едва заметно замедлил шаг. На третий этаж он поднимался не без труда: сказывалась усталость после бессонной ночи, помноженная на необыкновенные приключения последних дней. К белой кнопке звонка он дважды приложился пальцем — со смешанным чувством робости, тревоги, страха. Услышав за дверью шаркающие шаги Софьи Матвеевны, и вовсе приуныл, хоть и знал, что в это время Наташе положено находиться на работе.

Когда дверь отворилась, когда в ее проеме он увидел старую женщину с заплаканными глазами в солнечных лучиках морщин, он все понял и сжал челюсти, чтобы не выдать своих чувств перед этой тварью, чья людоедская мечта о расширении жилплощади наконец-то, похоже, сбывалась и чьи крокодильи слезы никоим образом не могли ввести его в заблуждение, так как теперь и он кое-что о ней знал. Она встретила его причитаниями:

— Ой, товарищ Чуркин, горе-то какое! Горе горькое... Наложила на себя руки наша Наталочка, солнышко наше ясное... Покинула нас, ушла туда, откуда не возвращаются...

Давид шагнул в коридор. Ни слова не вымолвив, двинулся прямо на Софью Матвеевну. Она испуганно посторонилась и, уже за спиной, он вновь услышал ее голос:

— Вызвала я доктора, он еще тут, да поздно. Нет Наталочки, голубки сизокрылой нашей...

Пухленький низкорослый доктор возник из ванной, на ходу вытирая руки полотенцем. Софья Матвеевна не замедлила отрекомендовать ему Давида:

— Это товарищ Чуркин, доктор, работник Моссовета. Добрый Наталочкин друг.

Доктор с вялым интересом вперил в Давида маленькие, заплывшие жиром глазки

— Очень рад.

Давид сообразил, что „товарищ Чуркин" может оказать ему последнюю неоценимую услугу, поэтому не счел нужным внести поправку в старухину рекомендацию. Он только робко спросил, искательно заглядывая врачу в глаза:

— Никакой надежды, доктор?

Врач покачал головой с чисто профессиональным трагизмом:

— Увы. Все кончено. Смерть, видимо, наступила где-то между шестью и восьмью часами утра.

— Яд?

— Снотворное. Смертельная доза.

Разговор происходил в темноватом коридоре. Там, в двух шагах от Давида, — открытая дверь в Наташину комнату, он хотел и боялся в нее заглянуть. Пересилив себя, спросил:

— А можно мне, доктор, посидеть с ней?

Толстяк помялся, потом махнул рукой.

— Вообще-то не полагается до судмедэкспертизы. Да уж ладно, сделаем для вас исключение. Только недолго, а? Я уже сообщил о случившемся властям предержащим, минут через пятнадцать они сюда нагрянут. Идите, проститесь. Чур, ничего не трогать.

— Разумеется, доктор. Спасибо. Я не больше десяти минут.

Он быстро снял шляпу, пальто, чемоданчик поставил в угол у двери. В комнату вошел на цыпочках. У порога — замер.

Наташа лежала на тахте, на левом боку, свернувшись калачиком, подложив ладошку под щеку. Ее глаза были закрыты, пухлые губы — слегка искривлены кроткой, виноватой, всепрощающей полуулыбкой. Вторая рука, голая до плеча безжизненно свисала с постели, а из-под откинутого синего одеяла выступала, как из морской волны, верхняя часть ее тела — в прозрачной розовой ночной сорочке, сквозь которую четко виднелись гармоничные контуры грудей, увенчанных лиловыми сосками.

Давид судорожно глотнул. Двинулся вперед. От жалости и боли сжималось сердце. Он представил себе ее легкую смерть в этом последнем сне, наверное, расцвеченном радужными сновидениями, которым она дарила прощальную улыбку, застывшую на лице в момент бессмысленной кончины. Он знал, что люди умирают с открытыми глазами, и какое-то мгновение думал о том, что, видимо, этот закон природы не распространяется на умирающих во сне... Впрочем, могло быть и так, что глаза ей закрыл доктор.

Эти ненужные, никчемные мыслишки удивили его. Он чувствовал себя совершенно разбитым и, подтащив стул

к изголовью тахты, с невольным стоном облегчения опустился на него. И тоже невольно, бессознательно вдруг обратился к покойнице с горестным мысленным монологом:

„Что ж это ты, голуба, наделала? Зачем покинула меня? Неужто так и не поняла ты, что времена нынче другие, что никакая большая беда нам с тобой не грозила?"

Он поймал себя на том, что обращается к покойной с ласковым словечком того, другого, первого, от которого ничего на свете не осталось, — ни могилы, ни рукописей, ни даже простой фотографии, ничего, кроме случайно уцелевшей странички, вклеенной Наташей в свою исповедь. Это открытие не смутило его, поскольку он и прежде голубой ее называл. С упорством и ожесточением стал он повторять это словечко вновь и вновь — от своего имени и от имени покойного Саши, — как заклинание, способное ее воскресить:

„Не терзайся, голуба, ты чиста перед Богом и людьми... Но что же ты наделала? Какой черный страх заставил тебя предпочесть этому неправедному миру тот, другой, неправедный уже потому, что оттуда возврата нет?.. О, голуба, теперь я понимаю тебя. Мне так близки твои мучительные сомнения! Как легко я мог их разрешить, если б немногие часы, проведенные вместе, посвятил бы не пустячной болтовне, а полному погружению в твой мир, без утайки того, что принято считать постыдным, или мелочным, или глупым, или неинтересным, или несуразным, или громким... Все эти дни, голуба, мы больше были озабочены стремлением скрывать друг от друга истину, чем желанием ее прояснять. И вот итог.

Ну почему, почему не открыл я тебе, голуба, тот очевидный, бесспорный факт, что человек отличается от животного таким пустяковым, на первый взгляд, но на самом деле решающим преимуществом, как способность обуздывать свои темные инстинкты? Тебя парализовал страх... Но, наверное, и твой бедный Саша не был бесстрашным? Он боролся со страхом, одолевал его. А мне, чего стоит мне плыть против течения, зная, что на каждом шагу можно угодить в водоворот... Тебя оглушила, ошеломила мощь скотов-чекистов, неприятно поразила наша с Сашей бледная немочь в сравнении с ними. Да, голуба, такие, как мы, не в силах повторить тринадцатый подвиг Геракла. Мыслящие люди в этом мире, увы, не Гераклы, а сексуальные Гераклы — наши лютые враги. Годами, десятилетиями они живут в опьяняюще твердом, незыблемом сознании своей власти над жалкими насекомыми, именуемыми простыми советскими людьми. Они — господа, властители, не обремененные сковывающей

необходимостью считаться с законами. Они рабовладельцы, крепостники, вольные распоряжаться жизнью и смертью миллионов смердов, топтать сапогами их человеческое достоинство, честь, волю, мысль... Они облечены разнузданной свободой, даже обязанностью давить нас. Мы же, голуба, с пеленок и до могилы парализованы дремучим страхом перед их сатанинской избранностью. Не для них — для нас тысяча императивных надписей: „Не курить!", „Не сорить!", „Не шуметь!", „По газонам не ходить!", „Стоянка запрещена!", „Охота запрещена!", „Проезд запрещен!" На каждом шагу натыкаясь на подобные запреты, зная, к тому же, о наличии тысячи других, неписанных, но подразумевающихся, господствующих, впитанных вместе с материнским молоком, таких, как: „Не бастовать!", „Не устраивать демонстраций!", „Не болтать лишнего!", „Не поносить начальство!", „Не жаловаться!", „Ездить за границу запрещено!", „Читать „крамолу" запрещено!", „Писать „против" запрещено!", всеми порами ощущая приближение эры новых писаных и неписанных драконовских законов, призванных охранять, удовлетворять непомерно разрастающиеся аппетиты избранных: „Не мыслить!", „Не есть мясо!", „Не коситься на имущество и права сильных мира сего!", „Не любить прекрасных женщин — неотъемлемую собственность начальства!" — так вот, зная все это, каждодневно, ежечасно двигаясь на скрипучих тормозах, сдерживающих самые естественные порывы, желания, мысли, — не превратишься ли в конце концов в полного импотента? Подумай, голуба, об этом! И не наступит ли в данных конкретных условиях — через десяток или сотню лет — такое проклятое для париев время, когда в целом мире лишь одни „избранные" окажутся в состоянии спать с женщинами и оплодотворять их? О, голуба, голуба! Да сжалятся боги над одной шестой частью суши, да избавят ее от мрачной перспективы полной деградации, ибо дурное семя ничего, кроме плевелов, не родит, а от обилия плевелов, носимых ветром по этой горькой земле, и так уже слепит глаза, першит во рту!"

Наташа крепко спала и не слышала его жалких оправданий, но он, отлично сознавая их нелепость, упорно продолжал:

„Но ты-то, ты, голуба, ясно видишь пропасть, разделявшую их и нас. Ты же с нами, не так ли? Ведь веришь же ты, что в конце концов мы их одолеем. Помни: никогда, никогда сила физическая не могла долго властвовать над умственной силой! А когда мы победим, первым делом поставим памятник тем, расстрелянным, замученным, погибшим в лагерях... На белом мраморе, я уверен, среди миллионов других, будет высечено также имя твоего Саши... Ну а твое имя поста-

раюсь обессмертить я. Клянусь тебе, голуба!"

Давид опустил глаза, как бы отдавая последний долг давно сгинувшему Александру Соболю. И только тогда заметил валявшийся на полу стеклянный тюбик. Он вспомнил эпизод в Наташиной исповеди, где она просила у доброй соседки снотворного... В этот момент с улицы донесся скрип тормозов автомобиля, затем резкий хлопок закрываемой дверцы.

Встреча с представителями власти была ему противопоказана. Он вскочил на ноги, наклонился, прикоснулся губами к холодному виску покойницы, затем вышел в коридор. Маленький доктор сгинул, зато Софья Матвеевна стояла у вешалки, явно его поджидая. Плачущим голоском она немедленно атаковала Давида, когда он, отчаянно торопясь, влезал в рукава мокрого пальто:

— Товарищ Чуркин, как же теперь-то быть? С комнатой покойницы? Сделайте одолжение, а? Мы в долгу не останемся...

Напяливая на голову мокрую шляпу, схватив одной рукой чемодан, а другой ручку двери, Давид яростно прошипел:

— Без моего личного разрешения ни одна собака сюда не вселится, понятно? Засажу, ведьма!..

Двух человек в штатском, с чемоданчиками в руках неторопливо поднимавшихся по лестнице, он благополучно миновал где-то между вторым и первым этажами.

Дождь прекратился, но низко над Москвой, гонимая порывами резкого ветра, плыла бескрайняя свинцово-серая пелена туч. Давид миновал „Смоленскую" и пешком наугад двинулся к центру столицы. Теперь его мысли больше были заняты видами на будущее. Дома его ждут крупные неприятности. Местные шпики напрасно будут подстерегать его на вокзале. Что ж, ему было велено немедленно покинуть Москву, но никто не запрещал на денек, скажем, в Киеве остановиться. Да эта задержка — пустяк. Конечно же, там, дома, состоится крупный разговор в милом сердцу здании у Планетария, возможно, домашний обыск, наверняка „добровольная" сдача кипы рукописей на „вечное хранение" в самую богатую библиотеку манускриптов из всех известных на земле со времен Шумера, Вавилона и Древнего Египта. Посадить не посадят, „времена нынче не те", но из школы попрут, как пить дать. Тогда и тунеядство пришить смогут, и — прощай, город, удобства, друзья-приятели, вольное житье птицы небесной! Но у него при себе две рукописи, две гранаты, начиненные тротилом — блокнот с рассказами и Наташина исповедь. Нельзя их везти с собой.

Он зашел в захудалое почтовое отделение, попросил листо-

чек бумаги для письма и плотный лист для бандероли. Накатал записку: „Отец! Сбереги, пожалуйста, эти две вещи до лучших времен. Подробности позже. Давид". Вытащил из чемодана Наташину тетрадь, из кармана пальто свой блокнот, все это вместе с запиской запаковал в плотную бумагу, накатал адрес Андрея, заплатил за услуги девушке-служащей.

Облегченный, зашагал дальше. Вдруг остановился. Что-то привлекло его внимание в витрине магазина учебных пособий. С минуту он тупо стоял, соображая, что бы это могло быть. Наконец понял. За стеклом стояли три глобуса — два совсем крошечных, один объемистей, в масштабе 1:20.000.000.

По вполне определенной ассоциации Давид представил себе холеное лицо Тамары и хмыкнул. Болезненным эхо в душе отдался ее торжествующий скрипучий голос: „Я же тебя предупреждала!.."

„Яч-смить-бюё!" — возопил он про себя.

Господи! Вот уже десять лет плывет по морям-океанам их семейный катамаран, такой устойчивый, такой надежный с виду, состоящий из двух, казалось бы, совершенно равных, одинаковых по длине, ширине, водоизмещению посудин, неразрывными узами намертво соединенных друг с другом. Но нет в мире абсолютно тождественных предметов, и одна из плавучих составных катамарана, конечно же, главная, ведущая, несущая, а вторая — подчиненная, приданная, чуточная. И не приходится гадать, кто есть кто в его с Тамарой парном кораблике. Только, черт возьми! — малая, чуточная его доля обладает ведь собственными данными: и на воде в состоянии держаться, и наперекор ветрам плыть, и груз брать соответственно силенкам своим. Так почему же не разъединить их, эти два опостылевших друг другу судна, не дать им простор для индивидуальной инициативы — семь футов под килем каждому?! Опасно? Не та прочность, маневренность, грузоподъемность, дальность плавания? Враки! Катамараны составляют незначительную часть мирового флота, а моря-океаны бороздят преимущественно гордые в своем исключительном одиночестве авианосцы, крейсеры, ледоколы, танкеры, бриги, шхуны, джонки. На собственный страх и риск. Назло стихиям. И если гибнут, — то с треском, грохотом, взрывом котлов и отчаянным, чаще всего бесполезным SOS, позорным плевком выхарканным в морду равнодушному к их судьбам человечеству.

Третий период. Теперь он ясно видел очертания третьего периода (1964—19...) своего творчества и мог сформулировать его смысл в одной емкой фразе: „Писать только правду,

а, значит, никогда не быть опубликованным". Просто и ясно. И будь что будет!

На площадь Свердлова Давид вышел со стороны гостиницы „Москва". У перекрестка, кишмя кишевшего москвичами, остановился передохнуть. Слева, в безудержном порыве стремясь спрыгуть на землю с опостылевших высот Большого, чугунные кони взвились на дыбы, в диком ржании разинув зубастые пасти. Дальше приземистым бараком тянулся к ЦУМу Малый, особенно невзрачный на фоне своего великолепного визави — „Метрополя".

Вновь разверзлось небо над сумеречным городом, пошел занудливый изморозный дождь.

В центре перекрестка, как подвижный монумент, вертелся регулировщик в плаще, в белых перчатках, с белой палочкой в руке и с зажатым в зубах свистком. Виртуозными движениями корпуса, рук, ног, головы он дирижировал уличным движением, то пропуская, то задерживая потоки машин, мгновенно накапливавшиеся в трех руслах разрешенного проезда. Его мужественный профиль соответствовал зеленому свету, спина — красному. Из русла, получившего „добро" на движение, на приличной скорости, не соблюдая положенной дистанции, вырывалась, устремлялась вперед очередная партия автомобилей, чем-то очень напоминавшая Давиду дружную стаю голодных волков, погнавшихся за верной добычей.

Но что это? В самой гуще пестрой „стаи" — лошадь! Чалопегий, долгогривый, давным давно выхолощенный, заезженный, но, тем не менее, двужильный конь тащил за собой порожнюю платформу на резиновом ходу с агонизирующей надписью на узенькой бортовой доске: „Промгужтранс". Трусил он неторопливой рысью, в такт движению мотая печальной головой, равнодушный ко всему на свете — к нахальным легковушкам, нетерпеливо его обгонявшим, чуть ли не задевавшим блестящими крыльями его лоснящиеся от мокрости вздутые, ребристые бока, к холодному, секучему дождю, к самой своей гиблой лошадиной долюшке. Подрагивали, словно в сдерживаемом рыдании, мясистые бархатные губы мерина, безвольно колыхалась под глазами жалкая челка, из скованной железными удилами пасти, извергавшей клубы сизого пара, падали на асфальт клочья белесоватой пены. Один-одинешенек, он плыл в многоцветном железном потоке — жалкое животное в одну лошадиную силу среди тысяч лошадиных сил, сконцентрированных в мощных моторах „побед", „волг", „москвичей", „мерседесов", „фордов", „ситроенов", но было что-то царственное в его абсолютно безнадежном одиночестве на центральной

московской улице, что-то такое, что бередило душу, пробуждая в ней стихийный протестующий вопль: ,,Стойте! Остановитесь! Пропустите единственную живую душу в этом бездушном городе! Траурными гудками клаксонов проводите ее в последний путь — на Новодевичье, Ваганьковское или Востряковское кладбище. Это же частица вашей жизни, лучшая ее частица, без которой скучным, бессмысленным, механическим станет ваше существование!"

Чало-пегий мерин медленно удалялся в сторону улицы Горького, по-прежнему обтекаемый с двух сторон торопкими, шустрыми легковушками. Вот он и вовсе пропал, утонул в их пестрых волнах, и только несколько секунд его путь еще отмечал сизый пар, вырывавшийся из ноздрей и, над крышами машин, мгновенно таявший на ветру.

И все. Конец. Остались лишь кони над колоннадой Большого, огненные кони, вогнанные в чугун и навеки в нем застывшие в стремительном порыве к лихой скачке. Динамизм изваяний — выдумка досужих умов, как, впрочем, и динамизм машин или небесных тел. Грацией подлинного движения может обладать только живое существо, воспроизвести ее способно лишь слово. Пожалуй, и звук. И все. Конец.

,,Яч-смить-бюё!" , — снова выругался Давид. Он наклонил голову, дал стечь с полей шляпы скопившейся воде и решительным шагом направился к станции метро.

[illegible] душу, про-
будили в ней [illegible]
[illegible] в этом Без-
душного [illegible]
ее в последний путь — на Новодевичье, Ваганьковское или
Востряковское кладбище. Это же частица нашей жизни, луч-
шей ее частицы, без которой скучным, бессмысленным, не-
[illegible]"

[illegible] в сторону улицы Горького, [illegible] с двух сторон [illegible]

И вот. Конец. [illegible]

[illegible] Конец.

„[illegible]" — [illegible] Давид. Он наклонил голову [illegible] к станции метро.

